Тайна рукописного корана



Исповедь на рассвете



Ахмедхан Абу-Бакар









Ахмедхан Абу-Бакар

Тайна рукописного корана

Исповедь на рассвете

ПОВЕСТИ

Авторизованный перевод с даргинского

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1972



Народный писатель Дагестана Ахмедхан Абу-Бакар широко известен русскому читателю. Представленные в этой книге повести написаны в последние годы и рассказывают о разных событиях в жизни многонационального Дагестана.

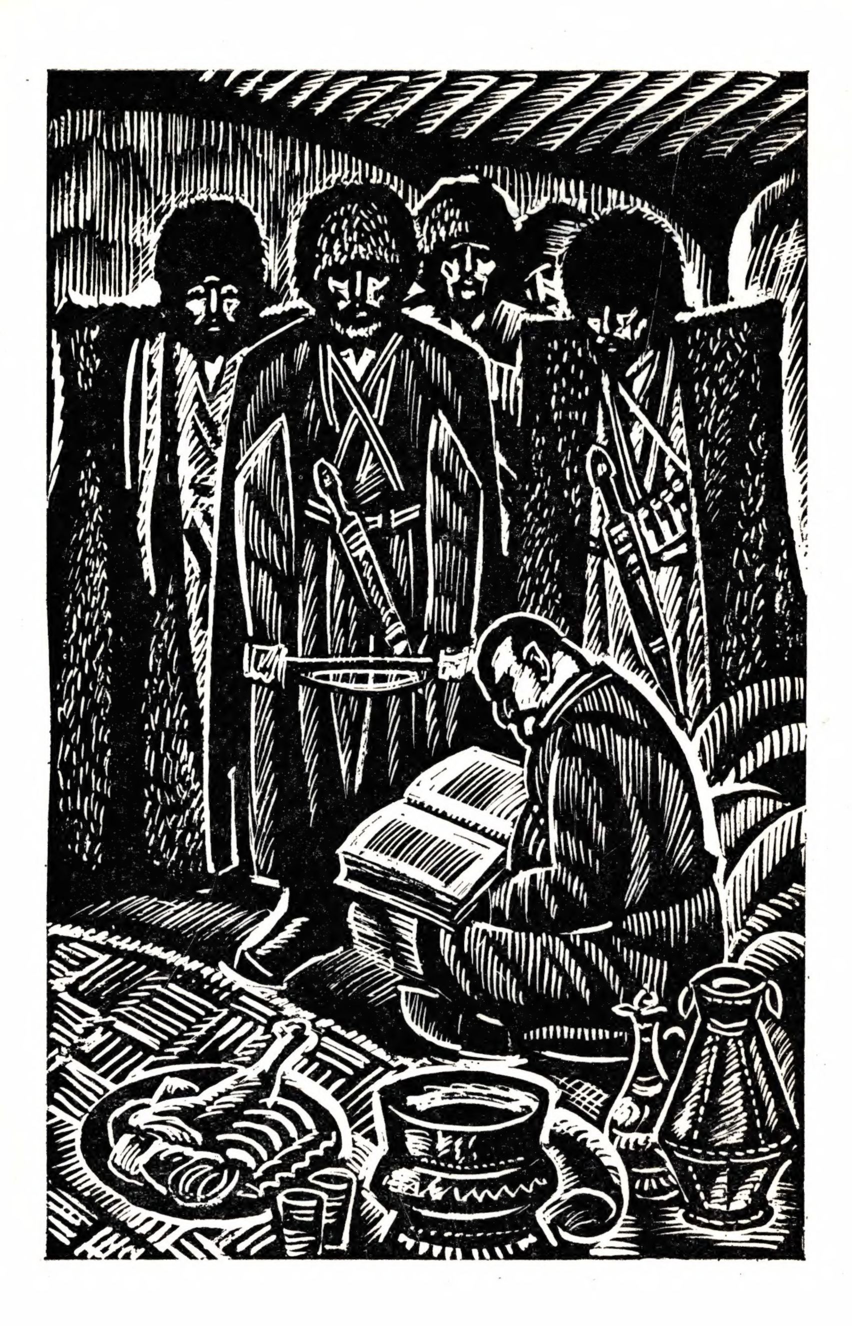
Приключенческая повесть «Тайна рукописного корана» посвящена событиям революции и гражданской войны. Главный герой, доблестный горец Хасан, возглавляет борьбу за свободу и справедливость.

Во второй повести — «Исповедь на рассвете» — рассказывается о судьбе человека, который вначале избрал ложный путь, терпел поражения, приспосабливался, но впоследствии решительно перешел на сторону советской власти, в рядах Советской Армии принимал участие в сражениях с фашистами.

Тайна рукописного корана

...У того, кто говорит правду, конь должен стоять у ворот оседланным. Еще лучше, если одна нога говорящего уже в стремени.

(Из надписей на полях корана)



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ТРОПОЮ НОЧИ

Еще сильнее нахмурилось небо: темное, мрачное, бурливое. Время предутреннее, время рассветное. И тревожное, хотя час этот в природе обычно бывает тихим. Ветер злится и воет, рождает бурю. Гонимые стихией тяжелые причудливые тучи налетают друг на друга, и словно бы из их столкновений рождаются ослепительно яркие ломаные стрелы молний и устрашающе дикие раскаты грома, такие, что могут обуять страхом и не суеверные души. Месяц, похожий на кривой кинжал, будто рубится с черными тучами, высекая все новые и новые искры молний.

Осенние дожди здесь, как всегда, обильные, проливные. Дурши-марка — называют их амузгинские кузнецы,— дожди, несущие с собой ржавчину.

Хлещут они косыми струями, пригибают к земле не только травинки и ветки орешника, гнут и могучие кроны деревьев... И чудится, будто все живое на земле замерло. Затаилось и, съежившись от страха, прислушивается, чем же это кончится.

Молчат в гнездах птицы. Попрятались звери... Только в давно заброшенном приземистом почтовом домике, при-

ютившемся в большом ореховом лесу, в домике, который некогда был единственным связующим звеном между так называемым цивилизованным миром и Кара-Кайтагскими и Сирагинскими горами, сейчас не тихо. Когда-то отважные абреки, с народом согласные, с царем не согласные и с людьми царевыми враждующие, не пожалели сил, чтобы нарушить эту связь,— опустошили почтовую станцию, угнали лошадей. С тех пор не было в доме этом жизни и никто в нем вроде бы не останавливался.

Как бы то ни было, но именно здесь в этот тревожный предутренний час один за другим прогремело вдруг несколько предательски глухих выстрелов. И тотчас, хлопнув скрежещущей на ржавых петлях дверью, наружу выскочил человек в островерхой папахе, в темной черкеске с полным набором газырей, обутый в сапоги. Не глядя, сунул он наган в самодельную кожаную кобуру, закутал голову черным башлыком, вывел из-под навеса коня, легко вскочил в седло, и через минуту по каменистой дороге разнессся бешеный топот его аргамака. Оставшаяся под навесом белая пышногривая лошадь недовольно заржала, словно упрекала: «Что же это меня здесь бросили?!»

Скачет одинокий всадник, позабыв о бурке, привязанной сзади к седлу,— а ведь она бы спасла его от дождя. Скачет на черном как ночь коне с подвязанным хвостом, несется вперед, словно спешит поскорее вырваться из тисков грозно разбушевавшейся стихии.

А дождь хлещет с такой силой, что всадник вмиг промок до нитки, или, как говорят сирагинцы, до самых укромных мест. Хочешь не хочешь, вспомнил он о бурке, накинул ее на плечи. И дождь, будто только того и ждал, вдруг утих. Черные тучи раздвинулись, образовав в небе подобие светлого коридора,— это рассвет рассеивал темные силы.

Вспышка молнии на мгновение осветила полузакрытое башлыком лицо одинокого всадника. Лоб рассечен глубоким шрамом, таким глубоким, что в него можно вложить половинку грецкого ореха. Шрам этот доходит до левой брови, и в остром пронзительном взгляде человека, видимо только что испытавшего страх, вдруг засветилась победная радость, радость надежды. Можно подумать,

всадник вспомнил извечный наказ мудрецов: пусть голова упокоится ночью там, где и утром она будет целой,— и потому сейчас, мысленно адресуя эти слова своему незадачливому спутнику, оставшемуся в почтовом домике, криво усмехается с сознанием своего превосходства — меня, мол, голыми руками не возьмешь, я из рода Занзбар, рода колючих людей, не мхом стелющихся под чарыками.

Нет, не в сторону гор направляет он своего легкого скакуна, а в степи кумыкские, что дышат соленым запахом близкого моря и шумом налетающих на прибрежные скалы яростных волн, дробящихся тысячью брызг. Туда, где хрипло гудит запоздалый паровоз и перестукиваются на рельсах маленькие, видно пустые и потому громогласные, вагоны, ведомые одноглазым железным конем по морскому берегу, куда-то вдаль от полустанка Мамед-Кала.

Судорожно глотая холодные, бьющие в лицо капли дождя, спешит всадник. Спешит, словно хочет нагнать поезд. Впереди разрыв в тучах — полосой сияет красный рассвет. И будто нет там дождя, и гром не гремит, и молнии не сверкают.

Над омытой дождем землей рождается светлый день, и всадник несется туда, на север, в сторону бывших владений шамхалов Тарковских, князей дагестанских, тех, кого белые цари за верную службу щедро одаривали генеральскими званиями да собольими шубами.

Советская власть с первых же дней своего существования поделила земли шамхалов между теми, кто извечно гнул на ней свои спины, а нефтяные и рыбные промыслы национализировала. Только, к великому сожалению бедняков, недолго радовался простой люд. Конец лета тысяча девятьсот восемнадцатого года. Это, как поется в горской песне печали, рожденной в ту пору на скорбных струнах чугура, было время, затмившее серой тучей лучи долгожданного восхода, лучи, ласково согревшие человека на земле. Под свирепым натиском мятежных терских казаков, в которых царизм еще в прошлые века взрастил червь неприязни к горцам, и наемных полков англичан, в числе коих хоть и редко, но попадались и сыны многострадального Индостана — так называемые колониальные солдаты-индусы, прихваченные то ли для

экзотики, то ли для острастки — знайте, мол, глядите, куда дотягивается лапа британского льва,— стонала земля.

Казаки валили с севера, англичане с юга. И это не все. Словно потоки селей и горные обвалы, хлынули «единоверцы» турки, снова зашевелились имамы и богатеи.

Ну как тут было выстоять неокрепшей советской власти, не успевшей еще доброй гостьей заглянуть во все горские сакли, переступить жаждущие света пороги, засветиться огнем в скудных очагах, затеплить их?

Восторжествовали черные силы, и бывшие владетели снова подняли хвосты,— мол, наша взяла, мы, дескать, были и будем наверху. Однако бедняки, познавшие радость обретенной земли, не собирались от нее отказываться и готовы были биться за эту землю не на жизнь, а на смерть...

Скачет всадник, обласканный теплыми лучами рассветного солнца. Кто он и откуда? Абрек это. Саид Хелли-Пенжи. Лесной брат не робкого десятка; качаг — разбойник, наводящий ужас на все живое в Кара-Кайтаге. Дом его — Большой ореховый лес. Родом абрек из Табасарана. Только ни сам он, ни люди не помнят, кто были его отец и мать. Утверждают, будто еще из колыбели его выкрала волчица и вырастила в лесу. Потому-то, наверно, и стал ему домом дремучий лес.

Куда и зачем несется всадник в черном башлыке? Кто знает? Похоже, только сам он да аллах в небе, который, как видно, смилостивился над ним, раз осветил ему дорогу и, разогнав тучи, пронес над его узкими плечами дождь и теперь вот стелит впереди путь прямой, как выемка над лезвием кинжала.

Саид Хелли-Пенжи проведал о тайне и скоро завладеет ею. Это-то и гонит его. Вот что подхлестывает. Но он скачет, а сам озирается вокруг, не забывая о поговорке: оказавшись один в пути, заведи глаза и на затылке.

Кого только не влекла к себе тайна, хотя, как записал всего неделю назад на полях рукописного корана с медной застежкой известный своей ученостью почтенный Али-Шейх из Агач-аула, «самая великая тайна — это жизнь, и постичь ее дано не каждому, но безмерно удачлив тот, кто владеет ключом этой тайны».

СЛАВНАЯ СМЕРТЬ

На расстоянии второго рассвета от этих мест, на небольшом кладбище у Агач-аула, осененном густой тенью вековых деревьев, после полуденного намаза похоронили человека, чье имя не один десяток лет благословляли не только жители долины, но и горцы-таблинцы. Друзья и родственники увенчали могилу покойного небывало искусным надгробьем. Умершего, да не померкнет память о нем, пока луна порождает в людях добрые мысли и чувства, звали, как всякого правоверного, простым именем — Али-Шейх. И хотя величали его всеми титулами служителей веры, шейхом он не был никогда, а вот ученым — в этом спора нет — был истинным. Жизнь своих соплеменников Али-Шейх знал как никто другой, любил их, болезни лечил... Девяносто с лишним лет служил он людям. Срок немалый для того, чтобы многое познать в этом мире.

В народе говорят: много знает не тот, кто много прожил, а тот, кто много видел. Али-Шейх и видел много, и прожил достаточно. Это он, еще юношей, пытливый, знающий грамоту и язык русский, был послан к командующему первой бригадой девятнадцатой пехотной дивизии генералу фон Клюгенау с письмом Шамиля, в котором в ответ на предложение прибыть в Тифлис, где тогда находился Николай I, и испросить у царя прощение, имам, памятуя о многократных коварных изменах досточтимого генерала, отказывался последовать его совету. Согласитесь, что уже эта миссия Али-Шейха была достойным испытанием его мужества.

Всю жизнь Али-Шейх искал в мире правду. Искал, как избавить людей от нищеты и невежества, от горя и рабства. Искал вместе с Шамилем и после Шамиля, когда поверженные «дикие» сыны неприступных ущелий и гор, дотоле признававшие над собой только власть аллаха, перед строем войска победителей, под грохот пушечной пальбы целованием корана клялись в верности белому царю. «Клянусь всемогущим аллахом,— гласила клятва,— пророком Магометом, святым его кораном и добрым именем жены своей! Клянусь, что отныне буду верен великому падишаху российскому и не стану больше поклоняться таким лжепророкам, как проигравший все битвы имам.

Да осквернится гроб моего отца, да покарает меня аллах и пророк Магомет, если нарушу эту клятву верности!» Горцы с легким сердцем произносили «страшные» слова клятвы и... тотчас забывали их.

До последних своих дней Али-Шейх искал лекарство от горя людского, от нищеты и бесправия. Благодарные люди еще при жизни, славя его мудрость и ученость, слагали о нем песни, складывали слова в строки. День, когда ему добротой своей не удавалось согреть человека, Али-Шейх считал для себя потерянным.

Люди шли к нему со всеми заботами. Целые аулы считали честью иметь его своим маслиатчи[1] во всех бедах: в решении вопросов кровной мести, в спорах о потраве лугов, о краже... С ним считались князья и правители. Были такие случаи, что и белый царь удостаивал его письмами, а однажды прислал в дар хорьковую шубу и сто рублей серебром. Царь знал, что делал,— ласкал-задабривал людей, пользующихся влиянием в народе, и тем держал в покорности бурлящий недовольством край. Потом, когда не стало царя, когда наступили не дни и недели, а целые годы смуты и беспорядков, все считались с авторитетом мудрого Али-Шейха. А он, пристально вглядываясь во все и во всех, упорно искал истинных друзей горцев и всё, что думалось ему в эту пору, записывал на полях рукописного корана с медной застежкой, что достался ему от деда, известного на весь Восток ученого по имени Хамза-Дагестанли.

Наступило такое время, Али-Шейх увидел наконец истинных друзей народа, тех, кто отыскал лекарство от всех людских бед. Это были большевики. Али-Шейх целиком отдался служению им, чем немало разгневал ревнителей веры и мечети. Служил он большевикам и народу, чем мог. Только недолго. Внезапно, и совсем некстати, жизнь его оборвалась. И случилось это вот как.

Минувшим утром Али-Шейх завершил чтение очередной книги. А в роду у них издавна водился порядок — прочтение всякой книги отмечать семейным празднеством. Довольный собой, потирая руки, Али-Шейх сказал своей старухе:

---

[1] Маслиатчи — советчик, посредник.

— Испеки-ка ты нам завтра, дорогая Меседу, чуду[1], да с дымоходом.

— Отчего же не испечь, испеку. Для кого мне еще печь, если не для тебя,— с радостью согласилась Меседу, всегда и во всем готовая услужить мужу.

— И для меня и для моих друзей. А ты, сын мой,— добавил старец, глянув на сына Мустафу, единственного своего отпрыска, надежду и продолжателя рода на земле,— созови ко мне всех друзей, всех, до кого долетит голос твой и до кого копыта коня твоего доскачут.

— Все исполню, отец! Да высохнет язык во рту, да отсохнут ноги коня, если откажутся они служить тебе!

Великое множество друзей собралось в доме Али-Шейха. Были среди них и Абу-Супьян из Шам-Шахара, и Мазгар из Кубачи, и даже Шахбан из Ведено, не говоря уж о всех почтенных людях из близлежащих аулов. Время было такое, лошадей много — коней мало, народу много — людей мало.

Съел Али-Шейх за обедом с аппетитом целых три куска ароматного чуду с дымком и велел вдруг постель себе постелить. Лег, попросил воды напиться, подозвал к себе сына Мустафу, притянул его поближе и зашептал на ухо: «К тебе вскорости явится человек и подаст газырь, схожий с теми, что у меня в бешмете. Это будет Хасан из Амузги. Исполни все, о чем бы он тебя ни попросил... Дело в том...» Али-Шейх, не договорив, смолк и закрыл глаза. Не застонал, не вскрикнул, будто погрузился в спокойный глубокий сон...

«Да ниспошлет аллах каждому правоверному такую благородную легкую смерть. Мгновенную — без тревог и мучений!» — говорили одни. Другие усматривали в такой смерти кару аллаха. «Хоть покойников и не судят,— утверждали они,— но, связавшись с комиссарами, с этими безбожниками-большевиками, он совершил тяжкий грех. Виданное ли дело, двадцать три вагона с оружием со станции Петровск в одну ночь как в воду канули. Это дело рук большевиков, и без помощи Али-Шейха они не обошлись. Вот за такое и покарал его аллах...»

— Если бы все крылатые мед носили, негде было бы

---

[1] Чуду — национальный пирог с отверстием для выхода пара в верхнем слое.

его хранить! — глубокомысленно изрек кто-то и сам потом долго думал, к чему он это сказал, и добавил еще более непонятное: — Не бывает так, чтобы тень от дерева не повернула на ствол...

Осенью восемнадцатого года, когда под натиском контрреволюции в Дагестане временно пала советская власть, в Петровске и правда произошел такой случай. Прибыл туда состав из двадцати трех вагонов, груженный оружием, отобранным у интернированного войска, возвращающегося с Кавказского фронта. Высшие офицерские чины разоружили солдат из страха, как бы, охваченные «большевистской смутой», они не повернули против своих же офицеров и не влились в отряды Красной гвардии. Только ничего им не помогло. Двенадцать юнкеров и три офицера, что охраняли состав, были найдены удушенными в угольном складе, а вагоны с винтовками, пулеметами, всякого калибра патронами и бомбами исчезли, будто арба с дровами. В землю они провалиться не могли. Как говорится, раз на ровном не помещается, и в яму не сунешь. Куда подевались вагоны, так и осталось неразгаданным. Хабар[1] этот поверг всех в изумление. Каких только догадок не строили, чего только не рождало людское воображение, однако до истины никто не докопался. А так как все необычайное в этих местах привыкли связывать с именем Али-Шейха, пошел слушок, что и в этом деле без него не обошлось, хотя все сошлись на том, что вся операция — это дело рук ушедших в подполье большевиков.

ПРОСЬБА СТАРИКА АБУ-СУПЬЯНА

Агач-аул, что значит Лесной аул,— это всего несколько саманных домиков с крашенными в голубой цвет фасадами, обращенными на восток. Крыши у них плоские, и над каждой возвышаются сплетенные из жердей дымоходы да катки для утрамбовки глины, которой то и дело приходится заново мазать крыши.

Агач-аул разбросал свои дома за горой Тарки-Тау, что отгораживает его от морского берега, в лощине, куда спускаются лесистые склоны кряжистых гор Атли-Бу-

[1] Хабар — весть.

юнского хребта. К югу от Агач-аула тянутся знаменитые талгинские земли с целебными грязями, известными горцам с незапамятных времен. А обнаружили их, как рассказывают старожилы, самым неожиданным образом. Люди заметили, что больные животные, особенно собаки и буйволы, вдруг исчезали, а через неделю-другую возвращались совсем здоровыми. Стали следить, куда они путь держат, и так нашли эту, пахнущую за три версты тухлыми яйцами, целебную грязь. До недавнего времени каждый горец мог прийти сюда и полечиться, когда ему вздумается. Но откуда ни возьмись объявился некий Исмаил,— говорят, сбежал с гор, от близкого к небу трона. Построил он у этих самых грязей домишко и стал собирать дань с приезжающих полечиться больных, словно бы он и есть владыка целебного источника. Прошло каких-нибудь десять — пятнадцать лет, а он уже владел бессчетными отарами овец, отгонными пастбищами, построил большую двухъярусную саклю из тесаного камня, а заодно воздвиг и мечеть с минаретом — это чтобы замолить перед небом накопившиеся свои прегрешения. Одним словом, разбогател человек невиданно, а поселение свое стал прозывать Исмаил-махи — хутор Исмаила. Людей на него работало видимо-невидимо: и чабаны, и земледельцы, и каменотесы. С рассвета до заката гнули на хозяина спину, а все из долгов вылезти не могли.

Исмаил умел втягивать людей в омут. Даже самых строптивых стреножил этой своей «добротой». «Возьми,— говорил он,— пожалуйста, семья у тебя большая. Только не забывай, что долг платить надо, я дам тебе два барана, ты вернешь три. Дам корову, вернешь с приплодом. Так будет угодно аллаху!»

Исмаил умел держать в страхе своих людей, вернее, умел, пока не объявились эти смутьяны, да, чтобы крапива повырастала у них в очагах, эти балшибеки — слово-то какое, почти башибеки [1]. С их появлением чуть состояния всего не лишился, но, слава всевышнему, комиссарам подпалили хвосты, и власть опять вернулась к Исмаилу. Только вот надолго ли?.. Новые правители, уважаемые кунаки обнадеживали, что надолго. Однако на всякий случай Исмаил на этот раз решил не поскупиться.

---

[1] Башибек — главный бек.

Составил из своих людей вооруженный отряд, до ста сабель наберется, да и еще просятся из соседних хуторов — он ведь как-никак платит, дает сразу при вступлении в отряд каждому по три барана, мешок кукурузного зерна и боевого коня. И люди служили ему верно. Хотя, может, и не очень-то все это им по душе, только что же делать: если время с ними не согласно, им самим приходится соглашаться с временем...

К северо-западу от Агач-аула, по дороге Петровск — Темир-Хан-Шура есть аул Атли-Буюн. Славен он мятежным духом своих жителей. В тридцатых годах прошлого столетия Бутырский пехотный полк и две казачьи сотни под командованием генерал-майора Таубе трижды атаковали этот аул и потерпели поражение, после чего возмущение горцев, возглавляемых первым имамом Казы-Муллой, стало расти и распространяться повсеместно.

Аул Атли-Буюн знаменит еще и тем, что летом его осаждают полчища змей, в большинстве своем ядовитых. Там-то и родился обычай съедать змеиное сердце, чтобы быть бесстрашным. И еще — это атлибуюнцы, а не кто другой, поймали некоего Капур-Рашида, выдавшего в сентябре в руки контрреволюции видных советских работников в Петровске; поймали, набили ему порохом задний проход и подожгли... Вот таков этот небольшой аул.

А дальше, в сторону Чир-Юрта есть еще один аул, Кумтор-Кала. Дрянной аул, полон бунтарей. Один род Коркмасовых чего стоит. Про них так и говорили — ни ногам, ни голове покоя не дают, к тому же и неподкупны, к рукам не приберешь. А каникусу[1] Исмаилу это ох как не по душе. Он любит торжествовать над другими, покорять себе чужую волю, унижать просителей до ползания на коленях. Властолюбец из холуев, сам некогда ползавший на брюхе, теперь в одной упряжке с теми, кому горцы объявили войну. Все покорялись и покоряются ему. И только двоих не смог он ни покорить и ни подкупить. Одним был ныне покойный Али-Шейх, другим непокорным оказался сын некоего кузнеца с амузгинских высот — Хасан из Амузги. Зато сотни других готовы явиться к не-

---

[1] Каникус — брюхатый, буквально брюхонос.

му по первому зову и исполнить любое приказание, хоть бы и сапоги с ног снять. Вот каков он — каникус Исмаил, толстый, что жертвенный бык, шея цветет прыщами и вечно потная, лицо круглое, набрякшее,— одним словом, жертвенное животное...

— Чей это облезлый ишак с дурным голосом?

— Исмаилов. Чей же еще?

— Ах, нашего Исмаила, как же я сразу-то не сообразил. Послушать приятно, какой у него красивый голос,— тотчас поправляется оплошавший было хуторянин.

Зато если ишак оказался бы принадлежащим какому-нибудь бедняку, этот же хуторянин непременно сказал бы, что эдакую дохлятину не грех и со скалы сбросить.

Боятся люди толстяка. Но страх не такая уж опора для сильного.

Почтенные горцы все еще не расходились. После похорон они вернулись в дом Али-Шейха, съели поминальный суп — бурчак-шурпу — и сидят сейчас у ворот на бревнах вдоль стен. К ним подходят всё новые люди, выражают сочувствие и тоже присаживаются, беседуют, щелкая в руках четками, и говорят о покойном. Все больше доброе говорят, воздают ему хвалу, ведь это он, Али-Шейх, нашел в себе смелость обратиться к белому царю еще в прошлом веке. И вот что он написал: «Чтобы народы моего края без всякого сомнения почувствовали бы все выгоды быть подданными державы просвещенной, искорените самоуправство служителей ваших. Считаю нынешний образ управления вредным обоюдно и для народа и для правительства...»

Говорили о покойном разное.

— Не слыхал я, чтобы уважаемый Али-Шейх когда-нибудь болел. Неужели под конец жизни хворь его одолела? — сказал кто-то из старцев.

— Нет, страданий болезни он не знал, только страждущих лечил.

— Как же это он так неожиданно ушел?

— Старость, наверно... Аллах в таких случаях говорит: «Причину найдите сами, а душу возьму я».

— Да какой же он старый? Выглядел, как мой сын

сегодня! Все в округе удивлялись его осанке и легкой походке...— это сказал Абу-Супьян из Шам-Шахара.

— Съел праздничного пирога, попросил постелить постель, лег и умер. Славная смерть...

— Тут что-то не то...

— Думаешь, отравили? Быть этого не может, потому что пироги ведь пекла сама Меседу...

— Такие времена пошли, что родному брату верить стало трудно, идешь с ним рядом и все оглядывайся. Между лопатками так знобит, будто брат вот-вот всадит тебе в спину кинжал...

— Да, времена беспокойные, что и говорить. Но он умер своей смертью. Просто сердце сдало...

— Осиротели горы! Такого человека потерять!..

— Да, пепел не вспыхнет, ушедшего не вернешь,— вздыхали те, кому, судя по летам, предстояло в недалеком будущем последовать за покойным.

Месяц, похожий на ломтик чеченской дыни, поднялся над Тарки-Тау. Стало светлее, звезды высыпали гурьбой, тучи рассеялись, потянулись к небосклонам. Ночь выдалась теплая... Сын покойного Али-Шейха Мустафа суетился, провожая тех, кто уезжал, и встречая тех, кто поздно узнал о беде, но хоть и на ночь глядя, а все же примчался, по обычаю, выразить сочувствие.

Вот в сопровождении нескольких своих спутников поднялся седобородый старец в бараньей шубе и в папахе из золотистого каракуля. Это Абу-Супьян, он обратился к Мустафе.

— У меня к тебе просьба,— сказал он.— Но прежде скажи мне, кто в роду моего друга Али-Шейха достоин возложить на себя бремя старшего?

— Я, уважаемый Абу-Супьян. Больше некому. Мне отныне платить на земле долги отца. Я слушаю тебя, почтенный...— склонив в знак уважения бритую голову, смиренно ответил Мустафа.

— Не знаю, правильно ли ты меня поймешь, сын мой...

— Да пусть будет поражен проклятой болезнью тот, кто не постарается понять старшего!

— Гордо говоришь, сын мой. Да и мог ли сын такого

отца быть иным. Сто̀ящий человек и в юности пожилой, а бездельник и в сорок лет шалопай.

— Я буду счастлив, если окажусь полезным.

— Не мне об этом говорить, всем нам был дорог покойный, да будет жить его имя среди тех великих имен, что хранит в памяти земля наша... Его мудрость и то, как он знал человеческую душу, достойны любой высокой похвалы... Что я в сравнении с ним? Заштатный служитель веры...

— Ваша звезда, почтенный Абу-Супьян, сверкает рядом со звездой моего отца...

— Благодарю тебя. Не знаю, как и приступить к моей просьбе.

— Не затрудняйтесь, уважаемый Абу-Супьян, я весь внимание.

— У незабвенного отца твоего был древний рукописный коран с медной застежкой?

— Почему был? Он и сейчас хранится в нашем доме.

— Я всю свою жизнь стал бы молиться за всех вас, сын мой, и за отца твоего, если бы ты удостоил меня чести стать владельцем этого корана... Мне хочется лишь одного: чтоб с этой книгой я унаследовал и знания и авторитет твоего отца... А тебе известно, сын мой, как порой необходима опора и вера людей, чтобы творить для них добро...

— Так это же реликвия нашего рода,— вмешался кто-то из дальних родственников, но Мустафа тут же перебил его — тот был моложе.

— Как ты смеешь вмешиваться в разговор,— сказал он,— и перебивать старших? Сходи-ка лучше да принеси эту книгу. Если есть на земле человек, святостью своей заслуживший унаследовать в память о моем отце этот коран, так это только Абу-Супьян.

— Благодарю тебя, сын мой... Я передам моим сыновьям — у меня их четверо — рассказ о твоем достоинстве и мужестве,— надеюсь, вы станете братьями.

— Я буду рад, почтенный Абу-Супьян. Вот она, эта книга. Храните ее.

— Пуще глаза своего буду беречь!

— В добрый час, Абу-Супьян!

— Спасибо!

Абу-Супьян попрощался со всеми,— не послушался

тех, кто советовал ему остаться переночевать, а в путь пуститься с рассветом,— погладил бороду, пожал всем руки, раскланялся и, прижимая к сердцу под шубой драгоценный дар, потянул за уздечку свою старенькую лошадь и медленно двинул из аула в южную сторону. Велика была радость в душе почтенного старика. Пусть теперь ему завидуют все, возомнившие себя самыми истинными служителями веры, пустые брехуны. А их немало в его родном ауле Шам-Шахаре, прилипших к мечети, как смола к стволу дерева.

СТРАННЫЕ ГОСТИ

Всех гостей конечно же было не уместить на ночевку в доме покойного Али-Шейха. А потому, по стародавнему кумыкскому обычаю, некоторых, уходя, забирали с собой соседи, и не только соседи, все сельчане... Люди постепенно расходились, когда вдруг, нарушив тишину ночи, заиграл на земле конский топот и, поравнявшись с воротами, быстрый всадник осадил скакуна, легко спешился, отвернул край башлыка, обнаружив отметину на лбу, кривой, как клюв птицы, нос, черные усы над тонкими губами и квадратный подбородок со щетиной.

— Ассаламу-алейкум, жамиат[1] Агач-аула! — сказал он громко. Это был не кто иной, как Саид Хелли-Пенжи, но его здесь не знали.— Почему не отвечаете на приветствие? — добавил приезжий.

— Да будет отвечено, если уж ты просишь, но сын мусульманина не вправе нарушать обычай отцов...

— Все рушится на этом свете, почтенные, о каком обычае разговор?

— Никто еще не въезжал в аул верхом. Уважающий людей должен спешиться еще за аулом. Вот о каком обычае речь...

— Пустое. Когда кусает змея, об укусе комара не вспоминают, почтенные. Но, простите, у вас, кажется, беда? Могу ли я узнать, кому воздаются почести?

— Одному из достойнейших среди нас, слава ушедшему Али-Шейху. Воздень руки и читай молитву.

---

[1] Жамиат — общество.

— Что? О ком вы? Неужели это правда? — Если бы в этот миг мячом покатилась перед ним шаровая молния, и тогда бы Саид Хелли-Пенжи не испытал такого удивления и досады.

— Да, правда. От нас ушел Али-Шейх.

— Молись, джигит. И знай: храбрость — это умение править не только конем, но и собой.

Саид Хелли-Пенжи прочитал молитву, провел ладонями по лицу, чему последовали остальные, затем, чтобы не раздражать народ, пожал всем по очереди руки, присел на бревно и, глубоко вздохнув, молвил:

— Всегда со мной так, почтенные! Всю жизнь не везет... Или прихожу слишком рано, или уже поздно... Нет чтобы явиться вовремя...

— Время — лисица, будь, говорят, борзой.

— Все в руках аллаха. Его воля править жизнью каждого.

— Хвала аллаху.

— Али-Шейх ждал меня. Он должен был меня встретить. Вот я явился, а его уже нет. Жаль, очень жаль...

— У тебя что, дело к отцу? — спросил Мустафа, подсаживаясь поближе к приезжему.

— Да, было дело, и очень важное.

— Говори какое.

— Что толку. Вряд ли мне теперь кто поможет.

— Я старший сын Али-Шейха, мне отныне платить на земле все долги отца.

— Долга за ним никакого нет. Я привез ему газырь, которого не хватало на его бешмете...

— Ты Хасан сын Ибадага из Амузги? — встрепенулся Мустафа.

— Нет, Хасан убит в Большом ореховом лесу.

— Что?..

— Кто сказал, что он убит?..

— Ты о Хасане из Амузги?..

— Сам видел его мертвым?

Все всполошились и заговорили о Хасане из Амузги: те, кто знал его, и те, кто, может, только краем уха слыхал о нем.

У Саида Хелли-Пенжи сердце захолонуло. Если б не серп месяца, а солнце было на небе, не трудно бы заметить, как побледнело его лицо.

— Ты лжешь! Его уже не раз убивали, не раз, это правда. Но убить не удалось никому, ни губернатору, ни англичанам, ни имаму, ни шамхалу. Не поверим мы в его смерть, пока сами не увидим мертвым!..

— Я ценю вашу веру в него, и мне жаль вас. Вы все, наверно, знали его?

— Знали не все, и даже мало кто знал его, а вот слыхать слыхали о нем многое. Все горцы говорят, что человек он небывалой храбрости. На врагов такого страху нагонял...

— Да, брат мой был таким! Был, почтенные люди... Храбрость, что молния, живет мгновение...

— Так ты его брат?

— Да, двоюродный,— с легкостью солгал он.

— Отец говорил мне, что должен приехать Хасан из Амузги...

— Вот я и явился вместо него.

— Но мужество храбреца и не доят, и не седлают...

— Если селитра и сера будут согласны, они не оставят пули в ружье,— отпарировал Саид Хелли-Пенжи.

— Где газырь? Давай сюда и пошли в дом! — Мустафа перешагнул порог. Ночной гость последовал за ним, протягивая газырь.

Мустафа приложил его к газырям отца и сказал:

— Теперь я слушаю тебя.

— В этот газырь заложена бумага. В ней, по-моему, все сказано,— проговорил Саид Хелли-Пенжи, которому ох как не терпелось узнать, что за тайна скрывается в тех словах.

Что делать — аллах не дал ему знаний, и не умеет он по мудреным закорючкам, называемым письменами, читать чужие мысли. Аллах знает, что делает. К его бы способностям да еще и умение читать и писать — несдобровать бы тогда горцам...

Мустафа достал записку и начал читать. На лицо легла тень недоумения и настороженности. Он вновь и вновь перечитал записку. Сомнения не было, речь шла о том самом коране с медной застежкой, что увез Абу-Супьян. В записке черным по белому было написано, что

отцу его надлежит передать этот коран в руки гонца с газырем.

— О каком коране здесь речь? — на всякий случай уточнил Мустафа.

— Я ничего не знаю, мне не дано прочесть, что там написано. Если речь идет о коране, значит, есть такой коран.

— У нас в доме был коран с медной застежкой...

— С медной, а не золотой?

— С медной...

— Где же он, если был?

— До захода солнца я передал его в руки уважаемому Абу-Супьяну. Одному из любимых друзей моего отца.

— Это который же Абу-Супьян, не из Шам-Шахара ли?

— Да, он самый.

— Беда, брат мой, беда. Ты не имел права распоряжаться этим кораном! — не на шутку встревожился Саид Хелли-Пенжи.

С этими словами он вскочил в седло. Сейчас ему и вовсе не было дела до укоров почтенных агачаульцев.

— Надеюсь, следы коня Абу-Супьяна я найду на этой стороне? — и Саид показал на юг.

— Да, там...

— Прощайте! Мне надо спешить! — крикнул он и ветром унесся из аула. «Чем горячее огонь, тем дальше приходится засовывать руки в него»,— с досадой подумал Саид Хелли-Пенжи.

Недовольно посмотрели ему вслед люди.

— Странный кунак, очень странный. У тебя он не вызвал недоверия, сын Али-Шейха?

— Удивительно, но и мне он показался каким-то странным,— ответил Мустафа.— Уж очень глаза у него бегали и все лицо выражало подозрительную тревогу.

— А что ему понадобилось от тебя? Если это не семейная тайна, может, расскажешь, в чем дело.

— Да нет тут никакой тайны. Ему тоже вдруг понадобился коран с медной застежкой.

— Вах, вах, не тот ли самый, что ты великодушно отдал Абу-Супьяну?

— Другого такого у нас нет и не было.

— Тут что-то не то... Боюсь, с этой книгой связана какая-то тайна.

— Не думаю. Если бы тут была какая-нибудь тайна, отец не скрыл бы ее от меня...

— Чует мое сердце, быть беде...

— Не надо гадать, почтенный. Да будет милостив аллах и избавит людей от бед и горя...

— Может, в этом коране тайна святости владельца его?

— Не знаю. Лучше бы я захоронил его вместе с отцом.

— А отец завещал тебе так поступить?

— Нет. Он же ничего не успел сказать.

— Да, тут все что-то странно... Сколько войн я пережил в нашем краю, но так тревожно на душе у меня никогда не было. Поверите ли, почтенные люди, словно бы мне подарили какую-то радость, а я вот ее теряю... Хочу уберечь, но не ведаю как!

— Старость это, почтенный, старость. Мозг твой серым стал, вот тебе и мерещится счастье. В молодости его не было, а на старости хоть бы и явилось, так на черта оно...

— Может, и пригодится. Ты будто знаешь, какое оно, словно купался в его голубых лучах.

— А ты знаешь?

— Не знаю.

— Ну так и замолчи. Не будоражь людям души. Выдумал еще — голубые лучи. Счастье у каждого свое бывает, как и папаха.

— А у меня вот и папахи нет. Может, в ней бы отыскал счастье...

— В папахе что другое найдешь, только не счастье.

— Ты что это, собачий сын, насмехаться надо мной вздумал?

— А чего глупости говоришь?

— Глупее людей, чем в твоем роду, нигде не было, ослиное отродье!

— Что ты сказал?

— То, что слышал!

— Да я из тебя душу вытрясу! Правду говорят, дом вороны отыщешь по карканью.

— Сдержите их, люди! Что они, ума лишились? Где это видано, чтобы счастье искали в драке.

Два человека почтенного возраста и правда чуть не сцепились друг с другом. Не миновать бы беды, не вмешайся в их свару Мустафа:

— Очнитесь, люди! Вспомните, где вы находитесь. Хотя бы один день чтите память Али-Шейха.

Едва ли ссора улеглась бы от этих слов Мустафы, но тут вдруг подошел какой-то человек. Стройный, в белой черкеске с газырями из слоновой кости, в рубашке с застегнутым до самого подбородка воротом, на черкеске пояс кубачинской работы, на поясе оружие: кинжал и наган в кобуре; на голове белая чалма с красной лентой, красный башлык, лицо волевое, грустное, но благородное, широкие плечи, мужественная осанка, на ногах хромовые сапоги. Он вел на поводу белого коня, через седло которого был перекинут завернутый в бурку человек. Пришелец молча сделал знак, чтобы помогли снять ношу. Люди бросились к нему. Сняли бурку, положили на землю, развернули и... ахнули. На ней лежал бездыханный Абу-Супьян!..

Да, это был Абу-Супьян. Не только Мустафу, всех потрясло случившееся. Мустафа в душе укорял себя, что отпустил старика одного. «Ведь мог же послать с ним племянника,— думал он.— Не было бы тогда беды».

Мустафа обернулся к тому, кто привел белого коня с черной ношей.

— Его убили? — спросил сын Али-Шейха.

— Да. Вы знаете этого человека?

— Как не знать уважаемого Абу-Супьяна, он только перед заходом солнца распрощался здесь с нами!

— Я нашел его распростертым на молитвеннике у родника в Талгинском ущелье.

— О мусульмане! Убить человека во время молитвы! Что может быть подлее. Кто же его убил?

— Вот я бы тоже хотел это знать.

— Кто ты? — спросил настороженно Мустафа.

— Я Хасан сын Ибадага из Амузги.

— Что?..

— Ты Хасан из Амузги?

— Почему это вас удивляет? Да, я — Хасан из Амузги, к вашим услугам, приехал приветствовать почтенного Али-Шейха и пожелать ему доброго здоровья на много лет...

Люди окружили человека в белой черкеске. Мустафа готов был броситься на него и схватить за горло, но не дремал и тот, кто назвал себя Хасаном из Амузги. Стройный, легкий, готовый к отпору, он настороженно оглядел всех, попятился назад, и в мгновение ока в руке его уже был наган...

— Вы что, люди, рассудка лишились?! Не спешите. Разделаться с недругом никогда не поздно. В наших горах и без того немало людей погибает по недоразумению. Призовите-ка лучше на помощь рассудок. Не шутите, почтенные, и попросите сюда Али-Шейха. Он вам объяснит, кто я!

— Тебе, выходит, неизвестно, что уважаемого Али-Шейха уже нет среди нас?

— Что с ним? И его убили?

— Нет, он умер своей смертью. Мы сегодня похоронили его.

— О аллах! А кто же теперь несет бремя старшего в его роду?

— Я, Мустафа, его сын. А ты бы лучше сказал истину, кто ты есть.

— Я уже сказал вам, Хасан сын Ибадага из Амузги, вот кто я.

— Хасан из Амузги убит в Большом ореховом лесу, об этом нам сообщил его брат.

— Я так и думал. И давно он убрался отсюда?

— Кто?

— Тот, кто назвался моим братом? Трусливый шакал ему брат, а не я!

— Не больше часа назад. Он здесь долго не задерживался.

— Что ему нужно было у вас?

— Сначала мы хотели бы знать, что нужно тебе?

— Надеюсь, это о чем-нибудь скажет,— Хасан из Амузги сунул в ладонь Мустафы газырь.

Тот раскрыл ладонь и еще больше растерялся.

— Но точно такой же газырь дал мне и человек, назвавшийся твоим братом.

— Это не тот газырь, который должен был быть предъявлен. Да и нет у меня никакого брата! Это матерый волк — Саид Хелли-Пенжи, он украл у меня газырь с запиской. И ты, конечно, отдал ему коран с медной застежкой?

— Нет.

— Очень хорошо сделал. Рукописный коран твоего отца нужен мне сейчас, немедленно!..

— Нет его у меня...

— Как нет? А где же коран?

— Абу-Супьян попросил отдать ему, и я не смог отказать столь уважаемому человеку.

— Ты вручил ему его смерть!

— Нет, нет! Я и не думал об этом! — вскричал встревоженный Мустафа.— Прошу, не обвиняйте меня, я ни о чем не ведал. Хоть бы знать, кто его убил? Если ты Хасан из Амузги, ты должен знать, кто убил Абу-Супьяна. Мы отомстим. Я и четверо его сыновей! Говори — кто?

— Да что теперь говорить! Эх, не повезло же!..

— Кому не повезло?

— Мне. Опередил этот выродок, зверь двуногий.

— О ком ты?

— О том, кто назвался моим братом. Это он убил Абу-Супьяна.

— Кто «он»?

— Я же сказал — Саид Хелли-Пенжи. Прощайте, мне надо спешить. Передайте сыновьям Абу-Супьяна мое сочувствие. А вы, почтенные агачаульцы, запомните: пуля для Хасана из Амузги еще не отлита, не торопитесь меня хоронить. До встречи... Мустафа сын Али-Шейха, я бы сам отправился с тобой к сыновьям Абу-Супьяна, но мне очень надо спешить. Время дорого...

Да, это истинно был Хасан из Амузги, Хасан из древнего рода кузнецов. Недаром говорится, что первым человеком на земле был кузнец — имеющий дело с огнем.

— Хасан из Амузги, скажи мне, не скрыта ли тайна в этом коране? — спросил Мустафа.

— Ты угадал.

— И отец не открыл мне ее!

— Не упрекай досточтимого Али-Шейха. Значит, так было надо. Будь здоров! И вам долгих лет, почтенные! Хасан сын Ибадага из Амузги вам этого желает.

И он ушел, ведя на поводу свою белую лошадь, и оставил растерянными еще более взволнованных агачаульцев. Столько всего обрушилось на них за день. И разобраться трудно. События вроде и не связаны между собой, а если вдуматься, все скручено в один узел.

Хасан из Амузги, сын кузнеца, окончил кубачинское медресе, потом реальное училище. Он знал арабский и русский языки, а в кузне бакинских рабочих, как говорили его сородичи, выковал себя до полной силы. Хамшари — друг по несчастью. Так бедняки бакинцы называли людей, приезжающих к ним на заработки. Нефтепромышленники драли с пришлых хамшари семь шкур. По́том добытый кусок хлеба застревал в горле. Так было, пока возмущение униженных не вырвалось наружу, пока все бедняки не сплотились и не восстали в едином порыве против дворцов и их владельцев. А рабство на этих кустарных нефтяных промыслах Кавказа, по утверждению некоего паранга[1], доходило к тому времени до таких пределов, что человека там поистине превращали в тягловый скот. Жизнь была подобна аду: по семьдесят — восемьдесят душ обитали в одном грязном бараке, в темноте, в сырости, в холоде. Болезни уносили сотни жизней. Нищета была непередаваемая, а штрафы росли и росли. Драли их за все: за медлительность, за курение во время работы, за поломку колеса, за обрыв приводного ремня... Работали люди по колено в грязи, чаще босые или в лаптях из сыромятной кожи, которые от сырости растягивались до невероятных размеров, отчего ноги тяжелели, а тепла никакого не было. Колеса на вышках крутили и люди и лошади, умирали тоже и люди и лошади. А саваном людям служили

[1] Паранг — француз.

бязевые кушаки, которыми были обмотаны латаные-перелатаные бешметы.

В эти места царские власти все больше ссылали непокорных из центральных губерний России. Правительство оставляло без внимания просьбы местной администрации о том, чтобы во избежание беспорядков в среде промысловых рабочих прекратили или хотя бы ограничили приток ссыльных.

Можно представить, какой гнев рождался в душах обитателей эдакого ада. И гнев этот не раз вырывался, как пламя из зева земли, пока наконец не поднялось настоящее восстание, в огне которого закалился и Хасан из Амузги сын Ибадага, тоже ушедший в жизнь на поиски счастья. Он стал среди горцев почти легендарным. Трижды осужденный на разные сроки тюремного заключения, дважды приговоренный к смертной казни через повешение, Хасан всякий раз чудом спасался. Один раз спасла его дерзкая смелость, а во второй раз из петли, что была подвязана к нефтяной вышке, Хасана вызволили верные друзья... Вот почему и слагались легенды, будто он наделен способностью воскресать из мертвых.

Человек риска и необыкновенной храбрости, Хасан из Амузги тем не менее на всю жизнь запомнил урок, данный ему комиссаром Али-Багандом, человеком железной воли, закаленным в суровом горниле битв за счастье народа. Он был популярен как первый командир революционного кавалерийского полка, храбро сражавшегося за власть Советов на Северном Кавказе не только в горах Сирагинских, но и в горах Табасаранских и в степях кумыкских.

Посылая однажды Хасана из Амузги на выполнение особо важного задания, Али-Баганд рассказал ему о случае, что произошел как-то с ним самим в Большом ореховом лесу, где во все времена кишмя кишели всякого рода головорезы и грабители и куда, под видом абреков, просочились ищейки имама из Гоцо и князя Тарковского. Али-Баганд вез прокламации, обращенные к горцам, служившим в отрядах и полках имама и князя. Прокламации призывали всех, кому дорога свобода народа, кто не желает быть в рабстве у богатеев, князей и других власть имущих, кто не намерен укрываться в

скорлупе своего личного благополучия, в это тяжелое для советской власти время, когда она истекает кровью, вступать в отряды красных бойцов. В прокламациях не скрывалось, что вопрос, быть или не быть, стоит перед народом острее, чем когда бы то ни было.

Али-Баганд мог бы все это сказать словами, но очень уж велика была у горцев вера в написанное на бумаге, да еще арабскими буквами. Вот почему и повез Али-Баганд прокламации, рискуя жизнью. Ехал он на арбе, запряженной облезлыми быками. Драгоценный груз был спрятан под мешками с ячменем и кукурузой. Али-Баганд словно бы возвращался с базара из Таркама, куда нужда и большая семья погнали его с гор в такую лихую пору. Очень скоро конные головорезы остановили его, отняли зерно, содрали черкеску, не дав ему времени вынуть из ножен кинжал, и приказали, себе на потеху, плясать, обещали, коли спляшет, вернуть ему арбу. Что оставалось делать Али-Баганду, в арбе-то ведь под мешками прокламации. И он заплясал, хотя прежде никогда в жизни не плясал, и не потому, что не мог, а просто не до того ему было. Вокруг поднялся дикий хохот, хлопали в ладоши, подбадривая танцора, радовались тому, что дано им унизить человека, посмеяться над ним... Али-Баганд выбился из сил, остановился, глянул на своих мучителей — не довольно ли с них, но не тут-то было, абреки вошли во вкус и заорали:

— А теперь танцуй женский танец.

Али-Баганд побагровел, и он уже готов был броситься на краснолицего наглеца, что стоял ближе всего, и задушить его в руках на весу, но вовремя сдержал себя: что толку, ведь и его тогда пристрелят, а он непременно должен довести до конца порученное ему дело. Пришлось пренебречь своей обидой и злостью и, более того, притвориться смиренным.

— Так я ведь и танцевал женский танец,— сказал он,— умей я танцевать мужской танец, разве довел бы вас до такого смеха!..

Обалдевшие абреки не поняли скрытой иронии, они снова загоготали и отпустили Али-Баганда с его арбой. Так прокламации были доставлены туда, куда надо...

Хасан из Амузги понял, к чему клонил в своем рассказе комиссар, и с тех пор, несмотря на буйность харак-

тера, зарубил себе на носу: во имя главной цели надо избегать безрассудства, ради этого не грех иной раз и самому отважному мужчине сплясать женский танец.

Вот каким он был, Хасан из Амузги сын Ибадага.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ХОЗЯИН ТАЛГИНСКОГО ХУТОРА

Исмаил, как вы уже знаете, некогда тоже был бедняком. Он родом из того самого аула нищих, где девушка выходила замуж только за того, кто попрошайничал в других аулах — дал изгрызть собакам не меньше четырех палок.

Ему долго не везло. За что бы ни брался, все у него выходило не так, как у людей. Зная всего две суры из корана, он столь рьяно молился, что продырявил не один молитвенник, а в святые не вышел. Не раз взывал к аллаху: «Если ты есть творец добра, то где же оно, твое добро? Почему так несправедливо распределено? Почему зла на земле во сто крат больше, чем добра?..» Не получив ответа на свои многочисленные вопросы, Исмаил усомнился в могуществе неба и спустился с гор в предгорье, словно бы покинул трон небесного владыки, и, как ласточка вьет себе гнездо, слепил небольшой домик на земле, что у самой лечебной грязи. А вскорости, прикинув, что к чему, почувствовал вдруг себя земным владыкой, заявил всем в округе, что всех, кто без его ведома воспользуется грязью, не минует смерть.

Чего не сделает болезнь? Люди вынуждены были лечиться. И они шли на поклон к Исмаилу. Так-то он и стал богатеть. И очень скоро пошла гулять окрест его любимая поговорка: «Кошка ловит мышь не для аллаха, а для брюха». А брюхо, надо сказать, он отрастил изрядное, словно бочку вина перед собой носил. И очень это ему досаждало. Горевал Исмаил не только о том, что толст и что неплохо бы седину с головы сдуть. Он частенько мечтал скинуть бы и годков эдак тридцать. Но при этом забывал, что тридцать лет назад его никто знать не знал, даже собаки не замечали. Нет, Исмаил хотел, скинув годы, остаться таким же богатым и обла-

дать всем, что имеет. Советская власть было лишила его неправедно нажитого добра. Причем советская власть предстала перед ним на его хуторе в образе двоюродного брата — Хажи-Ахмада, бывшего батрака, ставшего председателем ревкома. Исмаил тогда сделался тише воды, ниже травы, старался казаться угодливым. Если, мол, Хажи-Ахмад желает жить в его сакле, пожалуйста, почему нет. Если пастбища и отары хочет раздать людям, тоже пожалуйста, о чем разговор. Решив, что все пропало и ждать лучших дней нечего, он сдался, хотя горевал, что вот ведь был богатым человеком, в отарах не сосчитать было овец, а Хажи-Ахмад, наоборот, был так беден, что и ветру бы нечего вымести из его сакли...

Однажды, правда, Хажи-Ахмад все же разжился — приобрел одну овцу, то ли хуторяне над ним сжалились, то ли мечеть,— и попросил он Исмаила взять овцу в свою отару на зимовье, в надежде, что по возвращении баранты в горы будет у нее приплод. Исмаил не отказал ему в этом. Но когда отара вернулась на летние пастбища, оказалось, что волк по дороге зарезал одну овцу и, как утверждал Исмаил, это была именно овца злополучного Хажи-Ахмада.

— Судьба, выходит, твоя такая! — с деланным сочувствием сказал тогда Исмаил, обращаясь к двоюродному брату.

— Да,— задумчиво молвил Хажи-Ахмад,— трудно, наверное, было бедняге.

— Кому? — сдерживая усмешку, спросил Исмаил.

— Как кому? Волку. Легко ли в тысячной отаре отыскать именно ту овцу, которая принадлежала мне!

И ушел тогда из аула Хажи-Ахмад, ни слуху ни духу от него больше не было. Но вдруг, когда отрекся белый царь от престола, а вслед за ним и Керенский полетел, Хажи-Ахмад объявился в горах, да не кем-нибудь, а председателем ревкома на всей Талгинской долине. Они-то и поделили вместе с Хасаном из Амузги все, чем владел Исмаил,— пастбища, поля и отары — между бедняками...

И вдруг вернулась к Исмаилу радость: под натиском контрреволюции пала советская власть. Большевики покинули аул, уехал и Хажи-Ахмад, оставив жену свою в сакле Исмаила...

Тут-то и проснулся в Исмаиле зверь. Он вернул себе все, что у него отобрали, и даже больше того. А уж куражился, не одну семью заставил слезами обливаться.

— Вы все отныне мои ралиты[1],— заявил он,— а ралиты обязаны отбывать повинность. Вот и будете каждый по три дня на пахоте работать, потом тоже по три дня на жатве, на сенокосе, на доставке дров, и так на всех видах работ...

Но это еще не все. Позвал он однажды к себе жену бывшего председателя ревкома, а своего двоюродного брата Хажи-Ахмада и приказал, да еще и при гостях — смотрите, дескать, каков я:

— Сними-ка с меня сапоги!

Горянка удивленно уставилась на него и не повиновалась.

— Ты что, оглохла? Кому говорю, сними сапоги! — взревел Исмаил.

— Ты мне не муж и голоса на меня не повышай,— с достоинством проговорила женщина.

— Ха-ха! Слыхали, голоса на нее не повышай! Большевистская подстилка! — Исмаил вскочил и огрел ее плетью.— На колени, сука!

И он заставил ее пасть на колени перед ним, не убоявшись людского упрека, что вот, мол, до чего дошел, меряется силой с женщиной.

А наутро, хотя в душе было опасение, что ему, чего доброго, такое, может, и не сойдет, Исмаил велел вывесить шаровары жены председателя ревкома всем на обозрение на базарной площади: вот, мол, вам ваш позор, большевики. Горянка не перенесла оскорбления, бросилась со скалы в пропасть и погибла.

С того дня Исмаил готов был на любые жертвы, только бы не вернулись большевики, одно упоминание о которых бросало его в дрожь. Он одарил всех, кого мог,— раздал свою баранту — только бы оберегали его, нанял людей, вооружил их и превратил свой хутор в неприступную крепость, с часовыми и верховыми дозорными. Но покоя у Исмаила тем не менее не было. Да и не удивительно, если самыми приближенными людьми у него были изгнанный аульчанами за воровство Мирза из

---

[1] Ралиты — подневольные, зависимые.

Параула, человек, о каких говорили «может из могилы саван выкрасть», и одноглазый борец Аждар из аула Хабдашки, опозорившийся среди других борцов тем, что применял недозволенные приемы, за что его ослепили на один глаз и к тому же пообещали, если осмелится снова выйти против соперников, второго глаза лишить. Исмаил подобрал этих отверженных и удостоил особого доверия — поручал им самые темные дела, вплоть до убийства.

В последнее время и Мирза и Аждар занимались главным образом тем, что добывали оружие, так как пока еще не все Исмаиловы люди были вооружены.

Этой ночью они вернулись из очередной своей вылазки в Порт-Петровск.

— Сколько вы достали оружия? — спросил Исмаил, приглашая их отведать мяса, отваренной бараньей головы.

— Четыре винтовки и два нагана,— доложил Мирза.

— И еще один маузер, только Мирза хочет его присвоить, потому и не говорит о нем,— объявляет Аждар, усмехаясь своим налитым кровью единственным бычьим глазом.

— Уважаемый Исмаил, этот маузер с патронами я оставлю для себя,— водянистые, с набрякшими веками глаза Мирзы жадно впились в блестящую деревянную кобуру.

— А ну дай-ка его сюда! — рявкнул Исмаил.

— Исмаил, прошу тебя... Я добыл его, рискуя жизнью...

— Мяукай не мяукай, ты не моя кошка! — Исмаил схватил Мирзу за нос.— Положи сюда. О, да он новенький! Откуда такой? Кому он принадлежал?

— Человеку в кожанке.

— Большевику?

— Похоже, он был из комиссаров.

— Значит, большевик. Ты убил его?

— Не знаю. Я залез в один дом, на второй этаж, смотрю, там человек спит. А оружие лежит на столе. Я взял его. А когда хотел сундук открыть, человек проснулся, пришлось выстрелить в него. После этого я выбросился из окна и...

— Верен ты, я вижу, своей привычке. Ну что ж, и

это до́бро... А маузер останется у меня. Ты себе еще достанешь. Какой же я хуребачи[1], если у меня не будет такого оружия?..— И Исмаил приспособил кобуру с маузером себе на пояс.— Ну и тяжелый же, черт бы его побрал! — крикнул он довольно.— Ничего, зато вид солидный, теперь не стыдно и турка встретить...

— Он один едет?

— Не знаю, может, и один. Хотя в такое смутное время, да еще офицер, едва ли он решится ездить один. Надо его достойно принять. К тому же из Астрахани вернулся мой племянник, царский офицер.

— И где же он сейчас?

— В Петровске задержался. Слыхал я, правда, что он вроде бы с большевиками снюхался, но я не верю в это. Он всегда любил и уважал меня и сейчас будет делать то, что я от него потребую. А вы сегодня не очень-то разжились. Винтовки мне не нужны. Я же говорил, что мне бы пулеметов или пушек. На каждый бы угол крыши поставить...

— Да что ты! — ахнул Мирза.— Крыша провалится. Ведь такая тяжесть.

— Да и как их поднимешь на крышу? — поддакнул Аждар.

— Поднять-то бы можно, но кто стрелять из них станет, это ведь не наган.

— Пока что надо сначала достать их, а затем и стрелять научимся: коли придут на подмогу кошки, и мышиную силу преодолеть можно.— Исмаил вдруг насторожился: — Тихо, слышите... Кто-то скачет. Да, да, именно к моему дому скачет. Не турок ли легок на помине, да чтоб в роду его все передохли. А может, племянник мой, Сулейман? Хорошо бы. Он офицер, вот ему бы я и передал командование моими людьми. А ну, быстро в ту комнату. Чтоб ни слуху ни духу вашего не было!

Исмаил показал им на дверь в смежную комнату и вышел встречать поздних гостей.

Не отворяя ворот, он крикнул:

— Эй, кто бы вы ни были, надеюсь, зла не таите! Но хотел бы я знать, кто осчастливил меня?

---

[1] Хуребачи — начальник, командир крепости.

— К тебе мы, уважаемый Исмаил. Дело у нас. А зла к тебе нет никакого.

— Знакомый вроде голос, а угадать чей не могу...

— Встречаться нам с тобой еще не доводилось, но я буду рад знакомству с таким ученым человеком.

— А что за дело у тебя ко мне? — Исмаилу очень польстило услышать в свой адрес высокое слово «ученый».

— С каких это пор, еще не открыв ворота, горец спрашивает кунака о деле? Не думал я, что столь уважаемый в округе человек, как ты, Исмаил, способен на это. Что же, мы уйдем искать следы копыт своих лошадей, только скажи нам, где еще поблизости есть человек, умеющий читать коран...

— Вы что, пугать меня вздумали? Да я вас сейчас! Вот только свистну, и мои бойцы...

— Ты не понял нас, почтенный Исмаил. Нам срочно нужен человек, который может прочитать некоторые родовые надписи на полях одного корана...

— Так бы давно и сказали... Лучшего, чем я, чтеца вам едва ли найти...

ЧТЕНИЕ КОРАНА

Ворота наконец открылись, и во двор въехали трое. Один был Саид Хелли-Пенжи, а двух других он, видно, где-то подобрал по дороге. Саид Хелли-Пенжи находил друзей так же легко, как и терял их.

Исмаил вгляделся в гостя. Лицо квадратное, безусое, но щетинистое, темное и шрам на лбу. Брови густые, широкие, губы тонкие, плотно сжатые, желто-воскового цвета подвижные глаза, на голове папаха из стриженой овчины. И все это на непомерно толстой шее.

— Мы прослышали о твоей большой учености, почтенный Исмаил, и только поэтому осмелились потревожить тебя,— проговорил Саид Хелли-Пенжи, заметив при этом, как внимательно рассматривает его хозяин дома.

— А мои дозорные что ж, разве вас не встретили? — несколько удивленный спросил Исмаил.

— Они, видно, немного задремали,— улыбнулся в ответ Саид Хелли-Пенжи.

— Но ничего, завтра я им припомню, что сладко, а что горько. Проходите, гости.

— Спасибо, уважаемый, да не иссякнет радость в этом доме, у нас очень мало времени.

— Могу ли я узнать, кто вы?

— Люди, ищущие добро.

— Хорошо сказано. Все живые ищут добро.

— Но не все его находят, хочешь ты сказать?

— Что верно, то верно, каждому небо дает свое. А не знаешь ли ты, что приключилось с тем, кто хотел расширить дыру своего благополучия?

— Не доводилось слыхать.

— Был такой случай, во сне одному бедному сапожнику явился ангел и, показывая на разного размера дыры в худом сите, сказал, что это судьбы людские, «А твоя,— сказал он сапожнику,— вот эта»,— и ангел показал на самое маленькое отверстие в сите. Бедняк, у которого в эту минуту в руках оказалось шило, решил немного расширить пределы своей судьбы и... проснулся с диким криком. Шило, которое и правда было у него в руках, сапожник воткнул себе в ноздрю. Ха-ха! Вот ведь как бывает!..

— Да, бедняку и во сне не везет.

— Ой, не говори! Я раньше даже и бедняком-то не был. Ведь для того, чтобы называться бедняком, тоже надо что-то иметь, а у меня вообще ничего не было.

— Да, почтенный Исмаил, аллах над тобой смилостивился.

— Э, нет! Аллах не поможет, если у самого у тебя нет этих, как их называют...

— Добрых всходов...

— Вот, вот! А как твое имя?

— Саид Хелли-Пенжи.

— Так это ты и есть! Слыхал я о тебе, гроза Кара-Кайтага. Это, выходит, я тебя остерегался, не посылал своих отар через Большой ореховый лес?..

— Зря боялся,— пробормотал Саид Хелли-Пенжи, а про себя подумал: «Если бы кто явился с твоим именем, я бы его на первом суку сушиться повесил».

— Ну это ты сейчас так говоришь, когда нужда у тебя во мне. Знаю я вас, абреков.

— Каждый добывает свой хлеб, как умеет,— прикинулся обиженным Саид Хелли-Пенжи.

— Да ты не сердись. По мне, абрек лучше, чем большевик. Абрек если и возьмет, то не все, а большевики, того и смотри, дотла разорят...

— В доме, надеюсь, никого больше нет? — перевел разговор ближе к делу Саид Хелли-Пенжи.

— Есть, как же нет. Жена и дочери мои. Они, правда, все спят давно. А у тебя что, тайна какая? Выкладывай давай. Очень я их люблю, тайны всякие...

— Да нет у меня никакой тайны. Вот коран у нас, на полях которого на какой-то из страниц должно быть написано... об отце этого человека,— придумал на ходу Саид Хелли-Пенжи, глянув на одного из своих спутников.— Мы его ищем, говорят, богатый он. Может, тут обо всем и написано?..

— Дайте-ка сюда, а вы садитесь да ешьте, налегайте на мозги, они вкуснее всего, я их очень люблю.

«Оно и видно, что у тебя бараньи мозги»,— подумал про себя Саид Хелли-Пенжи.

Исмаил принялся рассматривать книгу.

— Коран рукописный,— сказал он наконец,— я его где-то вроде видел. А чем вы, кстати, заплатите мне за чтение?

— Да разве это такой уж большой труд? — удивился Саид.

— Труд не труд, а сами-то вы не прочтете. Ну, а раз я должен трудиться, значит, мне следует плата. Так сколько же вы дадите?

— Золотой десятки, я думаю, тебе хватит?

— Да вы посмотрите, какая она толстенная, книжища-то эта. И две десятки не много.

— Ладно, полторы.

— Нет, две. Вы уж не скупитесь.

— Пусть по-твоему. Только давай скорее приступай к делу.

— Легко ли перелистать столько страниц? — Исмаил придвинул к себе лампу и раскрыл книгу.— Все читать или только надписи на полях? — спросил он.

— Нет, нет, все незачем.

— Так... А тут много любопытного.

— Что, например?

— Вот смотри, что написано: «Никакое добро не приносит человеку столько радости, сколько то, что добыто из-под собственных ногтей»! Верно ведь... Мудрый человек писал.

— Дальше, дальше.

— А здесь написано о беде...

— О какой еще беде?

— «Разгневался аллах на людей,— написано тут,— и послал он им великое испытание, больше половины всех, кто лежит на кладбище, умерли от землетрясения. И им легче, чем нам, живым. Нам негде и не на что жить, не на кого надеяться... Аллах всемогущий, пошли и нам смерть, будь милосердным...»

— Это не то...

— А книга, я должен сказать, очень занимательная. Вот здесь написано о рождении сына, Мустафы, здесь о траве какой-то, которая лечит раны, тут о лунном затмении... А вот совсем свежая надпись: «Был в ауле Куймур и видел там красавицу дочь слепого Ливинда. Восхищен я и горд, что на нашей земле растут цветы, достойные украсить трон любого падишаха, и как жаль, что такой красе, скорее всего, суждено прожить в бедности и безвестности. Аллах, будь милостив к этому расцветшему цветку...»

— Дальше, дальше. Все это нас не волнует.

Исмаил еще долго читал разные разности, и Саид Хелли-Пенжи все говорил: «Дальше, дальше». Но вот вдруг прозвучали слова, которые сразу насторожили слушателей:

— «...Шкатулка с тайной закопана у древней куймурской крепостной башни, там, где растет...» — произнес Исмаил и добавил: — это, по-моему, вам тоже не интересно?..

— Читай, читай, это любопытно...

— Да, очень любопытно, интересно, что за шкатулка, а?

— Читай же!

— «...там, где растет одинокое ореховое дерево. От него на юг, в сторону Кибла, надо пройти три шага, затем повернуть к восходу солнца и еще пройти семь шагов, и упрешься в надгробную плиту, под которой никто

не захоронен. Под ней и следует копать...» — Исмаил замолк.

— Дальше, дальше! — нетерпеливо подгонял Саид.

— Все. На этом надпись обрывается.

— Благодарю тебя, почтенный Исмаил, это нам и надо было знать...— Саид Хелли-Пенжи резко выхватил из рук хозяина книгу и поднялся, собираясь выйти.

— Ты, надеюсь, не забудешь уплатить мне?

— Непременно получишь свое, почтенный Исмаил. Дай только клад вырыть, не два, а три золотых тебе отвалю...

— Но мы ведь договорились... К тому же я придерживаюсь того мнения, что сегодняшнее яйцо лучше обещанной на завтра курицы.

— Ничего, потерпишь и до завтра. С голоду не пропадешь. Дети твои хлеба не просят. Потерпишь, тебе же лучше. Кстати, ты нас не знаешь, и мы тебя не знаем. Заруби это себе на носу. Ни один человек не должен знать об этой тайне, понял, иначе...

— Я требую платы...— стоял на своем Исмаил.

— Тебе все сказано, старик. Не увеличивай нору жадности в своем сердце.

— Вот не думал, что люди могут быть такими недостойными. Обмануть старика! А что, если я вас не выпущу?..

— Но, но! Придержи лучше свой язык, не зли нас, не то... Пошли-ка.— Саид Хелли-Пенжи отстранил рукой возмущенного Исмаила, пропустил вперед своих людей и сам последовал за ними.

Едва топот их коней заглох, Исмаил, куда девалась его злость, довольно улыбаясь и потирая руки, вернулся в комнату, где его ждали верные нукеры. Они о чем-то перешептывались между собой. Исмаил, если ему надо было предпринять что-нибудь важное, имел обыкновение так повести разговор, что идея предприятия исходила как бы не от него. Вот и сейчас как ни в чем не бывало он спросил:

— О чем это вы?

— Да так.

— А все-таки, о чем вы шепчетесь?! Не тянуть же мне вас за язык!

— Клянемся твоим драгоценным здоровьем, мы так, о пустом говорили.

— О, чтоб ваш род на корню иссох, говорите же, в чем дело? — притворно сердился Исмаил, зная, что через минуту-другую ему представят целый план действий.

— Да как тебе сказать... Правда, ты наш хозяин, а мы твои слуги — и, пока живы, верны тебе, а потому и скрывать нам от тебя ничего нельзя. Но...

— «Но», «но»! Что за «но»? Объясните вы наконец или нет?

— Да боимся мы, вдруг не позволишь...

— Что я вам должен позволить? Говорите же, не то мое терпение лопнет. На что вы хотите решиться?! Ну!

— Сказать правду?

— Лгут только недостойные!

— Так пусть будет сказана правда: мы всё слышали, уважаемый Исмаил. Они нашли клад! Так, может?..

— Я так и понял, чтоб весь ваш род передох! Ну и длинные же у вас уши. Ослы позавидуют. И вы не боитесь аллаха, такое задумали?..

— Что мы задумали? — переглянулись между собой нукеры.

— Вы меня спрашиваете или я вас, чтоб ваш род передох? Говорите же, или вы не понимаете, как дорог сейчас каждый миг?

— Ну так, если бы ты позволил...

— Давно бы так!.. Но это же пахнет кровью, неужели же вы осмелитесь на такое? Вот не думал, не думал... Но что же вы? Время идет, кони несут их уже в долине Каменной Черепахи...

— Если бы ты повелел нам.

— Что, что? Это я должен вам повелеть? А вы сами что, несмышленыши? Своих голов на плечах нет? Или они у вас соломой набиты? Побойтесь аллаха. Вот уж не ожидал от вас. Вы хотите последовать за ними? Я же знаю, я читаю ваши мысли как на ладони. Хотите, когда они выкопают клад, напасть на них и... того? Достойно ли горца такое дело, благородно ли это?.. Но что же вы медлите? Да поможет вам аллах! И учтите, еще никому не удавалось обвести Исмаила лисьим хвостом.

Мирза и Аждар выскочили из дому, вывели уже осед-

ланных лошадей из конюшни, и через минуту-другую конский топот разнесся по Талгинской долине. Из-под хорошо подкованных копыт фейерверком высекались искры. Недаром говорится: у птицы гнездо на дереве, а у хитреца — в груди.

ЖЕЛЕЗНАЯ ШКАТУЛКА

В полдень следующего дня Саид Хелли-Пенжи с двумя своими лесными братьями подъехал к Куймуру. В аул заезжать было небезопасно, а потому до наступления темноты они решили пересидеть в лесной чащобе. Здесь за скудной трапезой — полчурека на всех, кусок овечьего сыра и вдоволь холодной воды из родника, что протекал прямо у ног,— время шло не так быстро, как того хотелось бы Саиду Хелли-Пенжи. Развалясь на мягкой росистой траве, глядя на кучевые белые облака и синее лазурное небо, каждый из троих размечтался о своем. Саиду Хелли-Пенжи в зеркале ожидаемой шкатулки виделся белый Багдад — несравненный, сказочный город Востока. И себя он видел в белой чалме, унизанной алмазами, в шитом золотом халате, ни дать ни взять — наследный принц Багдадского престола. Видения лесных братьев Саида были менее пышными. Один мечтал о том, что любимая жена и дети готовы простить ему вину и он возвращается домой, навсегда отрешившись от бесчестной жизни. Другому виделось, что аллах предоставил ему наконец случай похитить любимую девушку из дома своенравных родителей, по милости которых он стал одним из тех, кого горцы называют двуногими волками.

Мечты Саида вдруг прорезала мысль о том, что не руками же они должны рыть землю. У них, конечно, есть с собой кинжалы, только много ли ими нароешь.

— Эй вы, ослиные головы! Надо раздобыть кирку и лопату. Да так, чтобы никому в голову не пришло, зачем они вам нужны.

— Мы сейчас, Саид Хелли-Пенжи, мигом все раздобудем,— вскинулись лесные братья.

— Вдвоем не ходите, и один управится; если не удастся тайком где-нибудь со двора утянуть кирку и лопату, вот деньги, купи,— и Саид бросил тому, что был выше

ростом и тощ, словно загнанная кобыла, серебряный рубль с изображением белого царя.

— Я попрошу, скажу, по дороге товарищ умер, похоронить его надо.

— Идиот, хочешь, чтоб весь аул сюда собрался?

— И верно, не то я надумал.

— Ни слова лишнего не говори, спросят, зачем понадобилась лопата, буркни себе под нос что-нибудь и на все вопросы только знай себе кивай согласно головой. Не осложняй простых вещей и не упрощай сложных. Набирайтесь ума-разума.

— Понятно.

— Иди. Скоро вы будете богатыми, сукины сыны, благодарить меня всю жизнь будете, Саида Хелли-Пенжи. И весь мир для вас станет Багдадом.

Долговязый ушел, а рябой коротышка, с лицом, будто слепленным из серой сулевкентской глины, остался с Саидом. Это был тот, который мечтал о похищении своей возлюбленной. Он рассказал Саиду о том, что его гложет, и вдруг воскликнул:

— А зачем же мне ее похищать, теперь просто выкуплю! Правда ведь, Саид?

— Да ты, брат мой, когда набьешь карманы золотом, еще подумаешь, стоит ли связывать себя с какой-то там девчонкой...

— Но я ее очень люблю!

— Она красивая?

— Для меня да. Правда, чуть прихрамывает, но я этого даже не замечаю.

— А я вот никогда никого не любил. И меня никто не любил. Хотя нет, неправда. Одна баршамайская вдова любила меня. Огневая была, стерва, дотла сжигала... Она еще была замужем, когда однажды, будучи у них в гостях, в отсутствие мужа я полез к ней. И знаешь, что она сделала? Я-то думал, вот сейчас поднимет шум на весь аул, и вдруг слышу, она говорит: «Чего ты так долго не шел, измаялась я ожидаючи». Ну, мы, конечно, времени даром не теряли, а все же до прихода мужа не управились. И он застиг нас. Ну я с ним сцепился, а она, едва он одолевать меня стал, закричала: «У каждого своя жена, пусть он об этом знает! Бей его, муж, бей!» Но как только я брал над ним верх, женщина меняла

речь. «И что это за муж,— кричала она,— сам не справляется с делом и другому мешает! Бей его, мой возлюбленный! Бей!» Ха-ха-ха! Вот как оно иногда получается.

— Моя не такая...— с грустью проговорил коротышка.

— Все они до поры не такие. Не верю я женщинам, они любого из нас продадут и купят с легким сердцем. Однако, что-то наш одноухий не возвращается?

— Его Хурда-Кади зовут...

— А тебя?

— У меня и имени-то нет, просто прозвали Ятим-бедняк.

— Где он ухо свое потерял?

— В Большом ореховом лесу.

И Ятим с улыбкой поведал, как это случилось. Был такой абрек, Умар из Адага. Разные они бывают, абреки. Этот был мужчина, настоящий горец. Он защищал бедных, угонял табуны и отары овец у богатых и все раздавал беднякам по аулам. Но были в лесах и другие абреки. Те ногтя на мизинце Умара из Адага не стоили. И однажды в Большом ореховом лесу этот Хурда-Кади, которому поперек горла стояла добрая слава Умара из Адага, подделался под него и обобрал бедняка горца, который вез на арбе кукурузу себе домой. Огорченный бедняк сел у дороги на камне, взялся за голову и на чем свет стоит стал поносить Умара из Адага. Вдруг будто из-под земли вырос перед ним на лихом коне всадник и спрашивает:

— Чем ты удручен, брат?

— Горе у меня, добрый человек, большое горе, семеро детей дома, слепой отец, хромая мать, больная жена — все они голодные, ждут меня там в горах, и я вез им кукурузы, да вот обобрали меня...

— Кто?

— Абрек Умар из Адага, будь он проклят, чтоб род его выморила чума.

— Он сам так и назвался?

— Да! Да с каким бахвальством, чтоб ему не знать радостей.

— Куда он увел арбу?

Бедняк показал в глубь леса.

— Следуй за мной,— сказал всадник и поскакал в ту сторону, куда направился грабитель.

Умар из Адага очень быстро нагнал Хурда-Кади, остановил его, велел вернуть бедняку все, что тот у него отобрал, и на глазах у пострадавшего горца одним ловким взмахом сабли отрубил Хурда-Кади ухо и сказал: «Это, негодяй, тебе за то, чтобы ты впредь не путал себя со мной!» Так он потерял ухо...

— Вот что, Ятим, иди-ка ты ему навстречу. И знай, если что, бегом обратно,— проговорил Саид Хелли-Пенжи, словно бы и не слушал длинного рассказа Ятима.— Э, да вот, кажется, и он сам.

Из кустов действительно вынырнул одноухий с лопатой и глиняным кувшином в руках.

— Где ты так долго пропадал?

— Нате-ка вам, ешьте ягурт. Я уже наелся в погребе. Целый кувшин съел. Холодный и очень вкусный, вроде из молока буйволицы... Кирку я не достал, а рубль твой в целости.— И он подбросил монету.— Коли царем вниз, будет удача, а нет, так не будет...

— Царь плюхнулся лицом в землю,— значит, удача! — воскликнул Ятим.

— Береженый палас атласом станет! Слыхали такое? — проговорил Саид Хелли-Пенжи и спрятал монету.

Когда сгустились сумерки и над саклями куймурцев поднялись дымки от очагов, над которыми жители кипятили молоко, варили картофельный суп, и когда последняя, отбившаяся от стада корова была загнана во двор, Саид Хелли-Пенжи и его спутники, оставив лошадей привязанными в лесу и положив перед ними охапки наспех собранной травы, направились по известковому крутому склону к развалинам древней башни. Ко времени, когда поднялся светлый месяц в сопровождении светлой звезды, они уже были у башни.

— Не об этом ли дереве говорится на полях корана? — оглядевшись, сказал Ятим.

— Другого здесь и нет.

— От дерева три шага — написано там. А что, если этот дьявол нам все не так прочитал?

— Не тревожь душу! — разъярился Саид Хелли-Пенжи.

Коротышка словно прочитал его мысли:

— А все-таки хитрые у него были глаза.

— Пусть только попробует, я сдеру с него шкуру, как с барана в базарный день. Выпотрошу и сушить повешу. А коран в наших руках, вот он. Мы все равно дознаемся до тайны.

— А что, если он послал нас сюда, а сам выбрался на верное место? Мы будем рыть пустое место, а он тем временем завладеет шкатулкой...

— Не мог он мне соврать, зная, кто я такой. Но все же надо спешить! Итак, три шага в сторону Кибла...

— А где находится Кибла?

— В той стороне, куда ты встаешь лицом, когда молишься.

— Но здесь-то я никогда не молился.

— А молился ли ты вообще?

— Ну, скажем, за любимую свою...

— Не гневи аллаха. И будет зубы скалить. Поворачивай. Видел, куда садилось солнце? Вон за ту гору. Выходит, надо стать к ней спиной и сделать семь шагов. Раз, два, три...

— Ну, и где здесь надгробная плита? Я же сказал, что обманул нас этот негодяй!

— Не может быть!.. А это что?

— Обыкновенный камень...

— Нет! Это основание разбитого надгробия. Ну-ка ищите на склоне...

— Есть!..

— То-то же! Бери-ка лопату и рой! Не верится мне, чтоб кто-то не побоялся аллаха и обманул меня.

Ятим с азартом захватывает лопатой землю, сухую, смешанную с известняком. Но вот его сменяет Хурда-Кади. «Раз земля так легко поддается, может, клад и правда здесь!» — радуется про себя Саид Хелли-Пенжи. А тем временем в ущелье, в русле высохшей речушки, неподалеку от старого дома-башни, откуда доносится тоскливый вой шакалов, спешились два всадника. Они привязали своих лошадей к стволу дерева, вскинули винтовки и, стараясь не шуметь и не привлекать к себе внимания, стали осторожно подниматься к башне. Яма все глубже, а те двое все ближе к цели. Вот они поднялись, притаились за камнем, из-за которого им хорошо

видно тех, кто, не подозревая, что за ними наблюдают, отрывают клад. Месяц хорошо освещает это место, и потому ничего не стоит взять на прицел увлеченных кладоискателей. Нужен только удобный момент. Торопиться некуда, пусть извлекут клад, тогда и можно заговорить языком оружия. А пока незачем мешать людям самим рыть себе могилу.

— Ну скоро там? — будто чувствуя неладное, торопит Саид Хелли-Пенжи. Ему и в самом деле кажется, будто в затылок вонзился чей-то острый взгляд. Он обернулся, прошелся мимо того самого камня, за которым прятались недруги. Чует что-то звериный нюх...

— Есть! — воскликнул Хурда-Кади, который уже по шею скрылся в яме. Под лопатой у него заскрипело железо.

— Что есть?

— Совсем маленькая...

— Что маленькая? Шкатулка? Давай сюда!

— Сейчас. А тяжелая, будто чугунная!..

— Драгоценности потому и драгоценны, что они малы, да тяжелы. Давай-ка сюда...

Саид Хелли-Пенжи отбросил коран в сторону и нагнулся, чтобы взять шкатулку... И тут раздались выстрелы, Ятим рухнул на месте, успел только сказать: «А это уж зря, ни к чему мне сейчас умирать...» Раненый Саид Хелли-Пенжи скатился по склону и при этом выронил шкатулку. Ну, а Хурда-Кади, бедняга, даже не вылез из ямы. Схватившись за голову, он осел на дно ямы и кончился, не вымолвив ни единого слова.

— Эти готовы! — сказал Аждар.— А третий, жаль, успел улизнуть. Вот она, шкатулка-то!.. Наша она, ты понимаешь это?

Аждар на радостях так хлопнул Мирзу по спине, что тот чуть не свалился в яму.

— Чему радуешься-то? Отнесем ее сейчас и отдадим все добро этому, чтоб весь род его передох...

— Ты думаешь, что нам обязательно надо так сделать?

— Э, брат Аждар, ты, я вижу, башковитый! На самом деле, зачем он нам нужен, если в руках у нас такое богатство?

— А сколько, ты думаешь, здесь?

— Уверен, что и внукам нашим и правнукам хватит. Но я боюсь, Исмаил разыщет нас, где бы мы ни были.

— С таким-то добром мы скроемся хоть в Стамбуле, хоть в Тавризе...

— Далеко вы собрались, любезные!..

Если бы вдруг грянул страшный раскат грома, наши дружки перепугались бы меньше, чем от этих спокойно сказанных слов. Они обернулись и увидели своего хозяина с маузером в руке.

— Ну что скажете? Я с детства помню поговорку: «Для своего добра свой глаз — лекарство». Вот и решил проверить, что вы тут делать будете... Негодяи, собачьи дети! Так-то вы оправдываете мой хлеб и мою веру... Да я вас, крысы эдакие, могу здесь же на месте прикончить и зарыть в этой яме!..

— Прости нас, почтенный Исмаил.

— Прости, шайтан попутал...— подползли они оба на коленях к хозяину.— Соблазн был велик... кто бы устоял. И пророк ведь, говорят, за свою голову молится. Хорошо, что ты пришел и не дал нам в грех впасть.

— Я к вам как отец, а вы... Благодарите аллаха, что наделил меня великодушием. Так и быть, я не укокошу вас. Зарубите себе на носу: кто поступил с тобой, как мышь, будь ему кошкой; кто был к тебе собакой, будь ему волком, зато, если кто поступил с тобой по-отцовски, будь ему сыном... Слыхали такое? То-то же!

— Спасибо за урок, почтенный Исмаил.

— Давайте сюда шкатулку, и поехали. Молитесь за мое сердце, за то, что оно умеет прощать людские слабости. Но если еще хоть что, пеняйте тогда на себя — хватит меня истинный гнев, злее зверя не найдете! Понятно?..

— Мы все поняли, прости нас.

— И забудьте навсегда ваши Тавризы и Стамбулы. Если понадобится, моя рука дотянется и туда, тем более сейчас всюду войны и границы государств открыты настежь... Этих мест вам и во сне не видать! Понятно, сыны блудной матери...

— Ты нам как отец, почтенный Исмаил.

— Отец не отец, но я вас кормлю, одеваю, обуваю, учу уму-разуму... Этого немало. А известное дело, шашка не должна рубить ножны...

Исмаил не шутил, в гневе он и правда злее зверя. И до чего же хитер и коварен, особенно если станет говорить, намазывая сметану с медом на язык. Вот тогда-то жди от него подвоха. Зная такой его нрав, Аждар и Мирза старались разжалобить хозяина: всю дорогу клялись быть ему еще более верными и преданными, как чабанские псы. И на этот раз Исмаил, как ни странно, простил им,— видимо, велика была радость оттого, что стал обладателем драгоценной шкатулки.

РАДОСТЬ И ОГОРЧЕНИЕ

Мрачный дождливый рассвет пугливо пробивался сквозь пелену тумана. Исмаил вернулся домой в добром настроении, даже жену поприветствовал, дочерей, что спешили с медными лужеными кувшинами по воду к роднику, по головкам погладил, приласкал во дворе собаку и, прижимая шкатулку к груди, вбежал в комнату. Аждар и Мирза остались во дворе. Уселись они на лестнице, и горькими, как полынь, были мысли, роившиеся в их головах. Им, конечно, очень хотелось бы узнать, что же там, в этой шкатулке. Исмаил понимал это и потому позвал их к себе:

— Так уж и быть, идите сюда, не хочу, чтоб вы обо мне дурное подумали, да и открыть ее я один не смогу. Похоже, крышка оловом запаяна...

— И рисунки какие-то на ней...— осмелел Мирза.

Железная крышка шкатулки и в самом деле была украшена рельефными расписными сценами то ли охоты, то ли борьбы людей с дикими зверями.

— Как же мы ее откроем? — заговорил и Аждар.

— Как? Очень просто. Давайте действуйте напильником и ножом, олово податливо; будто вы с лудильщиками не знались...

— Интересно все же, что в шкатулке, почтенный Исмаил? Неужели золото? Вот, можно сказать, повезло, как в чертову дыру пальцем угодили, а?

— О чем это ты?

— Ну, к примеру, о том, что, имея столько золота, можно ведь и в Стамбуле жить.

— Во-первых, я, по-моему, ясно сказал вам, чтоб вы и думать забыли об этих городах, а во-вторых, зачем мне

сдался Стамбул, когда я здесь, у себя, могу свой Багдад построить. Чужбина есть чужбина, а здесь моя земля.

— Но здесь же не дадут жить! — развел руками Мирза.— Конечно, я понимаю, очень жаль вам, почтенный Исмаил, терять столько поливной и неполивной пахоты, столько отар, табун таких лошадей, пастбища, да и лечебная грязь приносит вам немалый доход... Но что, если всё это отнимут?..

— Кто отнимет?

— Те, кто хотят и нищих оставить нищими и богатых сделать нищими. По-разному их называют, одни красными, другие большевиками. Поди разберись...

— Вот бы отделиться нам от России, это было бы дело...— угодливо повторил некогда услышанные от хозяина слова Аждар.

— И как жить дальше? Самим править? — спросил Мирза.

— Зачем же самим. Можно присоединиться к единоверной Турции. Вот вам и будет Стамбул!..— ухмыльнулся Исмаил.

— Много в тебе ума, почтенный Исмаил. На твоем месте я бы объявил себя владыкой Дагестана, и все. Никакого присоединения...

— Нет, Аждар, это не получится, слишком много соперников будет. Куда ты денешь имама из Гоцо, шамхала Тарковского...

Оба прислужника льстили хозяину как могли, готовы были пятки ему лизать, и толстяк весь плавился от удовольствия.

— Ну что там, не подается? — спросил Исмаил, вернувшись к действительности.

— Сейчас, скоро откроется. Умереть мне за тебя, хозяин, если в шкатулке одно только золото, дашь мне хотя бы два кольца? — не сдержался Мирза.

— И мне...— торопливо, чтоб и о нем не забыли, добавил Аждар, утирая платком гноящийся глаз.

— Сколько монет требуется на два зуба? — не отвечая на их просьбы, спросил Исмаил, словно бы и в самом деле хотел сделать им приятное. Чтобы не гневить аллаха, он и правда готов был пойти на жертву.

— Не меньше трех золотников.

— Выходит, целой десятки, что ли? Да чтоб род ваш

передох, ограбить меня хотите? По три золотых каждому — это шесть...

— Мы согласны и на две десятки...

— Хватит и двух! — поспешил поддакнуть сообщнику Аждар.

— Совести, я вижу, у вас нет,— заворчал Исмаил.— Недаром ведь говорят: погладь кошку, она и царапаться начнет. Довольствуйтесь тем, что моя совесть соизволит вам выделить...

— И на том спасибо, уважаемый Исмаил. Мы же знаем, что человек ты щедрый... И сколько же ты дашь?

— Одну пятерку на двоих.

— Что?! — оторопел Мирза, но, увидев сердитый взгляд хозяина, осекся.— Да, да, конечно, но только как же мы одну монету поделим на двоих?..

— Не беспокойся, я разделю,— утешил Аждар.

— А я тебе не верю! Пусть в таком случае сам Исмаил делит.

— Ах ты, червь несчастный, что же я тебе такого сделал, чтобы из доверия выйти?

— Не верю, и все! И глаз у тебя один!

— Зато подлую душу твою хорошо насквозь вижу! У, несчастный! Убью! — Аждар двинул Мирзу так, что тот выпустил из рук шкатулку, она грохнулась на землю и... раскрылась.

Все трое кинулись к шкатулке, и глаза у них полезли на лоб. В шкатулке не было ничего, кроме завернутого в какую-то тряпку ключа. Странное дело. Кому, какому идиоту пришло в голову таинственно прятать в землю пустую кованную железом шкатулку? Велико было недоумение Исмаила. Постепенно оно сменилось возмущением: неужели кто-то мог его так жестоко разыграть?

— Хорошо, при тебе все это было, почтенный Исмаил, не то ты всякое мог бы подумать,— пробурчал Аждар.

— Чтоб род их передох, что же все это значит? И что это за ключ? От чего он? — бесновался Исмаил.— И зачем его понадобилось так прятать? Может, не зря? Не есть ли это тот заяц, что не родился под несуществующим кустом? Погодите, а где тряпка, в которую был завернут ключ?

— Вот она.

— Дай-ка ее сюда,— Исмаил стал рассматривать ку-

сок белой бязи, и вдруг его лицо осветилось, будто заиграл на нем солнечный зайчик.— Еще не все потеряно, по-моему, здесь что-то написано.— Исмаил начал читать вслух:— «Да простит тот, чья душа ввергнута в бездну сомнения и возмущения. Такая предосторожность была необходима для большего сохранения тайны... В шкатулке ключ от подземного хода, ведущего туда, где хранится клад. О том, где этот ход, написано на бумаге, вложенной в кожаный переплет корана с медной застежкой. Али-Шейх».

Исмаил с минуту молчал, потом вскричал:

— А где же коран? Дайте его!

— Какой коран? — в один голос спросили нукеры.

— Вы не обыскали их? Убитых?

— Это нам и в голову не пришло.

— Да чтоб род ваш передох, лопухи! Ведь этот ключ ничто без той книги! Что ж, вот и пришло ваше время доказать мне свою преданность: достаньте книгу хоть из-под земли... Вы всех троих отправили на тот свет?

— Кажется, да.

— Кажется или точно? Чтоб ваш род передох!

— Один скатился по склону, мы не знаем.

— А ну, скорее! Чтоб вмиг были там. И не советую вам возвращаться без корана!..

— Пока мы живы — мы твои слуги, почтенный Исмаил. Но лошади наши устали, и, как бы мы ни спешили, раньше завтрашнего полудня туда не добраться, а куймурцы уже сегодня обнаружат убитых. Где нам тогда их искать?

— Куймурцы не такие глупцы, как вы. Они не захоронят коран вместе с трупами. Вот и ищите его у куймурцев. А лошадей возьмите из моей конюшни. Нет бога, кроме аллаха, нет для меня книги важнее этого корана!

Нукеры послушно вывели из конюшни откормленных коней с лоснящимися боками, оседлали их. Жена Исмаила по приказу мужа положила им на дорогу в хурджины горячих кукурузных лепешек, несколько кусков свежего овечьего сыра, сушеной колбасы, которую можно в любом месте изжарить прямо на костре. Сам Исмаил, не спускаясь вниз, с верхнего этажа, пожелал им удачи. Жестокий самодур был верен одному правилу: людей своих, как собак, хорошо корми, чтобы верно служили.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СКАЗКА СЛЕПОГО ЛИВИНДА

Аул Куймур издавна славится красотой своих девушек. Певцы всех времен слагали о них песни и пели под аккомпанемент чугура. Почти все наиболее значительные люди Страны гор выбирали себе невест в этом ауле. Не мало девушек умыкнули отсюда и славные джигиты.

Девушки в Куймуре не только пригожи собой. У них доброе сердце. Они нежные, кроткие. Отсюда и родилась поговорка: «Лучший клад на земле — жена родом из Куймура».

Прекраснее других дочерей Куймура была дочь слепого Ливинда. Не случайно даже на полях корана Али-Шейха о ней говорится. И поистине эта несравненная девушка достойна того, чтобы о ней говорили и ею восторгались. В ней столько достоинств, столько доброты и очарования, что их с лихвой хватило бы на всех девушек аула. К тому же дочь слепого Ливинда, как и все девушки Куймура,— не белоручка. Красавиц здесь растят для жизни, а жизнь в горах во все времена была и есть не самая легкая.

Чудесное это создание, что зовется Муүминой, только минувшей весной, как сказал бы певец любви, распустило свои благоухающие лепестки и ярко выделилось на зеленой траве — ей исполнилось шестнадцать лет. Муумина обладала самым дорогим для молодых девушек украшением — застенчивостью — порождением целомудрия, мягкостью характера и еще конечно же розовой тенью на бархатисто-нежном лице. Когда девочке было всего десять лет, она потеряла мать — молния поразила несчастную женщину на пути из лесу, куда она ходила за молодыми ореховыми кустиками, которые горянки употребляют как средство борьбы с молью.

С тех самых пор все хлопоты по дому легли на хрупкие детские плечи. Отец Муумины, слепой Ливинд, не просто слепой, а, что называют, вак-сукур — слепой с открытыми глазами. На первый взгляд он не кажется слепым, только по стуку его палки о камни можно понять, что он не видит света белого.

Ливинд прислуживает в мечети. Отец с дочерью жи-

вут тем, что перепадает на его долю от урожая с земельных угодий мечети и от приношений правоверных сельчан.

В хозяйстве у Ливинда одна корова, и та, на беду, отелилась этой весной мертвым телком — зима выдалась суровая, да и кормов было мало. Есть еще три барашка и лохматый, рогатый козел. Их-то и пасет сегодня спозаранку Муумина, поднявшись повыше, к Куймурской башне.

Слепой Ливинд, на радость своей любимой дочке, еще в раннем ее детстве сложил чудесную сказку, которую рассказывал долгими зимними вечерами. Вот она, эта сказка.

Жила-была на свете девочка. Днем ей светило солнце, а ночью ласкала луна. Звали ее — Муумина...

В этом месте девочка всегда перебивала отца: «Это обо мне папа, да?» Муумине было всего десять лет, когда ее добрая, любящая мать, гонимая судьбой, пошла в лес и больше не вернулась домой,— безгрешную, ее поразила злая молния. Но у девочки был отец, несчастный, беспомощный слепой человек, вызывающий у людей чувство жалости. Лучше не родиться человеку, которому судьбой предначертано нести на себе бремя людской жалости. Муумина жила со своим отцом в старой, полуразвалившейся сакле, сложенной из камня, и сакля эта стояла на окраине аула, как отбившаяся от стада овца. Хотя глаза у отца Муумины были незрячие, но сердцем он был мягкий, добрый, очень любил людей и в дочери своей души не чаял. Эта маленькая, хрупкая девочка была его единственной надеждой, другом в печали и одиночестве. Не будь у него Муумины, зачем бы жить на свете несчастному Ливинду,— он жил и дышал только для нее...

На этом месте, бывало, девочка всхлипывала.

Ливинд с ранних своих лет служил в мечети, этим они с дочерью и жили. Росла девочка доброй, отзывчивой, очень приветливой. И красива она была не только душой, но и лицом. Была достойна того, чтобы о ней слагали песни. Всех радовала ее красота. И только горемычный отец не видел, как прекрасен цветок, взращенный им. Он просто сердцем знал, что дочь его хороша, что природа щедро одарила ее всеми дарами красы.

Нет, не могло не произойти чуда в этой маленькой бедной, но прекрасной семье. И чудо произошло. В один из дней, когда под теплыми лучами весеннего солнца пробуждалось все на земле, прямо напротив их сакли на перевале Бацла-Шала, что значит Свет Луны, появился белый всадник. Белый не только потому, что добрый конь под ним словно бы возник из морской пены, но и потому, что и одет был всадник во все белое: на голове белая шелковая чалма с горящим рубином во лбу, в белой блестящей черкеске из шемахинской ткани, с золотыми газырями, на ногах сапоги из белого сафьяна. И оружие у всадника из чистого серебра, кованое, кубачинской работы...

Весь аул Куймур выбежал полюбоваться дивом дивным, славным всадником на легкокрылом, белоснежном скакуне. Все куймурцы открывали ворота, с надеждой, что этот сказочный всадник заедет к ним. Только во дворе слепого Ливинда, в сакле которого расцвела девочка Муумина, не скрипнули ворота. Прослышав о белом всаднике, Ливинд сказал: «Откуда нам, бедным и несчастным, такая радость, доченька. Сакля наша вся залатана, как сума нищего, какой гость изберет ее, когда и дыма над крышей нет, и огня в очаге нет, и нет котла на огне, и в котле не варится еда, чтоб угостить кунака...» А белый всадник, словно не видел на своем пути широко открытых ворот, и ехал все дальше и все ближе и ближе к сакле Ливинда. И тут только куймурцы заметили печаль в глазах всадника и грусть в глазах его коня. Люди отстранялись, уступая ему дорогу, жестами приглашали каждый в свой двор: будем, мол, рады, заезжайте... Белый всадник, приложив к груди руку, легким поклоном головы благодарил и проезжал мимо. Все насторожились: кого удостоит этот юноша-джигит, чей дом осчастливит своим посещением? Вот он проехал вдоль реки, что разделяла аул, и люди уже подумали, что белый всадник, наверно, вовсе не остановится в их ауле, как, к удивлению всех, он остановился у ворот Ливинда и молча постучал инкрустированной слоновой костью рукояти плетки, будто спрашивал: «Примете ли незваного гостя, добрые хозяева?» И Муумине, которая вся была — само ожидание, показалось, будто она услышала его голос.

— Сейчас! Сейчас! — И, радостно спорхнув с лестницы, Муумина подбежала к воротам, настежь отворила их перед необычным гостем и сказала: — Осчастливь нас, добрый всадник, пусть в нашей ветхой сакле тебе будет тепло!..

Въехал белый всадник во двор, слез с коня, подошел к Муумине, отвесил ей поклон и засмотрелся, как зачарованный, на девушку. Губы его дрогнули, он хотел что-то сказать, но не мог... Муумина взяла уздечку, погладила коня по шее, и конь вдруг раскатисто заржал, в глазах его зажглись искры радости, а тени грусти словно и не бывало... Муумина привязала коня к стойлу, положила ему сена, затем подошла к джигиту, взяла его за руку, приглашая в дом. И от ее нежного прикосновения в тот же миг лицо юноши словно осветилось, и он заговорил:

— Полсвета я объехал, Муумина, и наконец нашел тебя. Спасибо, добрая девушка...

— За что же ты благодаришь меня? — удивилась девушка.

— О, Муумина, ты вернула и мне и коню моему дар речи. Видишь, я заговорил?..

— Откуда же ты, добрый незнакомец, знаешь меня, бедную девушку? Не велика ведь слава обо мне на земле?

— Не говори так, Муумина, меня заколдовал дьявол, лишил дара речи и сказал: не заговоришь, пока к тебе не прикоснется девушка по имени Муумина, дочь слепого Ливинда... Долго, ох как долго я добирался до тебя, и вот я осчастливлен...

— Да стану я прохладой в жаркий день для тебя, да стану я костром тебе в мороз, добрый гость, входи в нашу саклю, хотя она, может, и не достойна такого гостя, как ты, уж очень старая...

— Это не беда, Муумина, что она старая...— Юноша взмахнул левой рукой, и ахнули все жители Куймура: на месте старой сакли слепого Ливинда появилась двухэтажная, светлая, с ажурными перилами на балконах, сакля из белого камня, да не с одним, а с двумя дымоходами...

Отец Муумины вышел из комнаты и, по привычке нащупывая палкой путь, хотел сойти по знакомой лестнице, но ее не было на прежнем месте. Он пошел прямо

к краю террасы и мог бы сорваться, но Муумина вскрикнула:

— Отец, берегись! Отец!

Услышав этот крик, белый всадник в мгновенье ока взмахнул правой рукой, и свершилось чудо: слепой Ливинд остановился у самого края террасы, открыл глаза и увидел перед собой огромный, удивительный мир, увидел он и свою счастливую дочь, а рядом с ней молодого джигита. Сошел отец по мраморной лестнице, благословил молодых. А через три месяца и три дня сыграли они такую свадьбу, что все жители аула собрались, семь барабанщиков и семь зурначей играли и день, и ночь, и еще день. Медведь из лесу прибежал поплясать, соловьи из дубравы прилетели, чтобы песней своей украсить торжество. Столько меду было свадебного, что хватило всем. Всем, кроме бедного отца невесты — слепого Ливинда...

Так кончалась сказка Ливинда. Эту сказку старик рассказывал много раз. И не только дочери своей, но и другим детям, да и не только детям, но и взрослым. Все в ауле знали сказку о белом всаднике.

Эта-то сказка и цвела в душе Муумины, хотя порой, когда тяготы жизни становились особенно невыносимыми, бедной девушке вдруг начинало казаться, что ничего с ней такого быть не может. Откуда здесь взяться сказочному джигиту — все это только мечты. Но разве может юное существо жить без мечты? И сердцу верилось. Печаль сменялась надеждой.

НАХОДКА У СТАРОЙ БАШНИ

Утро выдалось жаркое, и овцы попрятали свои мордочки в тени развалин башни. Муумина собирала цветы. Время осеннее, их уже было мало и не такие красивые, как летом.

Девушка вдруг наткнулась на яму, там, где ее никогда не было. Она подошла совсем близко и увидела у ног своих книгу. Подняла книгу, а это оказался коран, каких много в мечети. Только медная застежка на нем особенная — с красивым узором и очень блестящая. Муумина скользнула взглядом в яму и... онемела. Там сидел человек с открытыми остекленевшими глазами.

Девушку охватил такой ужас, что в первый миг она не могла ни вскрикнуть, ни убежать. Но потом вдруг сорвалась с места и тут же споткнулась о другой труп. Только это уже ее не остановило. Она бежала вниз по склону и все почему-то повторяла: «Мама, мамочка!..» Забыв об овцах своих и обо всем на свете, девушка бежала к дому. Отец как раз собирался в мечеть, когда с грохотом распахнулась дверь и в саклю ворвалась Муумина.

— Что с тобой, дочка! — протянул к ней руки слепой Ливинд.— Я по дыханию твоему чувствую неладное.

— Отец, там случилось что-то страшное! — не своим от волнения голосом проговорила Муумина.

— Где, дочь моя?

— У старой башни, отец! Там, там...

— Зачем ты туда ходила? Я же запретил тебе забираться далеко! Так что же произошло?

— Там вырыта большая яма, и в ней сидит мертвец, а чуть дальше еще один убитый!.. Так страшно...

— О аллах, что все это значит? А кроме тебя там никого не было, Муумина?

— Нет, не было. Только я с овцами.

— Никогда больше не ходи туда, слышишь?

— А как же овцы?..

— Они вернутся, сами найдут дорогу домой. И никому ни слова не говори об этом. Никому!..

Бедного слепого вдруг осенила мысль: почти все другие служители мечети слывут ясновидцами, а за ним ничего такого не числится. Так не сам ли аллах посылает ему удачу?

Слабости человеческие, есть ли им предел...

— Я нашла там вот этот коран,— девушка протянула отцу книгу.— Он с красивой медной застежкой.

Ливинд ощупал книгу.

— Жаль, доченька, что глаза мои не видят всего здесь написанного...— вздохнул он.— Ну, да ладно! Схожу-ка я все же в мечеть. А ты постарайся забыть обо всем и никуда не выходи из дому. Об овцах не беспокойся. Я, пожалуй, попрошу кого-нибудь из мальчишек, пусть пригонят их.

Ливинд ушел. И уже очень скоро, наспех совершив намаз, он стоял у мечети в толпе куймурцев и, перебирая четки из разноцветных камней, загадочно говорил:

— Почтенные братья по вере, вчера неподалеку от нашего аула случилась беда. Я думал, кто-нибудь расскажет мне об этом, но вы все почему-то молчите...

— Что такое? Что случилось, Ливинд?

— Мне явился ангел. Он попросил, чтобы мы предали земле тех, кто убит вчерашней ночью у старой башни...

— Что ты такое говоришь? Откуда ты взял, будто кто-то убит. Может, удивить нас хочешь?..— зашумели все вокруг.

— Мне и сейчас видятся эти убитые. Вот они! Один сидит в яме, другой лежит чуть поодаль. Сыны правоверных, я говорю вам истинную правду. Мертвые взывают, чтобы мы предали их земле!— с твердой уверенностью в голосе сказал Ливинд.

— А кто они такие?

— Не жители Куймура.

— Неужели все это действительно произошло? Тогда, выходит, ты, Ливинд, провидец?! — проговорил один из почтенных старцев по имени Ника-Шапи.

— Я сказал вам правду! — повторил Ливинд.— Исполните свой долг, правоверные, и похороните несчастных, кто бы они ни были. Будь я зрячим, сам бы сделал это.

— От чего же они погибли? — недоумевали куймурцы.

— Мало ли людей на нашей земле погибали от алчности. Думаю, и с ними случилось такое.

— Странно. Но, может, и так...

В правоте изреченного слепым Ливиндом куймурцы убедились очень скоро.

Пошел разговор о том, что Ливинд достоин преклонения, что он святой. Да, да, святой... А ему только того и надо было, чтобы укрепить свое положение среди служителей мечети.

Убитых в тот же день похоронили на аульском кладбище. На могилах поставили небольшие, без надписей, каменные надгробья. А причисленный к лику святых слепой Ливинд продолжал удивлять куймурцев: он показал им книгу с медной застежкой.

— Это коран,— сказал Ливинд.— Особенный. Дело в том, что его принес мне ангел. Ты, разумеющий пись-

мена Ника-Шапи, не прочел бы, к примеру, вот эту страницу?

Слепой развернул коран и пальцем показал, где он просит прочитать. Все перестали грызть тыквенные семечки и обратились в слух. Тот, кого Ливинд назвал Ника-Шапи, взял коран и начал читать:

— «Всемогущий аллах в конце моей жизни осенил меня мыслью, что человек рожден быть свободным, а не для рабства, что он равен среди себе подобных, и тяжек грех того, кто, пользуясь своей силой или богатством, неволит человека; одному дана сила мышц, другому разум... И мы должны всегда приветствовать в человеке разумное».

— Как мудро сказано!..

— А мы-то до сих пор считали, что сила превыше всего...

— Говорят, Али-Шейх из Агач-аула был так мудр, что добрым словом своим заставлял любого разгневанного вложить в ножны кинжал. Да пошире откроются перед ним врата рая!

— Но поговаривали и о том, что в последние годы Али-Шейх продал душу большевикам? — с оглядкой сказал один из собравшихся. Время было такое, что само слово «большевик» произносили с опаской.

— На то у него, видно, были основания.

— Но большевики не признают аллаха.

— Да что ты-то понимаешь в аллахе? Аллах — это вера, без веры человек не может жить...

— Вот об этом я и говорю.

— А у большевиков есть вера. Значит, и у них есть свой аллах!..

— Не может быть!

— Почему же? У евреев, к примеру, свой аллах, у христиан свой, у буддистов свой, а у большевиков, наверно, аллахом называется справедливость для всех, лучшая жизнь для тех, кто трудится.

— Так разве наш аллах не этого хотел?

— Наш аллах все больше богатым дарует блага...

— Да, умная эта книга, святой Ливинд. Тут, должно быть, много интересного?

— Я буду приносить ее с собой в мечеть, и мы в службе сможем пользоваться ею.

— Спасибо тебе, уважаемый Ливинд, да прибавятся твои годы, да сохранит тебя для нас аллах...

И слепой Ливинд попрощался с почтенными куймурцами, ибо он был очень голоден, а куска хлеба ему дать никто не догадался. Хотя он отныне и причислен к лику святых, но, как говорят, голодному все готовы дать совет, а вот протянуть кусок хлеба никому невдомек!

НА МЕДВЕЖЬЕЙ ТРОПЕ

Хасан сын Ибадага из Амузги был так зол на себя, будто это он виновен в смерти Али-Шейха, в убийстве Абу-Супьяна. В расчеты комиссара Али-Баганда входило все, но только не смерть почтенного Али-Шейха. Что делать? Храброму, как говорят, и семидесяти способностей мало. Ищи теперь, Хасан из Амузги, ищи и надейся...

Легко сказать — ищи. Но где искать коран с медной застежкой? А найти его необходимо. В нем сокрыта тайна, а в этой тайне вся надежда комиссара на будущее. Сейчас Али-Баганд в далеком ауле Чишили собирает горцев, обучает их военному делу — впереди жестокие бои, и из этих боев непременно надо выйти победителями или... умереть! «Умереть? Нет! Победить? Да!» — процедил сквозь зубы Хасан из Амузги.

Он еще молод, Хасан сын Ибадага из Амузги. Привлекательное лицо. Волевой подбородок без ямочки чуть выдается вперед. Высокий лоб, как утес, нависает над глубоко посаженными живыми, черными глазами. Чуть скуласт, щеки впалые. Усы подстрижены щеточкой. Из-под белой чалмы выбиваются смоляные кудри. И эта голова, посаженная на твердую жилистую шею с заметно выступающим кадыком, покоится на могучих плечах высокого статного человека.

Хасан из Амузги с ветерком скачет на своем белом коне по медвежьей тропе в ущелье Цалипан навстречу неизвестности и надежде. Во всем случившемся он винит только себя: взял в попутчики человека, который был обязан ему жизнью, поверил, хотя всегда помнил, что чужая душа — темный лес, и потому обычно бывал начеку. Уж очень хотелось знать, о чем он думал, какая мысль грызет ему душу, и вот что из этого получилось.

В расщелине высоких скал Хасан вдруг увидел родник, а над ним, чуть выше, человека, занятого каким-то странным делом.

На первый взгляд, тот вроде бы молится. Чуть поодаль пасется черный конь с уздечкой на луке седла. Выходит, всадник недавно здесь.

Хасан подстегнул своего скакуна. Человек у родника услышал гулкий, эхом отдающийся по ущелью цокот конских копыт, схватился левой рукой за винтовку и встал. До этого он был занят тем, что пытался перевязать рану на правом плече.

Это был Саид Хелли-Пенжи. Мрачный и злой, как тысячи шайтанов, он без устали слал проклятья в адрес Исмаила и корил себя за то, что обратился к эдакому дьяволу с просьбой прочитать надписи на коране. Но кто мог думать, что этот мерзавец выкинет такое. А ведь, конечно, ясно, что только он мог подослать подлых убийц. «Ну погоди ты у меня, неуклюжий кабан, вместе с языком я вырву все твои потроха. Не так-то легко обвести лисьим хвостом Саида Хелли-Пенжи. Я явлюсь к тебе в самый нежеланный для тебя час и спрошу все, что мне следует...»

При таких-то своих раздумьях и услышал Саид Хелли-Пенжи конский топот. Он насторожился: что, если это опять люди Исмаила преследуют его. Не думал Саид о том, что ждет его куда более худшее — встреча с Хасаном из Амузги.

Поравнявшись с родником, Хасан натянул поводья, и конь его встал на дыбы, заржал, будто приветствуя встречу.

— Ассаламу-алейкум, Саид Хелли-Пенжи.

Все, что угодно, мог ожидать Саид, но не этой встречи. Он побледнел, будто всю кровь вобрало в себя сердце. Брови взметнулись, в глазах сверкнул суеверный страх и великое удивление. Так можно поразить человека, или ударив неожиданным ударом в затылок рукояткою пистолета, или тем, что из-под земли вдруг перед ним встанет мертвец...

— Это я, Хасан из Амузги, приветствую тебя, недостойный сын матери-горянки.

— Ты? Нет, нет! — вскрикнул Саид Хелли-Пенжи.

— Представь, это я! — Конь под Хасаном неспокойно кружился, словно бы гнев хозяина передался и ему.

— Но я же тебя убил?! Там, в Большом ореховом лесу!..

Как говорят, у страха глаза велики. В банде Саида, когда он промышлял в Большом ореховом лесу, был один трус по имени Абдул-Азиз из Катагни. Послали его как-то за кислым молоком в Башлыкент. Воротился он ни с чем. А дело было зимой. И начал он рассказывать задыхаясь, что встретил, мол, на дороге сорок снежных барсов.

— Не перехватил ли ты? Ведь известно, что барсы вообще стадами не ходят,— возразили ему.

— Ну если не сорок, так двадцать.

— И по стольку они не ходят.

— Допустим, их было восемь.

— И по восемь их никто никогда не встречал.

— Не восемь, я хотел сказать — четыре...

— И четыре не могло быть.

— Ну два?

— И двух не было.

— Один был барс.

— Нисколько не могло быть! Потому что всем известно, барсы обитают в горах, а не в этом лесу.

— Но следы-то были?

— Откуда им было взяться, следам, когда барсов в ореховом лесу не бывает?

Тогда Абдул-Азиз, ничего больше не найдя в свое оправдание, воскликнул:

— Но кусты-то ведь шевелились!..

Саид Хелли-Пенжи тоже оказался не лишенным страха и суеверия, он был поражен, как это мог остаться в живых человек, в которого разрядили наган.

— Не веришь, Саид? Говоришь, убил ты меня? Не знаешь, похоже, моей способности воскресать? Ха-ха-ха, ну и вид у тебя сейчас, будто ты надел на себя саван!

— Но я же разрядил в тебя весь наган?!

— Значит, это ты стрелял? Я и правда слыхал во сне какие-то выстрелы.

— Ты не человек, ты дьявол! Страшнее дьявола! Сгинь! Я не хочу тебя видеть.

— Ну нет уж. Я очень рад нашей встрече. А ты, я вижу, ранен и кто-то перебил тебе правую руку?..

— Но левая еще цела, Хасан из Амузги! — Саид вмиг вскинул винтовку, хотел выстрелить, но Хасан опередил его — в мгновение ока у него в руках оказался наган и... раздался выстрел. Винтовка вылетела из рук Саида Хелли-Пенжи...

Наган у Хасана из Амузги был особенный, испытанный — образца семнадцатого года. Изготовлен в кузне его отца Ибадага, единственный и неповторимый.

— Все еще не веришь, что предательская пуля меня не берет? Не знаешь разве, что я ношу кольчужную рубаху, кованную моим отцом? Э-эх, Саид Хелли-Пенжи, а ты ведь клялся быть мне братом!

— Безбожник и дьявол не может быть мне братом! — крикнул Саид.

— Ты хочешь сказать, что твой аллах посоветовал тебе предать меня? Тогда почему же он не вложил пули в холостые патроны в твоем нагане?

— Ах вот оно что? Значит, ты зарядил мой наган холостыми патронами?! — карие навыкате глаза Саида загорелись злостью.

— Да, и потому, как видишь, я цел.

— Выходит, ты не доверял мне?..

— С тех самых пор, как я узнал, что ты подслушал мой разговор с комиссаром, Саид Хелли-Пенжи. К сожалению, подлый убийца, ты опередил меня, назвался сыну Али-Шейха моим братом!

— Я никого не убивал!..

— Ты убил ни в чем не повинного, уважаемого старика Абу-Супьяна. Не двигайся с места, если не хочешь, чтобы я продырявил твой паршивый мозг! А моя пуля, ты знаешь, бьет без промаха...

— Как не знать. Рука у меня ранена, это ты...

— Должно быть, всего царапина?

— Позволь мне перевязать ее.

— Перевязывай. Я даже готов помочь тебе, хотя ты трижды достоин смерти. Не из жалости, просто ты мне еще нужен. Не ожидал я так скоро тебя встретить.

Хасан слез с коня, подошел к Саиду Хелли-Пенжи и помог ему перевязать руку.

— Похоже, я отвоевался,— проговорил Саид.— Куда

теперь податься? Кроме тетки, никого у меня не осталось...

— У тебя еще есть родные. Вот не думал...

— Она глубокая старуха. Вырастила меня и выходила, когда оспой болел...

— Ну, поговорили, и хватит. А теперь ближе к делу: признавайся, где коран с медной застежкой?

— Будь он трижды проклят, из-за него я теперь калека.

— У негодяев, говорят, как у собак, все быстро заживает. Так где коран?

— Не знаю.

— Я бы не советовал тебе понапрасну отнимать у меня время. К тому же, если ты хочешь, чтоб твоя старуха тетка еще раз тебя увидела, говори все, как было... Итак, ты убил Абу-Супьяна и завладел кораном?..

— Да не убивал я его, говорю же. Это один из двух моих спутников всадил в него кинжал. Ты же знаешь, что я с кинжалом дела не имею.

— Где коран?

— В ту самую минуту, когда мы у Куймурской башни извлекли из-под земли шкатулку, в нас кто-то стрелял. Спутники мои полегли там, а я — видно, так угодно аллаху — пока остался в живых. В момент, когда я бежал от преследователей, шкатулка выпала у меня из рук.

— Что в ней было?

— Я даже не успел открыть ее.

— А коран где?

— Остался там, у ямы.

— Кто мог в вас стрелять?

— Люди этого негодяя, Исмаила. Заплатит он мне, кровожадный клоп! Я доверился ему, попросил, чтобы прочитал надписи на полях корана, а он, проклятый... Ты можешь мне не верить, но это истинная правда. И если бы я сейчас просил тебя оставить мне жизнь, то лишь для того, чтобы разделаться с Исмаилом!

— Зачем мне-то на тебя пулю тратить? Сыновья Абу-Супьяна свершат над тобою свой суд.

— Возьми меня с собой, Хасан из Амузги, я пригожусь тебе!

— Нет уж! Дороги наши разошлись навсегда!

— Не веришь больше?
— А как ты думаешь?
— Я понимаю...
— При первом удобном случае снова предашь меня. Ты ведь не можешь иначе. Природа вложила в тебя дьявольскую душу.
— Я этого не сделаю. Но тебя, конечно, теперь не убедишь.
— Благодари и на этом. Молись за свою старую тетку и поезжай к ней,— может, она тебе скажет, как дальше жить. Прощай.
— А ты мне нравишься, Хасан из Амузги.
— Смотри не влюбись.
— Я говорю правду. И ловок же! Как тебе пришло в голову, что я могу оказаться в этом ущелье?
— Вот это как раз случайность, а может, я просто удачливее тебя и мне везет.
— Это верно, мне удачи никогда не сопутствовали,— пробормотал Саид, радуясь в душе, что вот, кажется, и на сей раз пронесло.
Его заботила только своя судьба.
Оба сели на лошадей: Саид Хелли-Пенжи повернул в сторону гор, а Хасан из Амузги направился на юг, к холмистым предгорьям легендарного Куймура.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Мало было надежд у Хасана сына Ибадага из Амузги на то, что он найдет коран с медной застежкой под старой Куймурской башней, где разыгралась описанная Саидом Хелли-Пенжи трагедия, но он поехал туда. Очень уж нужно разыскать эту книгу, с которой связано выполнение важного, благородного задания. Хасана заинтриговало и то, что в земле у развалин башни нашли какую-то шкатулку. Что в ней? Не та ли тайна, из-за которой он так неудачно приехал сюда? Как жаль, что Али-Шейха уже нет в живых. Сам старик, конечно, никому бы не передал этой книги. Он бы непременно дождался Хасана, которого кто-кто, а Али-Шейх прекрасно знал в лицо. Они встречались и в Порт-Петровске, на чрезвычайном заседании ревкома, созванном Уллубием Буйнакским.

Уллубий, соплеменник Али-Шейха, очень высоко ценил мудрого старца, его авторитет и уважение, каким тот пользовался среди большей части жителей гор и степей. Время было такое, что важно было вовлечь в свое дело всех авторитетных людей. Делать это следовало умело: не ущемляя личных интересов, упирая на чувство патриотизма, привести их к служению революции...

Хасан поднялся на пригорок, поближе к башне. В земле перед ним зияла яма. Камни вокруг обагрены кровью. Корана на месте событий не было... Надо думать, здесь уже побывали многие жители Куймура — по обычаю, поторопились похоронить убитых,— и если они что-то обнаружили, то конечно же забрали и унесли с собой. А может, люди Исмаила, которые стреляли в Саида Хелли-Пенжи, тогда же ночью завладели кораном? Это вероятнее всего.

Хасан из Амузги решил немедля повернуть коня в стан Исмаила. Если хитростью не удастся его победить, придется вступить в борьбу. Хасан понимал, какой в этом риск, но важность порученного дела не исключала и крайних мер.

Куймурцы давно совершили полдневные молитвы, отобедали и занялись привычными делами. Кто собирал в лесу орехи и дикие фрукты, кто молол зерно на току, а кто копал картошку...

Хасан из Амузги подъехал на своем белом коне к небольшой речке, что течет среди валунов. С противоположного склона к реке спускался лес, заросли орешника, колючки и боярышника... Аул отсюда не виден. Он скрыт горой.

В небе парил одинокий сокол, высматривая на земле очередную добычу. Вдруг он камнем понесся вниз. И в этот миг чуткое ухо Хасана уловило женский крик: мольбу о помощи. Зоркие, орлиные глаза джигита быстро обшарили местность, и он увидел девушку, бегущую по бездорожью, по замшелым камням. Двое на лошадях гнались за ней. Вот они быстро спешились, отпустили коней и бросились за девушкой. Она перешла реку и бежала в сторону, куда спускался Хасан из Амузги. Его в зарослях не было видно. Бедная девушка

кричала: «Люди, помогите, люди, где же вы? Ой, помогите!»

Хасан спрыгнул с коня и, ловко перескакивая с камня на камень, пошел навстречу девушке. Она увидела его, еще больше испугалась и повернула в сторону,— видно, решила, что и он из преследователей. Но Хасан перерезал ей дорогу, схватил за руку и потянул за собой в укрытие...

— Отпустите меня, что вы хотите? — рыдала девушка. Лицо ее было искажено страхом.

— Успокойся, девушка, я не трону тебя! Наоборот, я хочу помочь тебе спастись от негодяев,— сказал Хасан из Амузги, завороженный робким очарованием девушки.

— Ты разве не с ними? — в глазах ее горели огоньки ненависти.

— Нет. А кто они?

— Не знаю...— сказала девушка.— Я пасла овец, а они вдруг появились и погнались за мной.

— Твое счастье, что я оказался рядом. Прячься за камни, они не допустят, чтобы добыча так легко от них ускользнула.— И, словно в подтверждение этих слов, раздался выстрел.— Вот видишь, из-за тебя сейчас чуть не продырявили мою драгоценную голову...— Хасан улыбнулся и поправил на голове белую папаху с красной перевязью.

— Ты не боишься их? — с удивлением спросила девушка.

— Боюсь... Боюсь, потому что мне нельзя умирать, у меня еще много дел на земле. Метко стреляют, ослом рожденные! А ты удивительно хороша! Знаешь, конечно, об этом? Удивляюсь, как это тебя до сих пор никто не умыкнул!.. У тебя необыкновенные глаза!

— Ну что вы? — смутилась девушка.

— И зубы — ровный ряд жемчугов... Где такие нашла?

— Да разве зубы находят? — с наивной непосредственностью удивилась она.

— И голос твой, да все в тебе — одна ласка и нежность.

Муумина, дочь слепого Ливинда, а это была она, опустила большие ясные глаза, такие горцы называют сунгай-улбе — ягоды терна, и, не зная куда себя де-

вать от смущения, поправила на голове легкий белый платок — гилменды, из-под которого выбивались не заплетенные в косы вьющиеся волосы. В коротком, до колен, ситцевом платьице, с виднеющимися из-под него зелеными бархатными шароварами, босая, она была трогательно хороша.

— Как тебя зовут? — спросил Хасан.

— Муумина!

— Как ты думаешь, Муумина, что это за люди? Оставят они нас в покое или нет?

Хасан настороженно посмотрел туда, где скрылись преследователи девушки. «Может, отстанут»,— думал он. Уж очень некстати для Хасана была бы перепалка со случайными людьми.

— Не знаю, кто они, но знаю, что это самые плохие и злые люди.

— Почему же? Может, и не такие плохие, просто ты им понравилась.

— Что ты говоришь! Они, как бешеные собаки, погнались за мной...

— Но это еще не говорит о том, что они достойны презрения. Увидев такую девушку, да одну в безлюдном месте, какой джигит не потеряет головы... Я бы и то...

— Выходит, и ты плохой... Если так, то я и от тебя убегу...

— Не надо, Муумина, я пошутил. Лучше спрячься. Они, по-моему, не собираются уходить... Вон даже подкрадываются... Будь осторожна.

— А почему ты не стреляешь?

— Я же не знаю, кто они и что за люди. Не хочется зря убивать.

— Тогда они убьют тебя и меня!

— Ну нет, тебя-то я им убить не дам!

Хасан из Амузги заметил, как из-за камня слева сначала показалось дуло винтовки, затем рука и голова... Этого мгновенья было достаточно для Хасана: он выстрелил из винтовки, что носил всегда на плече вниз стволом, и человек за камнем исчез.

— Ой, как страшно!.. Ты убил его?

— Думаю, нет. Я хотел выбить оружие из его рук. Скажешь, убей их — я убью. Можешь мне такое сказать? Ты слышишь меня, Муумина? Где ты?

— Я здесь.
— Не отходи далеко. Сдается мне, что их увлекла не твоя красота... Такие не пощадят...
— Тогда убей их!
— Они куймурцы?
— Нет, это чужие.
— Вот что, Муумина, подойди-ка поближе ко мне. Да не бойся, я не кусаюсь. Дело осложняется.
— Ну, подошла...
— Да ближе! Вот так. Ты стрелять умеешь?
— Разве девушки стреляют? — удивилась она.
— Что ж тут мудреного...— Он протянул ей наган и показал, как с ним следует обращаться.
— Зачем это мне?..— Великое любопытство охватило девушку.

В душе Муумина удивлялась себе: как это она может довериться чужому человеку... Всегда настороженная и робкая, вдруг так разговорилась с незнакомцем, словно знает его всю жизнь...

— Боюсь, что сегодня тебе моя наука пригодится,— сказал Хасан.
— А куда я должна стрелять?
— На сей раз все равно. Иди на свое место и оттуда стреляй, только смотри в меня не попади...
— Зачем все это?
— Пусть они думают, что я не один, что ко мне подоспела подмога, Ну, стреляй!
— Ой, не могу...— Муумина закрыла глаза и, отвернувшись, нажала на курок. Грянул выстрел, за ним следом выстрелил и Хасан из Амузги.

Ему не хочется брать грех на душу — убивать этих людей. Он не знает, кто они и какие цели преследуют, но не защитить девушку Хасан не может...

— И ни чуточки не страшно,— проговорила тем временем Муумина.
— Только глаза не закрывай. Когда стреляешь, надо смотреть, куда целишься...
— А я в небо целилась... Ты мое имя знаешь, а своего мне не сказал...
— Скажу, скажу... Погоди. Мы, кажется, не испугали их. Они подбираются поближе. Ты смотри, не уходи

никуда с этого места. Я сейчас поговорю с ними на другом языке.

Хасан из Амузги рывком бросился за ствол орехового дерева. Раздалось сразу два выстрела. Хасан выбежал из укрытия. Еще два выстрела, и он скатился с невысокого обрыва. Муумина вскрикнула от страха за него. Она, боясь шевельнуться, следила, что же будет дальше. Те двое подошли к лежащему ничком ее спасителю, и в этот самый миг произошло невероятное: он вдруг вскочил, ударом кулака отбросил одного, а другого подмял под себя, вырвал оружие и крикнул:

— Если сдвинетесь с места, пристрелю как куропаток, опьяненные ослиным молоком! Коли хотите, чтобы ваши матери не плакали, убирайтесь отсюда... Я не стану стрелять вам в спины...

— Ты ее брат? — с дрожью в голосе спросил один из них. Это был Аждар.

— Эх вы! Храбрецы! Нашли беззащитную девушку и обрадовались, негодяи! Кто вы и зачем здесь? Не пожалеть бы мне, что отпущу вас!..

— С твоей стороны это будет очень благородно. Мы уйдем... А кто мы? Просто приехали вчера сюда на базар... Собрались обратно уехать, да вот шайтан попутал...

— Ну, я вижу, правды от вас не жди. Так и быть, на сей раз прощаю. Идите своей дорогой и забирайте оружие...

Они не заставили повторять предложение и скрылись с глаз. Испуганная Муумина только после этого вышла из укрытия и подбежала к Хасану.

— Ой, как я испугалась! — воскликнула она.

— Чего же?

— Я подумала, они тебя убили.

— А ты не хотела бы, чтоб меня убили?

— Конечно! Ты не такой, как они, ты хороший. Я молилась за тебя, хотя ты даже имени своего мне не назвал...

— Меня зовут Хасан сын Ибадага из Амузги.

— Знаешь, Хасан, мне кажется, это они убили тех, что у башни...— высказала догадку Муумина и запнулась.

— Кого? Я тебя спрашиваю, Муумина! Ты сама их тогда видела?

— Нет, но в ауле все говорили,— поправилась она, вспомнив, что ведь отец не велел ей ничего рассказывать людям.

— Их похоронили?

— Да! Ой, как же я заговорилась и совсем позабыла об овцах! Где их теперь найти...

— А много у тебя овец, пастушка?

— Три барашка и один козел.

— Не богато, но мы их разыщем. А я позабыл о своем друге.

— Разве с тобой еще кто-нибудь был?

— Да, мой верный конь! — И Хасан, заложив пальцы в рот, протяжно свистнул, на что его лошадь тотчас ответила ржанием и примчалась к хозяину.

Добрый у Хасана из Амузги конь, и красавец. Хасан нашел его беспомощным жеребенком, отбившимся от табуна в Волчьем ущелье, и спас от волков, которые готовы были растерзать его,— одного волка кинжалом заколол, а другого руками задушил. Жеребенок был похож на белое облако. Хасан выходил его, и вот каким он теперь стал красавцем. Многие смотрели на коня с завистью, хвалили. Даже слепой, говорят, как-то воскликнул: «Вы посмотрите на его ноги, какие они стройные. А вглядитесь в глаза! Как они горят!..» — «Да, но ты же слепой,— ответили ему,— откуда все знаешь?» — «Разве надо видеть, чтобы знать, что у хорошего коня, как и у прекрасной девушки, глаза должны быть как звезды, а ноги стройными?»

Не однажды пытались угнать этого коня, но то он сам спасался от конокрадов, то Хасан из Амузги спасал его.

Одному отъявленному конокраду из аула Кадар как-то раз удалось увести коня. Хасан услышал топот копыт за воротами и понял, что произошла беда. Он в ярости вскочил: что делать? Попросил у соседа лошадь и помчался за конокрадом. И, конечно, он думать не думал, что сможет на соседской кляче догнать своего лихого скакуна. Не радость, скорее обида обожгла сердце Хасана, когда он почти поравнялся с вором.

— Ты что же это, олух, делаешь?! Позоришь моего коня! — с досадой вскричал Хасан.— Почеши его между

ушами да похлопай ласково по шее, не видишь разве, на какой кляче я тебя догоняю!

Конокрад послушался совета хозяина, и конь под ним ускакал, как ветер в поле, а Хасан из Амузги гордо смотрел вслед. Но недолгой была радость конокрада. Конь услышал зов хозяина, остановился, поднялся на дыбы, сбросил седока и вернулся. Подъехал Хасан из Амузги к вору и сказал:

— Помни на будущее — орел мух не ловит.

— Ой, белый конь! Какой он красивый! — залюбовалась Муумина.

— Очень заметный, но ничего. Он меня не раз выручал, верный друг. Пошли теперь поищем твоих рогатых, и я провожу тебя домой. Кто твои родители?

— Мать давно умерла, а отец у меня слепой. Возможно, ты слышал о нем. Слепым Ливиндом его называют.

— К сожалению, не слыхал.

— Да, конечно. У бедного слава до порога.

— Больше никого у тебя нет?

— Нет.

Они надолго умолкли. Муумина все искала глазами овец.

А овцы спрятались в тени деревьев у опушки леса. Три барашка курдючной породы, козел со сверлообразными скрещенными на макушке рогами и пятнистый, кудрявый ягненочек. Козел очень гордый, все норовит не подчиниться Муумине, будто хочет сказать: вот не было б тебя, я этих твоих овец отвел бы прямо в пасть волку.

Девушка погнала свою маленькую отару перед собой. Хасан из Амузги вспомнил некогда сказанные матерью слова: «Доброму и ветер приносит любовь».

— Правда, страшный козел? — спросила Муумина. И, не дожидаясь ответа, показала: — Вон наш дом! Видишь, тот с покосившейся крышей?

— Не хочешь, чтобы я проводил тебя? — Идти и говорить с девушкой доставляло Хасану большую радость.

— Ты на белом коне, поэтому лучше не надо...

— Чем тебя отпугивает белый конь?

— Сказка такая есть... Меня из-за нее с самого детства дразнят: будто джигит ко мне приедет, на белом коне...

— Ах вон что! Ты не хочешь, чтобы этим сказочным джигитом оказался именно я? — заглядывая ей в глаза, с улыбкой спросил Хасан из Амузги.

— Я этого не сказала...— зарделась Муумина.

— Так и быть, не стану тебя смущать. Сейчас я уеду, но, если с тобой случится беда, кликни: Хасан из Амузги! Договорились?

— И ты окажешься рядом?

— Тотчас же! — Хасан сказал это очень твердо и с нежностью посмотрел на нее.— Мне так хотелось бы подарить тебе что-нибудь на память, да жаль, нет со мной ничего... Вот, может, этот нож? — и он отвязал от ремня нож, вложенный в расписные кожаные ножны.

— Спасибо! Но... зачем он мне?

— Это не совсем простой нож, Муумина. Вот, смотри,— Хасан вскинул руку и метнул нож. Тот вонзился в ствол дерева, совсем рядом с девушкой.

— Ой, как ловко! — воскликнула Муумина, взяла нож и сама бросила, но неудачно...— У меня не получается, — с досадой проговорила она.

— А ты тренируйся, и обязательно получится. Это тебе не помешает в нашей суровой жизни.

— Я буду стараться!

— Ну, счастливо оставаться.

— В добрый час! — Муумина помолчала и тихо добавила: — Хасан из Амузги, я жду тебя.

Обдав лаской уже оказавшегося в седле всадника, она повернулась и пошла к аулу.

Хасан из Амузги глянул ей вслед и подстегнул коня, и тот рванул, будто и ему передалось счастье седока.

А за спиной всадника раздались голоса выскочивших из подворотен аульских ребятишек:

— Белый всадник! Белый всадник, Муумина, ты видишь?..

Но девушка ничего не слышала. Улыбаясь чему-то своему, она бежала домой. Вот и сбылось: объявился всадник мечты, белый всадник из сказки.

РАДОСТЬ ВЬЕТ ГНЕЗДО

Весть о белом всаднике долетела до сакли слепого Ливинда раньше, чем успела вернуться его дочь Муумина.

Ливинд был дома, у него сидели трое почтенных стариков, среди которых был и Ника-Шапи, тот самый, что умел читать коран. Ливинд уже однажды воздал ему хвалу у мечети. Старики пришли с надеждой узнать еще что-нибудь мудрое из корана.

Для горца все книги, написанные по-арабски, едины, все они кораны, а значит, святые. Так уж заведено считать, что коран писался святыми. Потому-то горец извечно относился к корану с особым почтением и трепетом. И брал он его в руки, славя аллаха, милостивого и милосердного...

Ника-Шапи взял коран, развернул его наугад и, приблизив к глазам, стал читать: «Жизнь — что мельница, вертится, как жернов, и дробится, как зерно».

И не успели слушатели уразуметь смысл услышанного, как до слуха слепого Ливинда долетели слова: «Белый всадник приехал к Муумине! Белый всадник!»

— Слышите? — встрепенулся Ливинд.— Про белого всадника говорят!

— Опять, наверное, поддразнивают Муумину.

— А вдруг правда, сбылась моя мечта! — слепой Ливинд поднялся и повел за собой гостей на балкон.— Вы не видите его?

— Кого?

— Как кого? Белого всадника!

— Успокойся, почтенный Ливинд. Никого нет. Только дети приплясывают и что-то кричат.

— А где Муумина?

— Вот она, только что вошла во двор и пригнала овец.

— Муумина! — крикнул Ливинд.

— Я здесь, отец!

— Иди сюда, дочь моя, иди скорее.

Муумина как на крыльях взлетела по лестнице, поклонилась почтенным людям и, в счастливом своем возбуждении, прильнула к отцу.

— Это правда, дочь моя? Правда? — обнимая ее, спросил слепой Ливинд.
— О чем ты, отец?
— Слыхала, белый всадник к тебе приехал?
— Да, отец!..
— Вот видите!.. Я же говорил, я же всегда говорил, что он явится!..
— Неужели сбылось?! Вот ведь чудо какое! — в один голос заудивлялись гости.
— Я же говорил, он обязательно должен был явиться к моей Муумине. Но где же он? Подведите меня к нему. Где он, доченька?
— Он уехал, отец. У него очень важные дела.
— Не захотел увидеть твоего слепого отца! — огорчился Ливинд. Ведь в придуманной им сказке белый всадник одним взмахом руки делает зрячим слепого...
— Нет, нет! Это я не велела ему провожать меня до дому!
— Почему же, дочь моя? Постыдилась нашей бедности?
— Просто мне не хотелось, чтобы аульчане его видели. И без того меня все дразнят.
— Наоборот, ты должна была привести его к нам. Пусть бы люди видели. Ты же счастлива?
— Да, отец.
— Каков он из себя, дочь моя? Что ты молчишь? Хотя ладно, молчи. Я и без слов понимаю, что он, должно быть, настоящий джигит.
— Уезжая, он просил, если со мной что-нибудь случится, позвать его. Сказал, тотчас прискачет.
— Так и сказал?
— Да, отец! — Лицо Муумины светилось счастьем.
— Великое тебе спасибо, всемилостивейший аллах, ты внял моим мольбам. Слышите, люди, я счастлив радостью моей дочери! Она ведь достойна...
— Да благословит их аллах! — сказал за всех Ника-Шапи.— У нас нет слов для выражения радости и удивления. Мы покинем тебя, почтенный Ливинд, время молиться. Да смилостивится и над нами всемогущий аллах!
— Молитесь, правоверные, молитесь. Аллах милостив, он даст всем нам избавление от нищеты и невеже-

ства. Над моей саклей засияло солнце, пусть это тепло согреет и всех вас.

— Благодарим тебя! Благодарим!..

Старики удалились, радуясь и завидуя слепому Ливинду. В пути они поговорили между собой, высказали удивление, почему это вдруг аллах из всех сельчан избрал именно Ливинда. Может, и правда в образе Ливинда аулу явился посланник самого аллаха на земле. Так или иначе, по мнению старцев, Ливинд достоин такого счастья, он предан вере, любит людей, прожил трудную жизнь, полную лишений. А сколько несчастий было в его роду!.. Слава аллаху, хоть теперь дождался... Однако в коране говорится, что счастье ждет правоверного на том свете. А тот, кто испытал счастье и радость, довольство и изобилие на этом свете, после смерти не найдет себе покоя. Как все это понять? Тут явно что-то не так, но разобраться трудно, а потому старцы решили, что им лучше не углубляться в эти вопросы, чтобы, чего доброго, не возмутить аллаха своими сомнениями, тем более что ведь он соизволил обратить свое око на их заброшенный аул с семью минаретами, вонзившимися в небо как руки просящего подаяние...

Муумина тем временем рассказала отцу все, что с ней произошло: как джигит, которого звали Хасан из Амузги, спас ее от плохих людей и какой он хороший, добрый, красивый. Рассказала и о том, что улыбка у него такая, будто луна в ясном небе светится. А слепой Ливинд слушал ее и думал, что, выходит, не все из предсказанного им сбылось и этот белый всадник вовсе не принц! Только одно смущало Ливинда, как это белый всадник тотчас окажется там, куда его позовет Муумина? Тогда, может, он не обыкновенный человек, а сказочный. Но как бы там ни было, слепой Ливинд радовался, потому что радостью звенела его любимая дочь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

БРАТЬЯ ПО ВЕРЕ

Под натиском хорошо вооруженной и многочисленной банды имама из Гоцо и поддерживаемых англичанами воинских частей полковника Бичерахова советская

власть пала. И не только в городах Дербенте, Петровске и Темир-Хан-Шуре, но и в других населенных пунктах, в больших аулах. Краскомы на пароходах отступали в Астрахань, а те, кто остались на местах, ушли в подполье. Некоторых расстреливали на дорогах без суда и следствия. Наступило время хаоса и неразберихи. В лесах множились отряды грабителей и насильников. Трудно было пройти-проехать где бы то ни было. Разного рода дозорные, часовые, а чаще попросту бандиты могли выйти навстречу из-за любой скалы или куста... Бичераховцы грабили и жгли аулы, вешали людей.

Горцы разводили руками: не конец ли света настал? Они еще усерднее молились, а кладбище тем временем росло. Болезни и голод уносили многих людей. Каждый новый правитель объявлял мобилизацию и насильно вербовал в аулах горцев... Жизнь сделалась невыносимой, и в этих неимоверно тяжелых условиях в душах людей стали давать всходы зерна добра и свободы, что заронили в них большевики. А последним в эту пору было и трудно и легко. Трудно потому, что враги поклялись каленым железом выжечь в горах большевизм, а легко потому, что горцы за каких-нибудь несколько месяцев советской власти поняли, глубоко прочувствовали, что это единственно справедливая власть. И комиссары готовили жителей гор к борьбе, собирали отряды и полки, вооружали их, обучали ведению боя.

Нежданно-негаданно в это время на Дагестан нагрянула еще одна беда. Сюда, через хребет от Закаталы, двинулись экспедиционные войска турецких эмиссаров, с так называемым божьим словом к горцам, с лженамерением избавить их от ига иноверцев...

Саид Хелли-Пенжи на пути к своей старой тетке доехал до аула Киша. Был базарный день.

Восточный базар тех дней выглядел не совсем обычно. Торговля шла только в обмен или на золото. Ко всякого рода бумажным «деникинкам», «врангелевкам» и банкнотам так называемого Горского правительства доверия в народе не было...

Раны Саида оказались легче, чем ему поначалу представлялось. Одна уже совсем зарубцевалась...

Въехав на базар, Саид Хелли-Пенжи спешился. Едва он успел привязать коня и решил купить тетке гостинец, как в тот же миг все вокруг всполошились — турки устроили облаву. Оказывается, минувшей ночью они недосчитались своего каймакама — офицера, исполняющего обязанности начальника района. Его нашли с перерезанным горлом в доме одной горянки, муж которой был комиссаром. Женщины в сакле не оказалось, и поиски ни к чему не привели. Турецкий офицер Ибрахим-бей объявил аульчанам, что, если, мол, не выдадут убийцу, он сожжет дотла весь аул и весь запас хлеба и расстреляет десять человек из жителей.

— Мы пришли сюда,— сказал он,— чтобы помочь своим единоверцам в борьбе с гяурами, а вы платите нам черной неблагодарностью, убиваете из-за угла наших людей. Или выдайте убийцу, или через десять минут мы приведем в исполнение свою угрозу!..

Ибрахим-бей достал серебряные карманные часы с длинной цепочкой и стал ждать. Люди молча переглядывались: что же будет?.. И вдруг на крыше близлежащей сакли появилась женщина в черном платье и белой накидке. Окружающих не столько удивило само ее появление, как то, что в обеих руках горянка держала револьверы. Увидев ее, Ибрахим-бей покачнулся и упал с камня, на котором стоял. Люди ахнули, подумали, он убит. Но турок поднялся, отряхнулся. Лицо его от стыда за свою поруганную честь,— свалился, как последний трус, от страха,— все пылало огнем.

— Эй ты, суконная феска,— крикнула женщина,— это я зарезала вчера ночью вашего офицера. Он молил меня о ласке, и я «обняла» его... Может, и тебе хочется изведать ласку жены комиссара? Я жду тебя!..

— Чего вы онемели, стреляйте! — приказал турок своим ошеломленным аскерам и сам, спрятавшись за камни, выхватил пистолет из кобуры.

Раздались выстрелы. Горянка быстро метнулась за дымоход и тоже стала стрелять. Толпа на базаре шарахнулась. Саид бросился ловить сорвавшегося от испуга с привязи своего черного скакуна. Но тут вдруг к ногам его снопом свалился турецкий аскер, сраженный пулей горянки. Еще трое были ранены. Конь устремился под навес той самой сакли, с которой на зависть всем метко

отстреливалась мужественная горянка. Саид Хелли-Пенжи был восхищен смелостью женщины и даже подумал: а смог ли бы он вот так же повести себя? И не ответил на свой вопрос.

— Убирайтесь-ка вы лучше к своему султану «аллахичун-ватаничун»,— поддразнивала аскеров отважная горянка, а турки тем временем все ближе подбирались к ней. Раздалось еще несколько выстрелов, и горянка на них уже не отвечала. «Наверное, они убили ее?» — подумал Саид Хелли-Пенжи, бежавший к своему ошалевшему коню. Но не успел еще он поймать коня за уздечку, как из подворотни выскочила горянка, схватила коня, легко вскочила в седло и быстрее ветра умчалась из аула.

— Эй ты, это мой конь! Остановись! — кричал ей вслед Саид Хелли-Пенжи, но было поздно.— Проклятье!

Он выхватил наган и стал стрелять в ту сторону, куда унесся конь с горянкой, но тщетно. Саид взревел от злости. Куда девалось восхищение смелостью женщины. Он подлетел к Ибрахим-бею и крикнул:

— Дайте мне коня, я догоню ее!

— Убирайся вон! Пока цел!

— Дайте коня, прошу вас, она угнала моего, и я доставлю ее к вам.

— Уже не догонишь,— с досадой махнул рукой Ибрахим-бей и, подозвав адъютанта, приказал сжечь все хлеба на току и на полях.

Сделав свое черное дело, похоронив убитых аскеров, чуть поредевшая в стычках сотня Ибрахим-бея двинулась к Усиша.

— Ты пойдешь с нами! — сказал турок Саиду Хелли-Пенжи.

— Сейчас не могу,— Саид изъяснялся с ним на смешанном языке — несколько слов из кумыкского, несколько из азербайджанского языка, но турок хорошо его понимал.— Мне надо навестить свою больную тетку, господин офицер. Прошу вас, уважаемый...

— Пойдешь с нами, говорю я тебе! — тоном, не терпящим возражений, повторил Ибрахим-бей.

— Зачем я вам нужен?

— Будешь нашим проводником и переводчиком. К тетке мы тебя отправим, когда завершим свою миссию. А пока скажи, кто ты?

— Я правоверный мусульманин...

— Мусульмане, как видишь, теперь разные.

— Да, твоя правда,— кивнул Саид, идя рядом с конем Ибрахим-бея.— Я готов служить вашему знамени, но...

— Никаких «но»! И поклянись на коране служить нам верой и правдой, не то...

— Но, господин паша...

— Я все сказал.

— Тогда дайте мне коня, как же я могу служить вам, вы верхом, а я пеший. Я ведь отчасти благодаря вам потерял своего коня. Конный пешему не друг...

— И мой конь что-то захромал. Проклятый кузнец в Киша, видно, загнал гвоздь в мясо!..— в сердцах проговорил Ибрахим-бей.— Люди здесь позабыли аллаха... И тебе я тоже не поверю, пока не поклянешься!..

И Саид Хелли-Пенжи поклялся на коране, услужливо поданном ему адъютантом юзбаши[1]. После этого ему дали коня, надели и феску.

— Чем ты до сих пор занимался? — спросил Ибрахим-бей.

— Добро искал.

— Где?

— В Большом ореховом лесу.

— Выходит, лесной брат? Ну и что ж, нашел добро?

— Ничего я не нашел, кроме этих ран! — Саид показал свои руки.— Авось с вами найду. Не здесь, так, может, в Турции.

Забыл, видно, горец завет предков: умри, но родной земли не покидай!

— Мы прибыли сюда по воле аллаха, хотели помочь вам...

— Да воссияет на земле и на небе слава аллаха! — согнувшись в учтивом поклоне, проговорил Саид, а про себя подумал: «Хорошо бы войти к ним в доверие,— и может, правда заберут меня с собой...»

---

[1] Юзбаши — сотник (*тюркск.*).

— За годы владычества в Дагестане русские, с тех пор как пал могущественный трон третьего имама, вышибли из горцев всякое благоразумие. Но аллах велик, и с его помощью мы вернем вас под небо единоверия! Ты согласен со мной?

— Я молюсь за это! — ответил Саид Хелли-Пенжи.

— Хорошо ли ты знаешь здешние дороги?

— Любое четвероногое животное могло бы мне позавидовать!..

— Тем лучше. В таком случае ты прямиком поведешь нас к нашему кунаку, который ждет нас у предгорья...

— Хоть к самому дьяволу, моя тропа слилась с твоей, дорогой Ибрахим-бей, и я обнаруживаю в себе, что рад этому.

— А ты языкастый! Не знаю только, к добру это или нет?..

— Языкаст, да неудачник.

— С нами познаешь удачу.

«Поживем, увидим»,— подумал про себя Саид Хелли-Пенжи.

— А знаешь ли ты нашего кунака, хозяина талгинских владений?

— Кто на плоскости не знает этого дьявола в облике человека. Кому неведом этот набитый соломой мешок, этот хромой бес. Этот...

— Ну хватит, хватит! Ха-ха-ха, я вижу, он тебе крепко прищемил хвост! Ха-ха-ха!

— Хитер и коварен ваш кунак.

— Это не порок. Хитрость — лучшее оружие, утверждает наш пророк.

— На нем кровь моих лесных братьев. И меня он ловко обманул. Но я еще отомщу ему!

— Ну, ты брось! Знай, если хоть один волос упадет с его головы...

— А у него их и нет, волос-то. Лыс, как шайтан, и жирный, точно свинья. Я должен во что бы то ни стало отомстить ему!..

— Считай, что я предупредил тебя. После доброй драки люди становятся друзьями, и ты помиришься с ним.

— Волк лисе не друг.

— И все же тебе придется уступить.

— Посмотрим,— нехотя выговорил Саид Хелли-Пенжи, говорится же у горцев — на чьей арбе едешь, того и песню пой.— Видно, аллах мне вас послал. А я-то уж думал у своей старой тетки обрести хоть недолгий покой.

— Нет в этой жизни покоя. Покой в могиле! А туда мы еще успеем, не сегодня, так завтра будем там. Сейчас же поспешим к Исмаилу, он, наверно, заждался. Мы обещали ему еще на той неделе прибыть. Не знаешь, много ли у него людей?

— Не знаю! Знаю, что баранов много...

Вперед был выслан дозор из трех всадников: мало ли что может приключиться в этих проклятых горах...

Вступая в Дагестан, Ибрахим-бей был полон самых радужных надежд в отношении горцев, очень верил, что они встретят его с распростертыми объятьями. Он считал свою миссию очень почетной для правоверного: шутка ли, ему поручено вернуть в лоно истинной веры заблудшие души некогда славных своей особой храбростью, воинственных горцев. Юзбаши готов был костьми лечь, чтобы оправдать оказанное ему доверие. Однако уверенность Ибрахим-бея в том, что удача дастся легко, очень скоро поколебалась в его душе. На деле все получалось не так, как он того ждал. И в мозгу уже не раз копошилась мысль: «И зачем мне все это нужно? Не лучше ли воротиться к себе домой...» Легко сказать, воротиться, а что он скажет тем, кто послал его сюда? Никто его не поймет. Вышвырнут из армии, и дело с концом. А как тогда жить? Он не мыслил себя вне армии.

ПАРОЛЬ — НАРОД ИДЕТ

Чем больше всякого рода иноземцы ожесточали людей, тем скорее множились ряды друзей большевиков. К комиссару Али-Баганду из Киша, обосновавшемуся в ауле Чишили, денно и нощно стекались горцы со всех концов. Они шли сюда пешие и конные. А после похода турок по горам и бичераховцев по плоскости поток и вовсе не прекращался... Но все эти люди в массе своей были безоружны.

Комиссар Али-Баганд со дня на день ждал оружия.

Верный Хасан из Амузги не может подвести. Однако Али-Баганд тревожится, что долго нет никаких вестей от Хасана, не случилась ли беда, уж очень ненадежного он взял с собой спутника. Али-Баганд относился с большим недоверием к Саиду Хелли-Пенжи и предупреждал Хасана, чтобы в оба глаза следил за этим лесным братом. Но Хасан надеялся на него, как-то даже сказал: «Ведь Умар из Адага тоже некогда был абреком!» С тем они и уехали.

Людей в ауле Чишили накопилось уже видимо-невидимо. Размещали их в наскоро сплетенных из ветвей орешника шалашах и в отбитых у бичераховцев палатках. Начались затруднения с продовольствием, но острее всего ощущалась нехватка оружия...

Сложным был душевный настрой у Али-Баганда в эти тревожные дни. С одной стороны, он был счастлив — недавно полученная им бумага подтверждала, что он принят в члены партии большевиков. Это событие согревало его. Радовало и то, что горцы начали прозревать и вот идут в стан борцов за народное дело, идут к нему, как к своему человеку. И пароль для всех прибывающих один. На вопрос: «Кто идет?» — отвечают: «Народ идет». Народ идет! И это радость. Но есть на сердце Али-Баганда и печали. Одна — это та, что нет пока оружия, а без оружия, как бы ни были воинственны его сподвижники, не много навоюешь... Тревожится Али-Баганд и о своей жене Шахризат. Она осталась в ауле Киша, а там сейчас турки.

Но о жене он тревожился недолго. Словно услыхав его зов, она неожиданно появилась в Чишили. Прискакала на разгоряченном коне, как из сказки, и... рассказала обо всем, что с ней приключилось. Да, да, она была той самой горянкой, что так смело вступила в противоборство с турецким юзбаши Ибрахим-беем, а потом умчалась на коне Саида Хелли-Пенжи.

Али-Баганд не мог скрыть своего восхищения перед отвагой жены. Но комиссара заинтересовал не столько рассказ Шахризат, сколько конь, на котором она прискакала.

— Откуда у тебя эта лошадь? — спросил он.

— Не знаю, чья она, на мое счастье оказалась под рукой.

— А хозяин ее кто, Шахризат? Это очень важно, постарайся вспомнить.

— Стоял там один, в черном башлыке, со шрамом на лбу, он все что-то к туркам подбирался,— кажется, это его...

— Со шрамом на лбу, говоришь? Значит, я не ошибся, это конь Саида Хелли-Пенжи.

— Да пусть хоть самого шайтана. О нем ли сейчас надо говорить? Ты, похоже, не рад, что я вырвалась из этого ада? Может, уж пусть бы звери в фесках обесчестили и убили меня?

— Ну что ты говоришь! Конечно, я рад, что ты спаслась и теперь со мной! Просто, понимаешь, случилось то, чего я очень боялся...

— Что именно?

— Это конь того человека, который поехал с Хасаном из Амузги. Я послал их с важным заданием.

— Думаешь, он предал Хасана?

— Боюсь худшего.

— Но этого быть не может, чтоб не стало Хасана. Нет, нет!..

— И все же... Надо спешно что-то предпринять. А что?.. Позови-ка ко мне Умара из Адага! — приказал комиссар Али-Баганд своему младшему брату Муртузу-Али, который постоянно находился рядом с ним.

Муртуз-Али очень скоро вернулся с Умаром из Адага. Это — человек особой закваски. Сын знатного отца и бедной горянки — «чанка» называют таких,— он с раннего детства изведал много горя и несправедливости. А в юности с ним и вовсе случилось такое (расправился с сельским старшиной — обидчиком матери), что заставило его долгое время скрываться в лесу... Затем обстоятельства свели Умара из Адага с комиссаром Али-Багандом, и он навсегда связал свою жизнь с человеком, устремления и цели которого были во всем близки ему...

Прежде чем уединиться с Умаром, Али-Баганд попросил жену распорядиться всем, что связано с продовольствием: люди везли в Чишили хлеб, мясо и все, что могли собрать в аулах. Надо было организовать хранение продуктов.

Али-Баганд с братом и с Умаром из Адага обсужда-

ли, что же произошло с Хасаном из Амузги и как им быть.

— Допустим, он не убит. Если так, то его либо арестовали, либо... Не знаю, что и подумать! — сказал Али-Баганд.— В общем, надо ехать, Умар. Муртуз-Али поедет с тобой.

— А как же с паролем?

— Пароль один. Вот газырь. Езжайте к Али-Шейху в Агач-аул. У него все разузнайте. Если же Хасан там не появлялся, отдайте Али-Шейху этот газырь, в нем есть записка, пусть он прочитает. Итак, на коней! Время не ждет. Турки близко, если они узнают, что мы собираем здесь силу и что большинство наших людей не вооружены, тотчас нагрянут и раздавят нас, как лягушек. Без оружия мы бессильны! Скачите. В добрый час!

Они обнялись. Муртуз-Али и Умар из Адага сели на коней и пустились в дорогу. А комиссар ушел на полигон, где он обучал новобранцев ведению боя.

— Саблей-то мы владеем, комиссар. Дай нам огнестрельное оружие,— просили люди.— Недаром ведь говорится: появилась винтовка — погиб Кёр-оглы.

— В руках джигита и сабля оружие. В атаке конному лучшего оружия не сыскать! — И Али-Баганд с ловкостью демонстрировал свое искусство: на скаку срубал и слева и справа воткнутые в землю жерди с надетыми на них папахами.— Э-эй, джигиты! — подзадоривал он.— Я уже староват, а вы молодые, глаз у вас острый и рука быстрая. Померяемся силой. А ну ты, на гнедом, попробуй-ка поднять прямо с коня из двенадцати папах, что слетели с жердей, хотя бы четыре.

Тот помчался и на удивление всем, свесившись с седла на одну сторону, подобрал на скаку все папахи. Считай, сын оружейника из Харбука — уже джигит. А сколько еще таких...

ГОСТИ ТАЛГИНСКОГО ХУТОРА

Хасан сын Ибадага из Амузги ехал в стан Исмаила, и не ведал он о том, что еще днем туда прибыл турецкий офицер Ибрахим-бей со своим отрядом аскеров. Не знал и того, что от роду коварный, неприветливый и очень гру-

бый Исмаил, будто наизнанку вывернутый, встретил турка с необыкновенным радушием. Устроил в честь столь досточтимого кунака пир, каких в округе давно не бывало. Ибрахим-бей для спокойствия выставил дозорных, повелев им каждые два часа сменяться и объезжать посты. К тому же был отдан приказ: из аула никого не выпускать и в него никого не впускать. А кто нарушит приказ — задержать и бросить в хлев крайней сакли, утром, мол, разберемся.

Исмаил вырядился в парчовый халат и был похож скорее на узбека, чем на горца, не хватало только тюбетейки. Встречая гостей, он долго пожимал руку Саиду Хелли-Пенжи, все всматривался в знакомое лицо. Ибрахим-бей заметил это и потому спросил:

— Что, Исмаил, знаком он тебе?

— Кажется, да. Но, может, я путаю...

— Тебе ведь, наверное, сказали, что я убит? — сверкнул глазами Саид, наблюдая за тем, как меняется выражение на хитрющей физиономии Исмаила.

— А-а, теперь припоминаю! — И Исмаил, заговорщически улыбаясь, добавил: — Коран с медной застежкой.

— Да! Чтоб околеть тебе на месте!

— Чтоб твой род передох, ты же рассердил меня! Рассчитался бы за труд, тогда другое дело. А то пожалел два золотых...

— Признавайся лучше, где шкатулка?

— Ты, конечно, уверен, что она была полна драгоценностей и золота?

— А как же иначе. Шкатулка ведь была такая тяжелая...

— Проходите! Проходите в дом...— предложил Исмаил Ибрахим-бею и его приближенным и снова повернулся к Саиду: — Ты ошибся. Да и я тоже. В шкатулке ничего не было, кроме...

— Кроме?..

— Скажи-ка лучше, где коран? — не ответив ему на вопрос, спросил Исмаил.

— Какой коран?

— Тот самый, с медной застежкой?

— Будьте вы прокляты! Хватит наконец смеяться надо мной! — взбесился Саид.

— Не свирепей, Саид! Я говорю тебе истинную прав-

ду, в шкатулке был всего-навсего только ключ от тайника, который находится в другом месте, а где именно — сказано в записке, вклеенной в обложку того самого корана. Вот все, что я узнал, завладев этой шкатулкой. Хочешь верь, хочешь не верь. И потому-то я, между прочим, спрашиваю тебя: где коран?..

— Он остался возле той ямы...

— Выходит, книга попала в руки какому-нибудь куймурцу или же... Я послал туда людей... Ну ладно. Забудем все, что было. Друг моих кунаков — мой друг. Не бойся, я не такой жадный, и тайник к тому же еще не найден... Что с тобой?! — последние слова Исмаил сказал, заметив, как Саид перекосился, вроде бы от боли, когда Исмаил пожал его руку.

— Это твои головорезы так меня ранили.

— Ну, будет! Смягчи свое сердце, Саид Хелли-Пенжи — гроза Кара-Кайтага. Хочешь, прощения у тебя попрошу, хочешь — и на колени стану! — улыбаясь, сказал Исмаил.

— Не надо!.. Слишком много будет чести. Отплатить не сумею!

Исмаил заискивал перед Саидом, в душе надеясь, что коран с медной застежкой все же находится у него. Он даже обнял его за плечи и торжественно, как дорогого гостя, повел на верхний этаж сакли, где в просторной кунацкой на коврах было расставлено видимо-невидимо вкусно пахнущей еды, разных пряных трав, от перечной мяты до горного лука... Были и вина, но турки пить отказались...

— А зря... — пожалел Исмаил, беря в волосатые пальцы кубок,— это бодрит тело и веселит душу. Особенно русская огненная вода.

— С каких пор правоверные позабыли завет пророка, запрещающий им пить вино? — проговорил Ибрахим, развалясь на мутаке[1].

— Пророк запрещает вино, а это же белая вода, просто огненная. На нее нет запрета. Что же, Саид, давай с тобой выпьем за приезд столь уважаемых кунаков.

— Дерхаб! — молвил Саид.— Давай и правда забудем нашу ссору да выпьем за хороших людей.

---

[1] Мутака — длинная, круглая подушка, распространенная у народов всего Востока.

Они пили, а Ибрахим-бей думал о своем. Вспомнил дом близ Измира, небольшой садик при доме, жену, что небось ждет не дождется его. И тут вдруг, спохватившись, попросил слугу принести подарок, что он привез для жены Исмаила.

Слуга принес сверток. Ибрахим-бей развернул его и подал хозяйке дома отрез цветастой турецкой ткани. Женщина от радости всплеснула руками и, тут же сказав, что сошьет платье старшей дочери, исчезла, видно пошла к дочерям хвалиться подарком гостя...

После двух-трех выпитых чарок при посредничестве Ибрахим-бея мир между Исмаилом и Саидом был окончательно восстановлен. На радостях Исмаил позвал свою старшую дочь, Зейнаб. Она вошла, жуя жвачку. Увидев чужих мужчин, смутилась.

— Не правда ли, хороша? Так вот знай, я даже готов породниться с тобой. Старшую, любимую дочь готов за тебя отдать. Смотри, Саид Хелли-Пенжи, я из тебя человека сделаю. Ха-ха, оседлаю, навешу уздечку! И помни, в суете счастье за хвост не ухватишь...

Исмаил еще бы долго болтал, благо водка за него говорила, но Ибрахим-бей прервал его. Крутанув ус, он сладострастно глянул на дочь Исмаила и сказал:

— Что ж, Саид, девушка достойна украсить любой дом!

Турку, видно, поднаскучила пресная жизнь. Сейчас ему любая юбка могла бы показаться даром небес.

Саид хотел сказать, что не красавица красива, а любимая. Хотел, да не сказал. Решил, что лучше промолчать...

А девушка, между прочим, была удивительно хороша. И на колючке, говорят, цветок растет. Кто бы подумал, что у такого отца такая дочь. Белолицая, полненькая, румянощекая, Зейнаб была что персик в зелени листьев: возьми кончиками пальцев, надкуси — и не только губы, вся душа нальется шербетом. Но берегись, не приведи аллах с косточкой проглотить, застрянет в горле.

Зейнаб смущенно прикрыла лицо краем легкой накидки и убежала. Потом пошли разговоры о делах, о будущем Дагестана под протекторатом султанской Турции. Исмаил все молил аллаха, чтобы поскорее это произошло.

— Большевики с их Советами и ревкомами свергнуты. Им уже не поднять головы! — утверждал он.— Но мне непонятно одно, уважаемый Ибрахим-бей, неужели вы позволите этим бичераховцам хозяйничать здесь? У вас что, союз с ними?

— Ты же хитер, Исмаил? Неужто до сих пор не разгадал? Эти люди в английском обличье были нужны нам в борьбе с самым страшным нашим врагом, с большевиками.

— А теперь?

— Теперь наш славный генерал Нури-паша предложит им убраться восвояси.

— Добровольно они не уйдут!

— Тогда мы объявим им войну и посмотрим, устоят ли они перед нашей силой! — важно заявил турок.

— Я с вами, Ибрахим-бей. Во всем с вами. Мои люди жаждут участвовать в боях рука об руку со своими братьями по вере.

— Вот за это, пожалуй, и я выпью немного огненной воды,— сказал Ибрахим-бей, чем несказанно обрадовал хозяина, кинувшегося наполнить ему чарку кубачинской работы...

Саид Хелли-Пенжи вышел проветриться. Неподалеку от лагеря аскеры просеивали ячмень, а затем насыпали его в мешки — припасали корм для коней, готовые в любую минуту пуститься в поход. Саид прошел в сторону водопада, куда по склону спускался тенистый буковый лес, разделся и уже хотел подставить свое разгоряченное от хмеля тело под холодную струю, как вдруг увидел, что к его одежде подошли двое каких-то подозрительных людей.

— Кто вы и что вам нужно? — спросил он, машинально отвернувшись от них и прикрывая ладонями укромное место: спина боится, лицо не видит.

— Мы тебя не тронем. Нам бы только спросить надо: не знаешь ли ты некоего Саида Хелли-Пенжи?

— А зачем он вам нужен?

— Нам сказали, что он вместе с турками прибыл к Исмаилу. Ты не видел его?

— Видел... — Мысли завертелись в голове у Саида, а на лице отразилось беспокойство.

— Где он сейчас?

— В доме у Исмаила! Где же ему быть? А кто вы все же будете?

— Мы сыновья Абу-Супьяна, человека, которого он убил. Могила отца ждет его крови, вот за этим он нам и нужен.

— Ну, а я-то здесь при чем. Ловите того, кто вам нужен, и не мешайте мне, я хочу искупаться! — сказал Саид Хелли-Пенжи, внутренне сжавшись от страха за свою шкуру.

— Не будем тебе мешать. Но мы недалеко уйдем, и, если увидишь его, передай, что и под землей ему от нас не спрятаться.

— Передам.

Высказав свой приговор, пришельцы удалились. Саид для виду на минуту встал под струю, быстро оделся и бежать.

А сыновья Абу-Супьяна между тем встретились с Мустафой, сыном Али-Шейха.

— Что же вы отпустили его? — вскричал он.

— Кого?

— Саида Хелли-Пенжи.

— Да разве это он?

— Я, правда, издалека его видел, но, по-моему, он.

— Ох, подлец! Ну, тем лучше! Пусть подготовится к смерти. Мы, по крайней мере, теперь знаем, каков он из себя, и второй раз живьем из рук не выпустим.

— А сейчас пока идемте отсюда! Если это он, может учинить погоню.

— Мы пойдем к тебе, Мустафа. От тебя до него ближе.

— Буду рад. Я затем и ехал, чтобы пригласить вас к себе.

Отъявленный головорез Саид Хелли-Пенжи еще ни разу не испытывал такого страха. Выходит, звезда его пока не закатилась. Ведь сегодня он избежал верной смерти. Саид проклинал того, кто в злосчастную ночь был его спутником. «Говорил же я ему,— твердил про себя Саид,— чтобы не убивал старика. А теперь вот мне расплачиваться!..» Правда, старик оказался уж очень несговорчивым, стал размахивать кинжалом и кричать: «Убейте, но книги этой я вам не отдам!» Ну, нервы, конечно, не выдержали, и тот вонзил кинжал прямо в самую грудь

старика, точнее, не вонзил, а бросил издалека, как в ствол дерева. А старик и мертвый цепко держал в левой руке эту злополучную книгу с медной застежкой, так что еле ее вырвали. Но убийце тоже не повезло. В следующую же ночь и его прикончили у Куймурской башни. А Саид теперь за все в ответе.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Ночь была облачной и беззвездной, когда Хасан из Амузги подъезжал на своем белом коне к стану Исмаила в Талгинском ущелье. Ехал он вдоль речки и только хотел свернуть в сторону, чтобы по нехоженой траве, неслышно подъехать прямо к дому, как из кустов, словно бы давно его поджидавшие, выскочили несколько человек, и не успел Хасан взяться за оружие, его стащили с лошади, попробовали поймать и коня, но Хасан свистнул, конь вырвался и ускакал прочь. Присмотревшись, Хасан понял, что его связали не люди Исмаила, а турки.

— Ведите меня к Исмаилу,— сказал он.— У меня к нему срочное дело.

— Ты не первый,— ответили ему,— кто рвется к Исмаилу. Тут недавно двое тоже к нему просились. Не торопись. Завтра вы все увидите своего Исмаила.

С этими словами один остался на посту, а двое повели Хасана и втолкнули в хлев крайнего дома, где уже сидели и те двое, о ком говорили стражники. Заперев хлев, турки ушли. Двое плененных до Хасана были не кто иные, как те, от кого Хасан из Амузги спас прелестную Муумину.

— Вшивые турки еще кого-то поймали,— проговорил один из них.— Эй, кто ты?

— Я? Сын своего отца,— проговорил Хасан.

— А кто твой отец?

— Время.

— Смотри какой загадочный, а? Ну и шайтан с тобой!

— И верно! Не связывайся с ним,— поддержал его дружок.

— Ну и задаст же завтра наш Исмаил этим туркам за то, что упрятали нас сюда! — тешил себя надеждой Аждар.

— Вряд ли. Боюсь, что Исмаил и сам у них в руках.

— Да что ты говоришь, он их очень ждал, они его кунаки.

— Сейчас, брат ты мой, такие пошли кунаки, явятся к хозяину и говорят: «Ну-ка, вытряхивайся и живи на нижнем этаже вместе со скотом, а нам здесь нравится». Боюсь, как бы завтра Исмаил при всем честном народе не огрел нас плетью.

— За что?

— А коран? Разве этого мало?

— Так что мы могли сделать, если его там нет? Подобрал, наверное, какой-нибудь куймурец...

Услыхав последние слова, Хасан насторожился: значит, коран где-то, но не у Исмаила.

— У меня мыслишка одна есть,— проговорил Аждар.— Пусть хозяин даст нам десятка два овец, пригоним их в Куймур и попросим, чтобы глашатай объявил: мол, кто принесет коран с медной застежкой, тот получит в обмен десять — пятнадцать барашков. Какой куймурец устоит перед такой платой!..

— Верно ведь говоришь! Ну и голова у тебя, как у мудреца.

— Не велик мудрец. Из медресе меня выгнали за то, что я не мог вызубрить молитвы. Казалось, уж запомнил, а стоило мулле назвать меня, все вылетало из головы.

— Да, не повезло нам.

— Повезет еще, Исмаил поможет. Он с турками такое затеял! Похоже, хочет, чтобы Дагестан впал в зависимость от Турции.

— И что это будет значить?

— А то, что будем входить не в состав России, как раньше, а примкнем к Турции.

— И турки ощиплют вас, как зарезанных кур, да бросят в кипящий котел султана! — не выдержал Хасан.

— Заговорил все ж! Да как зло заговорил.

— Белого царя с трудом скинули, а вы теперь хотите перед султаном спину гнуть, перед теми, кто вас в этот хлев загнал? Безмозглые ослы!..

— Эй ты, человек со змеиным шипением! Жаль, руки наши не свободны, мы бы тебе показали, кто ослы...

— Знаю я ваши повадки... И вас, кажется, знаю... Мо-

жет, скажете, куда вы дели шкатулку, что вырыли у Куймурской башни? — наугад спросил Хасан из Амузги, желая убедиться, те ли это люди, которых послал следом за Саидом хитрый Исмаил.— Что же вы умолкли? Оглохли! Я ведь вас спрашиваю?

— Не много ли ты хочешь знать? Это опасно для тебя.

— Я спрашиваю, где шкатулка?

— Дерзкий человек. Кто ты?

— Я Хасан сын Ибадага из Амузги.

Аждар и Мирза от удивления даже присвистнули и... оба расхохотались.

— Чего смеетесь?

— Во-первых, недостойно человеку называть себя именем того, с кем он схож не больше, чем кошка с тигром. Во-вторых, мы знаем, что Хасан из Амузги не мог попасть в такие дырявые сети... А потому ты уж лучше не пляши под чужой ветер, ногу сломаешь!

— Ну, а представьте, что он вдруг взял да и сам пошел в эти сети?..

— Этого не может быть. Хасан из Амузги не такой простак, не может он не знать, что за его голову Исмаил обещал три сотни овец, а что значат три сотни овец для человека, который ни за что другое и одной овцы не даст, это уж я знаю...

Судя по выражению лица Аждара, кто-кто, а он-то хорошо знал своего хозяина.

— Так что, милый человек, не храбрись, будто ты тигр, когда всего-навсего — полосатый кот... Назовись-ка своим именем. Да скажи, кстати, откуда ты знаешь о шкатулке?

— Знаю, и все!

— И о коране с медной застежкой тоже знаешь?

— Тоже знаю.

— Тем лучше. В шкатулке был ключ, он сейчас у Исмаила. Только никто не знает, от какого замка этот ключ. Вот завтра ты ему и расскажешь. Васалам-вакалам, и нам незачем будет еще раз ехать в Куймур. Ты ведь, наверно, тамошний?

— Я Хасан из Амузги!

— Ну пой свою песню! Посмотрим, как ты ее завтра пропоешь! Руки у тебя связаны?

— Да. И вы их развяжете!

— Смотри какой самоуверенный! Не можем мы развязать тебя, потому что и нам эти турки скрутили руки, но если бы они у нас даже и не были связаны, мы бы тебе свободы не дали. Сказочку, видно, ты не знаешь про то, как хвост змеи камнем прижало к земле и не могла она высвободиться, а мимо в это время шел горец. Змея взмолилась: «Смилуйся, добрый человек, освободи меня, я, может, тебя отблагодарю». Он возьми да и освободи ее. А змея и говорит: «Я ужалю тебя своим ядовитым жалом!» — «Зачем же? — спрашивает горец.— Я ведь тебе добро сделал, от смерти спас!» — «Не могу я иначе,— зашипела змея,— норов у меня такой».

ГЛАВА ПЯТАЯ

НА ОСТРИЕ КИНЖАЛА

Наутро Исмаил решил показать чужестранцу своих людей и потому вызвал к себе племянника, того самого бывшего царского офицера Сулеймана, который теперь стал у него командиром отряда.

Сулейман вошел злой как черт. Всю ночь он мучился зубной болью и досадовал на то, что дядюшка с эдакой радостью встретил турок, с которыми он, Сулейман, воевал под Эрзерумом, где был ранен, и которых ненавидел поэтому, как своих кровных врагов.

— Пока гости будут завтракать,— сказал Исмаил,— вели построить на площади весь отряд.

Сулейман, ничего не ответив, молча вышел из сакли...

Ел Исмаил всегда с удовольствием. Он предпочитал сушеное мясо и считал глупцами тех, кто употребляет в пищу свежее мясо. С осени в его доме всегда резали двух-трех бычков и заготавливали сушеного мяса.

Турки тоже не отставали от хозяина в чревоугодии. Но трапезу вдруг прервал турецкий солдат. Он вошел и что-то зашептал на ухо Ибрахим-бею.

Юзбаши выслушал его и сказал, обращаясь к хозяину:

— Он говорит, что часовые задержали трех подозрительных людей. Вчера, в твоих владениях.

— Пусть приведут их во двор, посмотрим, кто это попался в наш капкан, безобидные зайцы или матерые

волки! — потирая лоснящиеся жиром ладони, проговорил Исмаил.

Всех троих, в том числе и Хасана из Амузги, вывели из хлева на свет божий и доставили во двор к Исмаилу.

Изрядно набив желудки, Исмаил и его кунак вышли на балкон и спустились по лестнице. Ковыряя в зубах, Исмаил еще издали воззрился на пленников. Подойдя поближе, он сказал солдатам, показывая на Аждара и Мирзу, которые подобострастно улыбались ему, взглядом моля о снисхождении и прощении:

— Этого и этого развяжите! Они мои люди. Ну что, нашли, мерзавцы? А ты кто? — не дождавшись ответа, обратился он к третьему.

Хасан из Амузги глянул на него, Исмаил прищурился, немного отступил, посмотрел, еще приблизился.

— Ну что так вылупился? — спросил Хасан из Амузги.

— Постой, постой... Ты?

— Да, я самый.

— Хасан из Амузги?

— Как видишь, нам пришлось еще раз встретиться.

Хасан из Амузги имел в виду случай, что свел их некогда на ближних пастбищах. Он тогда угнал у Исмаила целую отару овец и поделил ее между бедняками.

— Вот так встреча! Матерый волк попался в капкан! — довольно потирая руки, сказал Исмаил.— Эй, Саид Хелли-Пенжи! — позвал он. С верхнего этажа, еще сонный, спустился Саид.— Узнаешь?

— Еще бы!

— Кто бы подумал, почтенный Ибрахим-бей, что нам так крупно повезет. Теперь-то уж я верю, что удачи будут сопутствовать нам всюду!

— Развяжите мне руки и дайте поесть, как полагается в гостеприимном доме,— повелительно бросил Хасан.— И если ты думаешь, что так просто было взять Хасана и скрутить ему руки, то ошибаешься, Исмаил.

— Я удивляюсь...

— Прикажи развязать мне руки. Я к тебе и ехал. Есть дело!

— Развяжите! — приказал Исмаил и добавил, обращаясь к Саиду Хелли-Пенжи: — Отведи его, там в кунацкой много еды. Я для тебя курицу приготовил, на

которую еще и петух не прыгал, кунак ты мой дорогой, ха-ха-ха,— злорадно осклабился Исмаил.— Да смотри, Саид, если упустишь такую добычу — шкуру с тебя сдеру!

— Понятно,— буркнул Саид и повернулся к Хасану: — Поднимайся давай. Отсюда-то уж ты никуда не убежишь. У ворот часовые и вокруг дома тоже.

Исмаил тем временем поманил к себе Мирзу и Аждара, ошарашенных тем, что всю ночь с ними и в самом деле просидел Хасан из Амузги собственной персоной. Сейчас они простить себе не могли, что так опростоволосились: шутка ли, за эдакую добычу можно было отхватить целых три сотни овец!..

Высказав все, что он думал о своих нукерах, Исмаил несколько поостыл и даже снизошел до того, что прислушался к совету Аждара и согласился дать ему два десятка овец, с тем что Аждар пойдет с ними в Куймур и попытается во что бы то ни стало раздобыть злополучный коран.

Мирза с Аждаром ушли. Исмаил с Ибрахим-беем отправились на площадь, где, как доложил офицер-племянник, их уже ждал построенный для смотра отряд. Уходя, Исмаил строго предупредил часовых, чтобы глаз не спускали с пленника.

— А кто он такой? — заинтересовался Ибрахим-бей.

— Дьявол, причинивший мне немало бед. И всем шамхалам да и князьям тоже.

— Большевик?

— До мозга костей!

— А почему же ты обошелся с ним, как добрый хозяин, даже к завтраку пригласил!

— Хороший кот, поймав мышь, съедает ее не раньше, чем вдоволь наиграется с ней! Хи-хи-хи...

— А ты, кунак, молодец! — Ибрахим-бей похлопал его по плечу.

На площади выстроилось около полутора сотен голытьбы — кто на конях, кто пеший... И вооружены они были по-разному: у одних в руках обрезы боевой винтовки с приделанными пистолетными ручками, у иных кремневые ружья времен Шамиля, берданки, сабли, кинжалы... Посмотрел Ибрахим-бей на этот сброд, покачал

головой и улыбнулся, ударив плетью о голенище сапога со шпорами.

— Гм, да!

— На вид их не смотри, кунак,— довольно причмокнул Исмаил, поправляя на животе ремень с медной пряжкой и любуясь отчеканенным на ней царским орлом.— Драться будут до последнего зуба.

— Большинство же из них без коней.

— Кони будут... я уже отослал своих людей, пригнали табун с дальних пастбищ.

— А стрелять-то они умеют?

— Эй ты, гидатлинец Мухамед,— подозвал Исмаил одного из всадников. Это был горец с бородой, похожей на железный наконечник сохи, на голове у него красовалась папаха — так называемая сах-капа, похожая на стог сена.— Наш уважаемый гость сомневается, умеете ли вы стрелять. Что ты скажешь, умеете?

Гидатлинец вскинул голову...

— Чей ты боец? — спросил его Ибрахим-бей.

— Исмаила.

— Чей у тебя конь?

— Исмаила.

— Чье оружие?

— Нашего уважаемого Исмаила...

Гидатлинцы умеют шутить, умеют они быть серьезными, умеют и рассеивать сомнения. Мухамед — человек особенный даже среди гидатлинцев. Случилось как-то с ним происшествие, после которого его прозвали «Ни вот столечко». А было это вот как: сидел он с одним сирагинцем у костра и смеялся чему-то своему. Сирагинцу это не понравилось, показалось, что гидатлинец смеется над ним.

— Чего ты надо мной смеешься?

— Да разве я над тобой? — и гидатлинец закатился еще пуще.

— Надо мной ты смеешься! — настаивал сирагинец.

— Да нет же, что ты!..

— Неправду ты говоришь, надо мной смеешься!..

— Говорю тебе, нет!

— А я говорю, да!

— Ну нет же, поверь.

— Да!..

— Ах, не веришь? Так знай! — И Мухамед выхватил из ножен кинжал, отрубил себе кончик мизинца и сказал твердо: — Ни вот столечко я над тобой не смеюсь! Просто мне вспомнился случай один, с соседом моим он как-то приключился...

Вот какой этот Мухамед...

Гидатлинец повернул коня, припустил его, отъехал на порядочное расстояние, положил на выступ скалы грецкий орех, вернулся назад, спрыгнул с коня, зарядил ружье, лег на землю и, прицелившись, выстрелил... Орех на камне разлетелся на кусочки.

— Вот так мы колем орехи! — сказал Мухамед, вскочил на коня и встал в строй.

— Это неплохо! — одобрительно воскликнул Ибрахим-бей.— Совсем не плохо!..

Затем конники начали джигитовать. Мухамед отличился и в этом. Чего только он не вытворял на своем очень чутком и послушном скакуне. Движения их были согласованы. Казалось, все фигуры высшей джигитовки они творили одним дыханием, во всем понимая друг друга.

Но конечно же не все были такими мастерами. Однако необходимыми в бою навыками верховой езды обладал каждый, кто сидел в седле...

Хасан из Амузги с аппетитом поглощал остатки наготовленных для турок яств, нисколько не тяготясь присутствием Саида Хелли-Пенжи. Они долго молчали. Первым заговорил Саид.

— Удивляюсь,— сказал он,— как ты-то сюда попал? Мне, скажем, деваться было некуда, и к тому же турок в пути встретил, будь они неладны. А ты!.. Такой человек, о каких говорят «черту чувяки наденет»,— и вдруг прямо в логово зверя!.. Неспроста, наверно? — И Саид, словно хлебосольный хозяин, начал услужливо потчевать нежданного гостя мясом ягненка, свежим пчелиным медом и бузой [1].

— Неспроста, говоришь, я здесь? Верно. Захотелось проверить, как ты ненавидишь Исмаила,— с усмешкой проговорил Хасан из Амузги, глядя Саиду прямо в гла-

[1] Буза (аруш) — хмельной напиток.

за. — Помнится, ты готов был жизни не пожалеть, только бы отомстить ему...

— Я сказал тебе истинную правду, шкатулка у него.

— Очень уж ты легко позабыл своих спутников, убитых у Куймурской башни. Похоже, тебе все равно, чью кровь на себя принять,— только бы самому любой ценой выжить?..

— Но без книги с медной застежкой от этой шкатулки никакого толку! — словно бы оправдываясь, взмолился Саид Хелли-Пенжи.

— Быстро же ты меняешь шкуру. Хотел оседлать негодяя и сам оказался им стреноженным. Если бык запоздает накинуться, на него накидывается корова, так, что ли?

— Понимай как хочешь... — Досадно было Саиду Хелли-Пенжи слышать такие слова, но что поделаешь. Он помолчал, потом добавил почти шепотом: — Хочешь, помогу тебе бежать?

— Чем я обязан за такую твою заботу?

— Они идут. Подумай, я к твоим услугам... Берущий щедрее дающего — он возвращает...

Хасан из Амузги понял намек. Саида он знает. Этот человек без выгоды для себя на такое не пойдет. Предлагает помощь,— значит, и самому здесь не сладко, что-то и его тревожит. А может, совесть заговорила?..

В комнату вошли Исмаил и Ибрахим-бей. Удобно уселись на подушках, скрестив ноги, они стали молча наблюдать за Хасаном, который чувствовал себя так свободно, словно был дома.

— Вот какой у меня характер,— заговорил наконец Исмаил, причмокивая губами и разведя руки,— ничего не могу с собой поделать! Казалось бы, передо мной злейший и непримиримый мой враг, по которому давно плачет моя виселица... А я не могу быть яростным в своем гневе, потому что вижу перед собой человека. Даже предложил ему хлеб-соль...

— Хвала тебе, Исмаил, ты истинный горец. Хранишь обычай гостеприимства и великодушен по отношению к побежденному. Вообще-то одна ладонь не сделает хлопка! — сказал Хасан из Амузги.

— Вот, вот! Видишь, уважаемый Ибрахим-бей, он уже другую песню поет. Признает мои достоинства. Уж

и не знаю, хорошо это или плохо, когда тебя хвалит недруг!..

— Ну как же не признать твоих достоинств, если ты один на всем свете можешь гордиться, что изловил меня. Ловкий ты, Исмаил. И коварный.

— Что верно, то верно, поймать его пытались многие! — закивал Исмаил.

— Что делать, бывает, крючок за дверью сам накидывается.

— Хасан из Амузги, ты, наверное, догадываешься, кто со мной и чьи это аскеры несли ночью караул?

— Единоверцы, суконные фески, которых ты ждал.

— Ты ведь тоже сын правоверного. Они пришли к нам издалека, чтобы помочь братьям по вере...

— Добра от них ждешь? Напрасно. Не ради тебя они здесь. Край наш с потрохами засунуть в свой хурджин — давняя их мечта.

— И она сбудется. Не пристало сыну правоверного обращать взор свой на север.

— Мало, очень мало у меня веры к туркам, Исмаил. Они обманут и меня, и тебя, и всех.

— А гяуры тебя не обманут?

— Нет.

— Откуда в тебе такая вера?

— У русских теперь новая власть, они сбросили царя, у них свобода, земля роздана крестьянам. А в Турции все еще сидит жестокий султан...

— Но в Дагестане большевики уничтожены. Они бежали, опережая следы своих коней.

— Смешно, если вы в это поверили. Убаюкиваете себя. Вот он я, большевик, перед тобой! И всюду большевики. Скоро вы в этом убедитесь. Разве солнце виновато в том, что филин не видит?

— Хвалю твою откровенность, хотя у тебя в общем-то нет другого выхода: перед смертью каждый исповедуется. Ты что же хочешь сказать, что у меня опять отнимут мои пастбища, мои отары, мой дом?

— Непременно, и на сей раз уж навсегда.

— Но разве это справедливо? Давай рассудим по совести: я ведь тоже был бедняком. И только умом своим нажил все это.

— Обирать людей можно и без большого ума. Нужна только сила и власть, защищающая эту силу. Вот ты и ищешь такую власть...

— Каждый ищет то, что нужно ему...

— ...И я знаю, почтенный Исмаил, если турки не дадут тебе этой власти, ты поклонишься хоть самому дьяволу.

— Твоя правда. Я готов и с дьяволом союз заключить, лишь бы не потерять своего.

— В том-то и беда, что тебе есть что терять. А у меня вот нет ничего. И таких, как я, большинство в народе. Мы теперь тоже хотим иметь. Не так много, как ты, но...

— Не все мечты сбываются! — не без ехидства бросил Исмаил.— А уж ты-то и вовсе ничего не заимеешь. Даже трех аршин земли, положенных каждому правоверному. Я брошу тебя на растерзание зверью... Э-эх, жаль, не хватает мне на него злости,— это Исмаил сказал уже Ибрахим-бею, молча слушавшему их перебранку.— Иного, кто нанес бы мне личное оскорбление, я бы забил плетьми до крови, ногами бы истоптал, с грязью смешал бы. А с ним так не могу. Он сын кунака Ибадага из Амузги и враг мне... Так какое у тебя дело ко мне?— обернулся он к Хасану.

— Говорят, ты обещал три сотни овец тому, кто поймает меня?..

— Обещал. Но, слава аллаху, теперь они останутся в моем хозяйстве!

— Это еще почему? Разве ты не обязан отдать их мне?

— О чем ты? — опешил Исмаил.

— Чего ж тут непонятного? Может, это не о тебе такое говорят: идет в сапогах, а оставляет след босых ног? Разве не ясно, что овец ты должен отдать мне, я же самолично явился к тебе?

— Шутить вздумал, Хасан из Амузги? Благодари аллаха, что наградил тебя смелостью, граничащей с дерзостью. Только потому я не повешу тебя — легкой смертью отделаешься...

— И на том спасибо!

— В лечебной грязи утоплю,— кровожадно ухмыльнулся Исмаил.

— Славную казнь придумал! — всплеснул руками турок.

— Всех бунтовщиков утоплю! — разошелся Исмаил.

— Не слыхал ты, видать, про то, как зайцы каждую ночь совет держат,— проговорил Хасан из Амузги.— Гадают, как бы им орлов извести. Всю ночь думают, а под утро разбегаются, так и не решив дела...

— Ненавижу я тебя и дружков твоих, да сразят вас горячие пули!..

— Нас-то ты ненавидишь, а змею ядовитую на сердце пригрел и ни о чем не ведаешь!..

— Какую еще змею?

— А ту, что ненавидит тебя лютой ненавистью. Саидом Хелли-Пенжи зовется.

— Ненависть его в прошлом. Саид Хелли-Пенжи теперь служит мне верой и правдой!.. Ха-ха-ха, есть во мне такая слабость, люблю ставить людей на колени, особенно нравится мне делать из своих врагов покорных рабов! Вот так-то, Хасан из Амузги!

— Но знаешь ли, что этот твой раб предложил устроить мне побег.

— Что?! — сверкнул глазами Исмаил.— Ты, однако же, откровенен! Но так и знай, воспользоваться его услугами тебе не удастся!

— Почему же?..

— Смотрите-ка, он не теряет надежды! — возмутился Исмаил.

— Да если бы не надежда, я бы сам давно влез в петлю или утопился бы в твоей, как ты ее называешь, лечебной грязи!

— Не находишь ли ты, уважаемый Исмаил,— оторвавшись от курения кальяна, заговорил Ибрахим-бей,— что твой непрошеный гость час от часу наглеет? У нас с таких разом снимают спесь...

— Молоко матери да обернется мне позором, если я не сделаю того, что угодно тебе! — с жаром воскликнул Исмаил, с готовностью обернувшись к турку.

— Убить его всегда не поздно, для этого великой мудрости не требуется. Тут другое. Слушая вашу перебранку, и я убедился, что этот, недостойный звания правоверного, человек пользуется тем не менее, как мне кажется, доверием и признанием в народе...

— От самого Шах-Дага до Сирагинских гор! Чтоб ему пусто было!

— Оно и видно, потому он столь уверен в себе... Так вот, не убить его надо, а обесславить, от самого, как ты сказал, Шах-Дага до Сирагинских гор. Врага надо с корнем уничтожать, чтоб всходов от него не было.

— Мудра твоя речь, очень мудра,— согласно закивал головой Исмаил и торжествующе глянул в лицо своему пленнику, на котором, как показалось, мелькнула тень тревоги.— Я слушаю тебя, почтенный Ибрахим-бей.

— Что, если этого храбреца раздеть нагишом, привязать лицом к хвосту на какого-нибудь самого что ни на есть паршивого, облезлого ишака?..

— О, такой ишак у меня найдется!

— Привязать и прокатить по аулам. Вот, мол, люди, ваш хваленый Хасан, смотрите, какой он храбрый! И ротозеев созвать, чтобы шли вслед да забрасывали его камнями и грязью. Это, брат Исмаил, пострашнее убийства получится. Сказано ведь, вывих хуже перелома, срам хуже смерти.

— Это мысль! А как думает сам Хасан из Амузги? — скривившись в злорадной улыбке, спросил Исмаил.

Хасан из Амузги молчал. Всякого он мог ждать, но не такого зверства. Подобное надругательство для горца, носящего папаху, пострашнее смерти. Замешательство, написанное на лице Хасана, как бы придало уверенности Исмаилу. Он кликнул со двора своих людей и приказал привести осла.

«Умру, но не дамся!» — пронеслось в голове Хасана, и он ловким прыжком бросился на Ибрахим-бея и стал душить его. Но тут подлетели трое из слуг Исмаила, связали Хасана и вывели... А Ибрахим-бей, утирая платком взмокшую шею, пробурчал:

— Я же говорил, что ему это не понравится.

Исмаил юлой вертелся вокруг турка и приговаривал:

— Ах он мерзавец! Душить человека вздумал! Да мы его!.. Хорошо ты придумал. Вот сейчас мы посмеемся!..

В этот самый миг перед Исмаилом вдруг предстал Саид Хелли-Пенжи.

— Ты предлагал нечестивцу помочь совершить побег? — заорал Исмаил.

— Я?!

— Подлец! — Исмаил с маху ударил его плетью по лицу. Брызнула кровь.— Так вот ты каков? А я-то! Пригрел змею!..

Казалось, Саид Хелли-Пенжи не стерпит столь оскорбительного отношения и вот-вот бросится на Исмаила. Но нет.

— Дай же мне объяснить,— взмолился он,— я хотел вызвать у него доверие, чтобы он раскрылся, а потом бы я уж все тебе доложил. Он и мне враг, не только тебе! — выкручивался Саид.— Ты не должен сомневаться в моей преданности. Привыкший к свободе, я бы и дня здесь не пробыл, если бы не решил служить тебе верой и правдой. Бежать-то от тебя ведь ничего не стоит. Я и не из таких ловушек уходил...

ПОКУПАТЕЛИ КОРАНА

Почтенные куймурцы теперь частенько приходили к слепому Ливинду посидеть, послушать, как Ника-Шапи читает удивительную книгу, поразмыслить и порассуждать о жизни.

Вот и сегодня собрались они, расселись в круг на балконе ветхой сакли Ливинда. Муумина подала им лесных груш и грецких орехов. Заодно принесла несколько небольших камней — колоть орехи.

Ника-Шапи день ото дня все больше увлекался чтением. Наблюдая, как радушно потчует их Муумина, старик словно бы специально открыл книгу на той самой странице, где говорилось о добрых, достойных хвалы горских обычаях.

— «Почтенный горец,— читал Ника-Шапи,— если тебя не поприветствовал чей-нибудь сын, будь он малым дитятей или взрослым мужчиной, останови его и сам поздоровайся. И если краска стыда ляжет на его лицо, значит, он понял свою ошибку. Но если он ничего не сумел понять, не забудь об этом случае и непременно сходи к его отцу, а нет отца — к старшему из родичей, и скажи о проступке сына. Стоит хоть в малом расслабить

узду,— чего доброго, потеряем высокочтимое в наших горах уважение к старшему... И сын, и брат, и всякий младший при отце и при любом из старших по возрасту должен быть сдержанным и почтительным, готовым услужить. Ни курить, ни пить при старших не смеет малый. Суровой кары заслуживает нечистый на руку. Не подсудны лишь кража яблок из чужого сада и моркови с грядки соседа, да еще кража книги... Не подсудны, потому что в двух первых случаях это суть детское озорство, а утаившего чужую книгу не грех и поощрить, ибо, значит, он жаждет познания...»

Ника-Шапи, закашлявшись, прервал чтение. И затем с улыбкой сказал:

— Выходит, почтенные, я мог бы украсть эту мудрую книгу у нашего Ливинда, и вам ничего бы не оставалось, как похвалить меня за эдакое...

— Да, да! Выходит, что оно так...— заулыбались вокруг.— А ты что на это скажешь, Ливинд?

— Всё берите,— взмолился слепец,— только книгу оставьте мне!..

— Так уж и быть, Ливинд! — успокоил его Ника-Шапи.— Оно, конечно, хорошо, что кража книги не возбраняется. Но дело не только в этом. Главная мысль здесь куда глубже. Смысл изречения в том, что всячески приветствуется стремление к знанию...

— Читай дальше, Ника-Шапи! — попросили вокруг.— Очень добрая книга. Не иначе, святой ее писал!..

Ника-Шапи перелистнул страницу, надкусил спелую, сочную грушу и снова углубился в чтение:

— «Прежде чем сесть за еду, соверши омовение, за хлеб-соль принимайся с именем аллаха на устах и при этом забудь обо всем злом. Пусть на душе у тебя будет светло и да не оскудеют твои закрома. И упаси тебя аллах, никогда не прикасайся к хлебу ножом. Ломай его руками, да так, чтобы все до единой крошки остались в твоих ладонях. И возблагодари при этом земледельца, подарившего тебе это добро»... Очень все хорошо сказано! — оторвавшись от книги, заметил Ника-Шапи.

— Что и говорить! Такую бы книгу да в каждый дом, чтобы люди с раннего детства учились по ней, как жить надо. Все бы тогда стали чище и благородней...

— Жаль, что она у нас одна...

Тихую беседу гостей Ливинда вдруг оборвал крик куймурского мангуша-глашатая Юхарана. Аульчане уж и не помнят, с каких оно пор, словно бы вечно — и при царе, и при Советах, и вот теперь, бог знает при ком — все новости им объявлял с верхней крыши все тот же Юхаран.

Слепой Ливинд всполошился, кликнул Муумину, что сидела поодаль и обшивала белый башлык серебристой тесьмой, оставшейся еще от матери. По всему видно, готовила подарок Хасану из Амузги.

— Сходи-ка, дочка, послушай, что там глашатай объявит, какую еще печаль обрушит на наши головы...

Муумина тотчас выбежала за ворота. Вернулась она очень скоро и рассказала, что Юхаран сообщил, будто у него в сакле остановились важные люди, которые скупают кораны. За книгу с медной застежкой обещают особо высокую плату.

— Пятнадцать баранов.

— Да это же целое богатство! — воскликнул слепой Ливинд.— Слышите, почтенные,— пятнадцать баранов! И кончилась бы наша полунищенская жизнь за счет закията! [1]

— Так-то оно так! — закивал головой Ника-Шапи.

— А что, добрые люди,— с улыбкой спросил Ливинд,— уж не медная ли застежка на нашей книге?

— Медная, медная, отец! — выдохнула Муумина, опередив явно чем-то взволнованных куймурцев — гостей отца.

— Неужто, дочь моя! Может, на этот раз аллах смилостивился и правда ниспослал нам удачу?! Шутка ли, такое богатство — целых пятнадцать баранов! Пяток из них мы прирезали бы. Мяса хватило бы на всю зиму, а из шкур сшили бы новую шубу. Остальных десять можно сберечь, весной они приплод дадут, пусть каждая овца хоть по ягненку принесет, и то сколько добра! — размечтался Ливинд.

— И не жаль тебе такую книгу! — сказал один из гостей.

— Жаль-то оно, может, и очень жаль,— развел руками слепой Ливинд,— да ведь и дочку мне жаль. Посмот-

---

[1] Закият — пожертвования мечети в пользу нищих.

рите, в какую ветхость пришла моя сакля, того и гляди скоро совсем развалится. А Муумина уже, видите, совсем взрослая. К тому же и белый всадник объявился, скоро...

— Прости нас, Ливинд,— прервал излияния слепого хозяина Ника-Шапи, поднимаясь с места,— ты так нас раззадорил своими мечтами, захотелось и нам у себя дома посмотреть — не залежался ли и там коран с медной застежкой.

— И верно, надо и нам посмотреть,— всполошились все гости,— человек мечтает — судьба смеется!..

Куймурцы разошлись. Отец с дочкой остались одни.

— Где наша книга, Муумина? — спросил слепой Ливинд.

— Вот она, отец, у меня в руках.

— Та самая, по которой Ника-Шапи читал? Не подменили ли ее ненароком?

— Нет, отец, никто не подменил. Я как вошла, сразу взяла книгу у Ника-Шапи.

— Отнеси, доченька, ее тем людям. Хоть и очень мне жаль расставаться с такой мудрой книгой, но делать нечего... Только бы она оказалась именно той, за которую хотят дать баранов!..

— А может, не надо этого делать, отец?..

— Как же не надо! Ведь если за нее и правда дадут столько добра, кончится наша бедность. И свадьбу тебе надо играть, приодеться тоже надо... Иди, дочка... Иди, а я буду молиться, чтоб книга наша оказалась той самой, за которую овец со двора Юхарана пригонят к нам.

— Хорошо, отец, я пойду!

— Смотри только, чтобы тебя не обманули. Боюсь я, как бы во всем этом подвоха какого-нибудь не было. За одну книгу и столько овец!.. Ну да ладно, иди.

— Иду, отец...

Муумина, с той поры как рассталась с Хасаном, очень переменилась. Теперь она все больше грустит. А как уйдет в лесок со своими четырьмя овечками, там, втайне от чужих глаз, чтоб подальше от недобрых речей, все упражняется в метании ножа. Раньше она бы ни за что не поверила, что это может быть так увлекательно. Наигравшись с ножом, Муумина прятала его в дупло дерева на опушке и снова задумывалась над тем, что ее ждет, шептала цветам и деревьям имя Хасана, напевала все

одну и ту же печальную песню без слов. А то, бывало, сядет у речки и слушает ее неумолчное бормотание, горестно опустив голову. Дома тоже Муумина теперь была неразговорчива, и отец часто сетовал на ее молчаливость. Но потом она вдруг совсем неожиданно начинала вслух мечтать о будущем, обсуждать с отцом, как они заживут...

Словом, девушку будто кто подменил. В ней поселилось извечное чудо любви.

С прижатой к груди книгой Муумина побежала к сакле глашатая Юхарана, толстого старика с длинной седой бородой и вздутыми, как у зурнача, щеками. Он и в самом деле отменный зурнач, ни одна сельская свадьба без него не обходится.

Еще издали Муумина увидела, что у сакли Юхарана выстроилась длинная очередь, куймурцы решили попытать счастья — вытащили из сундуков всевозможные табтары[1].

Муумина сразу увидела Юхарана. Он стоял на балконе второго этажа, у самой лестницы. А рядом топтались его щедрые кунаки. Овцы сгрудились во дворе под деревом. Муумина сначала не рассмотрела, кто эти люди. Но, приглядевшись попристальнее, она вдруг замерла. Нет, сомнения быть не могло. Подле Юхарана стояли те самые люди, которые пытались умыкнуть ее и от которых она спаслась благодаря Хасану!..

От ужаса Муумина побелела как полотно. Что же теперь делать?.. Ей стало ясно, что пришельцы ищут именно ту книгу, которую она сейчас держит в руках. Выходит, книга та представляет для них особую ценность. Не за медную же застежку злодеи готовы отвалить целых пятнадцать баранов? Не иначе, тут сокрыта какая-то тайна... И вдруг эта тайна связана с Хасаном? У Муумины с некоторых пор все думы о Хасане...

Девушка подняла глаза. По лестнице к Юхарану в этот миг поднимался Ника-Шапи. Он протянул потрепанную книгу. Застежка и на ней была медная, но...

— Нет, старик, не та у тебя книга,— покачал головой один из «искателей».

---

[1] Табтар — книга.

— Жаль,— с досадой проговорил Ника-Шапи. И вдруг, словно бы спохватившись, добавил:— Я, пожалуй, знаю, что вы ищете, и знаю, где это искать...

— Где? У кого?..

— У нашего слепца Ливинда. Очень мудрая книга. Я и сам с удовольствием ее читал...

— Как она могла попасть к слепому? — недоверчиво в два голоса спросили пришельцы.

— Не знаю, он говорит, что пророк ему ниспослал...

Муумина не слышала, о чем шла речь дальше. Она выбралась из толпы и бросилась бежать. Не ведая, куда и зачем она бежит, Муумина очнулась только там, где в тот раз укрывалась с Хасаном. Она теперь частенько забредала сюда, когда ей хотелось побыть одной. Сейчас Муумину привел сюда страх. «Нет,— решила она,— ни за что не отдам я им эту книгу! Ни за что!» И Муумина принялась палкой рыть между камнями яму. Вырыла, обложила ее сухим дерном, опустила книгу, прикрыла ее небольшим плоским камнем и засыпала яму. Осмотревшись вокруг и запомнив место, Муумина сровняла поверхность, завалила свежевзрыхленную землю камнями и только тут облегченно вздохнула. «Пусть теперь ищут!» —не без злорадства подумала девушка. В этот миг она была так хороша — сними с нее головной платок, чуть обнажи шею, и впору воскликнуть: «Не с нее ли писал своих мадонн великий Рафаэль!» Само небо, сама природа, одарив ее небывалым неизбывным очарованием, словно бы дали людям повод для размышлений о сути прекрасного...

И ГРЯНУЛА БЕДА

Слепой Ливинд лежал на тахте у себя на балконе и тоже думал о том, что, видать, судьба ниспослала ему совсем не простую книгу,— а то, что люди искали именно его книгу, не вызывало у старика никакого сомнения,— и потому, надо полагать, ищут его коран, что уж очень мудростей в нем много. Вон уж сколько дней Ника-Шапи читает, а мудрости в книге все не иссякают. Сколько в ней житейских наставлений, необходимых для человека, не лишенного разума и способного взять то, что да-

ет ему книга. «Лучший памятник отцу — его сын,— вспомнилось Ливинду изречение из книги,— но это не значит, что сын не должен заботиться о доброй памяти отца». «А есть ведь сыновья,— подумал слепой Ливинд,— которые, если б знали, что отца постигнет нежданно скорая смерть, променяли бы его на кисет махорки... Чего только в жизни не бывает...»

Много, очень много мудростей в книге с медной застежкой. «Если ты вернулся в аул из дальней поездки,— сказано в книге,— можешь, и за это никто тебя не осудит, не являться туда, где была радость рождения сына, радость свадьбы или суннат — праздник обрезания. Но явиться со словами сочувствия в дом, где прошлась своим черным крылом смерть или хвороба тяжкая кого одолела,— твой человеческий долг. В этом твое лицо. Ибо, запомни, есть сакли, где ни разу не гремела свадьба, но нет такой сакли, куда хотя бы единожды не заглядывало горе горькое».

Вспомнились слепому Ливинду и такие слова: «Ссориться или попросту пререкаться с женой недостойно носящего папаху. Но если все же случится, что трудно тебе будет избежать ссоры, и тогда сдержи себя: выйди к друзьям, отвлекись. А вернувшись в дом, не вспоминай о причине ссоры. Жена поймет и оценит твою сдержанность и впредь постарается не досаждать тебе...»

Чем больше вспоминал слепой Ливинд мудростей из корана, тем горше делалась досада на то, что жизнь вынуждает его расстаться с такой книгой. Ну, а о том, что добрая эта книга может принести в его саклю горе и несчастье, Ливинд и помыслить не мог...

Неожиданный шум отвлек слепца от размышлений. На балкон поднялись Ника-Шапи и те двое, что прибыли за кораном. Это, понятно, были Аждар и Мирза, получившие от хозяина своего, Исмаила, двадцать пять овец на выкуп за коран и решившие десяток из них утаить для себя. Именно потому-то им особенно не терпелось найти злополучный коран с медной застежкой.

Ника-Шапи объяснил слепому Ливинду, кого и зачем он к нему привел, на что удивленный старик сказал:

— Так я же отправил к вам свою дочь с этой книгой!..

— Не было ее там, — развел руками Ника-Шапи, — я искал ее, даже по имени кликал, не отозвалась. А мне сдается, что эти люди ищут именно твою книгу...

— Откуда она к вам попала, почтенный?..— спросил Аждар, взяв при этом с блюда сразу четыре ореха и раздавив их в ладонях без особого усилия.

— Явился мне как-то ночью ангел и оставил в моем доме эту мудрейшую из книг,— ответил слепой Ливинд.

— И что он при этом сказал?

— Ничего.

— Странное дело. Явился, принес коран и, ничего не сказав, скрылся?.. А когда же это было?

— В ту ночь, наутро после которой у старой башни нашли убитых,— ответил за Ливинда Ника-Шапи.

Аждар с усмешкой тронул локтем в бок Мирзу, видишь, мол, как все получается.

— Муумина, наверно, вот-вот вернется,— сказал Ливинд,— возьмете тогда книгу и дадите мне обещанных овец, на том и разойдемся. А сейчас пока присаживайтесь, угощайтесь грушами и орехами. Дочка сама их в лесу собирала.

— Книгу мы у вас возьмем, почтенный, а овец вы не получите! — проговорил, как отрубил, Аждар.

— Это почему же? — встревожился Ливинд.— Как же так, вы ведь объявили через глашатая при всем народе? За что такая несправедливость? У мужчины двух слов не должно быть. Честность превыше всего.

— А разве это честно— выдумывать всякие небылицы? Ангел, видите ли, принес ему коран. Присвоил ты, старик, чужую вещь, и все тут!

— Моя это книга, не чужая! — взмолился слепец, ругая себя в душе за то, что придумал сказку про ангела.

— Не твоя, а наша! Это на нас в ту ночь налетели бандиты у старой башни. Мы едва спаслись от них, а коран выронили. Там он и остался, у разрытой ямы,— на ходу придумал Аждар и, похлопав Мирзу по плечу, добавил: — Вот и свидетель мой. А у тебя есть свидетель? Кто видел твоего ангела?

— Никто...— растерянно промолвил слепой Ливинд.

— То-то же! Благодари лучше аллаха, слепец, что мы не ославим тебя вором перед всем народом.

— Это клевета! Никакой я не вор. За всю свою жизнь к чужому пальцем не прикоснулся. Ника-Шапи подтвердит, что я говорю истинную правду!..

В то самое время не подозревающая о незваных гостях Муумина взбежала по лестнице, неся в руках плетеную корзиночку, полную ежевики, собранной с придорожных кустов.

Увидев ненавистные лица, Муумина отпрянула. Не меньше удивились и пришельцы, узнав в ней ту самую девушку, которую они тогда упустили у речки в камнях. И Аждар и Мирза — оба подошли к ней.

— Где книга? — жестко бросил Аждар.

— Какая книга? Я ничего не знаю! — на лице девушки было написано вполне искреннее недоумение.

— Слышишь ты, слепой, что говорит твоя дочь? Прикажи ей не медля, по-доброму отдать нам книгу, не то...

— О чем они, отец? О какой книге речь?

— Пусть подавятся ею, отдай, доченька, отдай! Не было в нашей сакле радости, и ждать ее теперь уже нечего. Такие-то вот злые люди всю жизнь не дают солнечному лучику проникнуть в наш дом, осчастливить...

— Отец, у меня нет никакой книги!..

— Ты разве не взяла ее с собой? Я ведь из-за нее и посылал тебя к Юхарану.

— Скажи им, дядя Ника-Шапи, что не было у нас другой книги! — взмолилась Муумина, выхватив у него из рук старенький истрепанный коран. — Скажи, ты ведь эту читал! Правда же?..

Муумина во что бы то ни стало хотела привлечь старика на свою сторону. Но тот, обомлев от страха, упорно молчал.

— Не дурачь нас. Признайся лучше, где книга? — Аждар свирепо глянул на нее, рукоятью плети приподнял за подбородок голову и, воззрившись в лицо девушки, теперь уж ничуть не сомневался, что она и верно та самая, которая тогда ускользнула от них.

— Говорю же, не знаю я, о какой книге речь. Нет у меня ничего.

— В последний раз говорю, отдай книгу! — заорал Аждар, да так, что старики от страха вздрогнули.— Не заставляй нас прибегать к жестокости.

— Делайте что хотите, нет у меня никакой книги! — продолжала стоять на своем Муумина.

— Ну что ж, если так, пойдешь с нами! — сказал Аждар, хлестнув плетью о ладонь левой руки.— Как, Мирза, возьмем? У Исмаила, я думаю, она заговорит, а?

— Никуда я не пойду! — Муумина рванулась, хотела выбежать, но ее схватили. Схватили белую куропаточку грубыми черными лапами.

— Ну нет, уж на этот раз ты от нас не уйдешь!

— Отец, что они делают! Ника-Шапи, скажи им...

— Правоверные,— вскричал слепой Ливинд,— прошу вас, пощадите нас, бедных, оставьте в покое, дочка, видно, потеряла книгу!.. Прошу вас, оставьте ее! Сжальтесь, прошу!..

Он поднялся и ощупью стал пробираться туда, откуда слышался голос дочери. Но Аждар оттолкнул его и со всей силой ударил по лицу, да так, что несчастный слепой отлетел, ударился головой об стену и словно обмяк.

— Отпустите меня, во имя аллаха. Умоляю вас! Отпустите! Люди, люди! Неужели вы не слышите? Помогите! — кричала Муумина.

Но никто не пришел ей на помощь, никто не заступился за бедную девушку. И слуги Исмаила увели ее. Потеряв последние силы, Муумина прибегла к единственной своей надежде: «Хасан из Амузги,— прошептала она,— я жду тебя!» Бедняжка и вправду верила, что, как по волшебству, вдруг появится на белом коне ее Хасан и сурово накажет злодеев. Уж на этот раз он не отпустит их. Но всадник не появлялся. Зато Мирза и Аждар, услыхав ее мольбу, от души расхохотались.

— Мы и не знали, что так угодим тебе! — сказал Мирза.— К нему и доставим. Если он, конечно, не болтается уже на веревке и вороны не выклевали ему глаза.

Поистине верно говорят: камень летит к груде камней, беда к тому, кто в беде...

Дорога казалась бесконечной. На первом же привале, глотая слезы, Муумина заговорила со своими мучителями.

— Прошу вас, вы все же люди! — взмолилась она.— Постарайтесь понять меня, представьте, что я сестра ва-

ша и такая беззащитная. Разве вы, братья, позволили бы кому-нибудь так обращаться со своей сестрой? Вот у тебя, брат мой,— сказала она Аждару,— была мать, ты же любил ее?

— Я не помню свою мать.

— Ну сестра была!..

— Никого у меня не было.

— А у тебя, брат мой?

— У меня была... Сестра,— сказал Мирза.— На моих руках умерла. Оскорбил ее... мерзавец один. Но я отомстил ему! Жестоко!

— Ты очень ее любил?

— Она была у меня единственная...

— Ты должен понять меня, у тебя доброе сердце, раз ты любил. Вы оба видели моего отца. Он слепой, беспомощный. Без меня — как дитя без матери. Сжальтесь надо мной, отпустите. Будьте мне братьями, я молиться за вас стану, все грехи ваши перед богом возьму на себя! Милые, добрые! — Муумина говорила так, что и камень смягчился бы.

Мирза и верно прослезился. Он глянул на Аждара, словно бы говоря: «Будь человеком, давай отпустим несчастную».

— А что мы скажем этому?..— будто прочитав его мысли, зло пробурчал Аждар.

— Скажем, не нашли, да и только! — обрадовался Мирза.— Давай отпустим ее?!

— Не поверит он. Говорил же, без книги не возвращайтесь...

— Давай и вернемся с книгой, возьмем у того старика коран. Скажем, этот и нашли. А другой ему нужен, пусть сам ищет!..

— Ну, а почему бы ей не признаться нам, куда она девала тот коран, что мы ищем?..

— Пусть в вас заговорит доброе, пощадите! Вы же храбрые и благородные, не отдавайте меня на растерзание дурным людям. Вы добрые, я верю. Эти люди сделали вас злыми...

Аждар и Мирза переглядывались. В них боролись жалость к этой беззащитной девушке и страх перед Исмаилом...

РЕШИМОСТЬ ПРИ ОПАСНОСТИ

Жители Талгинского хутора и приезжие из других сел стали свидетелями позорной расправы над Хасаном из Амузги. Только мало кто верил в то, что человек этот действительно Хасан. Все считали, что очумелый от злости Исмаил поймал первого попавшегося и выдал его за Хасана из Амузги, на страх всем своим врагам.

...Расправа была поистине чудовищной. Вот уже три дня подряд Хасана привязывали веревками из конского волоса к спине шелудивого осла и вывозили в село на позорище. Нате, мол, смотрите, каков он, Хасан из Амузги.

Весь в кровоподтеках и синяках, Хасан страдал не столько от физической боли, сколько от бессильной ярости. Глаза пылали ненавистью и досадой. Простить он себе не мог, что так глупо попался во вражьи силки. Ведь с легкостью мог бы бежать, спастись от позорного унижения...

В первый день кое-кто бросал в несчастную жертву камнями и всем, чем попало. На второй день этого уже почти никто не делал. А на третий люди с сожалением и сочувствием отворачивались...

Сегодня в качестве сопровождающего рядом шел, подгоняя осла, Саид Хелли-Пенжи.

— Ты хотел выдать меня Исмаилу? — спросил он.

— Напротив, своей откровенностью я рассчитывал расположить его и к себе и к тебе. Ну, а как теперь, ты все еще готов оказать мне услугу?

— Да, готов. Я ненавижу Исмаила и потому хочу помочь тебе!..

— Пожалуй, этому я могу поверить. Но что ты хочешь в оплату за свои «заботы»? Даром-то ты ведь никому не служишь, ни черту, ни дьяволу?

— Сейчас бы ты мог обойтись и без упреков, черт возьми, жизнь ведь твоя на волоске! Исмаил сказал, что если ты еще сегодня не преклонишь перед ним колени с мольбой о прощении...

— Никогда этому не бывать!

— Имей терпение, дослушай. Тебя не убудет, а время выиграешь. Надо дотянуть до завтра. Ну, не на колени, так хоть признай его...

— И чем ты тогда поможешь мне?

— Друзья тебе помогут.

— Какие друзья?

— Сыновья Абу-Супьяна. Они здесь поблизости, в окрестных лесах...

— Ах, вот как! А я-то думаю, что это с тобой. Теперь понятна твоя услужливость.

— Ну и понимай. Что верно, то верно, я боюсь их мести. Абу-Супьяна я не убивал. Помогу им спасти тебя, а ты спасешь меня!

— Что ж, давай попробуем,— сказал Хасан.— Веди осла к твоему Исмаилу.

— Сейчас время молитвы...

— Отвяжи меня, по крайней мере. И дай одеться...

— Смотри только глупостей не наделай.

— Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, негодяй. Я в твоей власти, а ты — в моей. Будешь полезным, я, может, и прощу тебе все... И знай, слово Хасана из Амузги — верное.

— Потише ты, нас могут подслушать! — взмолился Саид и шепотом добавил: — Я видел ту шкатулку. Исмаил прячет ее под подушкой.

— Мне нужен ключ.

— Постараюсь достать его. Но сейчас главное — спасти тебя.

И Саид Хелли-Пенжи, словно опомнившись, толкнул осла вперед и стал хлестать плетью Хасана. Делал он это с таким усердием, что Хасан, озверев от боли, все повторял про себя: «Ну и негодяй!» Однако сейчас Хасан готов был вынести и не такое, лишь бы удалось уйти, одурачить торжествующих врагов, подвергших его унизительному позору. Одурачить их и хоть одним глазом подсмотреть, как они при этом будут выглядеть!..

Хасана тем временем подстерегала еще одна нежданная неприятность, которая любого другого на его месте сломила бы вконец... Страдая от унижения, он тем не менее не раз с чувством, близким к радости, думал, что, слава аллаху, Муумина, эта наивная, славная девушка, которой свет еще представляется в радужных красках, не видела его позора, не видела, как зло могут глумиться люди, подчинившиеся воле сильного, не видела, как

бесноватая толпа с гиканьем кружилась вокруг него, забрасывала грязью...

Едва осел вошел во двор Исмаила и отвязанный Саидом Хасан малость пришел в себя, перед ним словно из-под земли вырос Ибрахим-бей.

— Ну, что скажет нам пленник? — злорадно полюбопытствовал он.— Надеюсь, твои люди теперь откажутся от тебя, если у них, конечно, есть головы на плечах. После такого позора ты уже не сможешь быть им полезным.— И, обернувшись к хозяину дома, добавил: — Что, Исмаил, может, отпустим его?

— Вытолкайте со двора, под зад коленом! — приказал своим людям Исмаил.— Пусть убирается на все четыре стороны. С человеком, перенесшим такой позор и оставшимся после этого жить, я словом не перемолвлюсь. Другой размозжил бы себе голову о стену, а он даже на это не способен!

— Никуда я отсюда не пойду! — твердо проговорил Хасан. Он понял, что его решили уничтожить — выведут за околицу и прикончат.

— Еще как пойдешь! Чего тебе здесь делать? Мне ты не нужен! — Губы Исмаила зло скривились.

— Тебе не нужен, может пригожусь турецкому эпсуру [1].

Ибрахим-бей довольно улыбнулся,— мол, вот как спесь сбивают.

— Почисть-ка мои сапоги! — приказал он.

Хасан с подчеркнутой готовностью, поспешно вышел на террасу, отыскал сапоги, начистил их до блеска и вернулся в дом. Ибрахим-бей выставил ногу,— надевай, мол. Ничего не поделаешь, Хасану пришлось и с этим смириться. Но едва он стал натягивать сапог, турок вдруг принялся неистово бить Хасана этим самым сапогом прямо в лицо, в живот... Бил и все приговаривал:

— Будешь еще хватать турецкого офицера за горло? Будешь?..

Хасан упал, изо рта его хлынула кровь, он застонал. А перед глазами вдруг возник отец, амузгинский кузнец Ибадаг. Ибадаг — это значит пророк. И он был пророком. В своем деле отец был искусней всех других мастеров. Он ковал особой прочности сабельные лезвия с

---

[1] Эпсур — офицер.

чеканным изображением змеи на них, ковал и лезвия для кинжалов со звездой и полумесяцем. И не случайно, когда Ибадаг работал, сын — тогда еще юноша — всегда был при нем: сидя в седле на коне, он ждал мгновения, когда можно схватить раскаленную саблю за рукоять и умчаться, размахивая ею изо всех сил,— это придавало стали особую прочность.

«Хорошо, что отец не дожил до моего позора!» — подумалось Хасану... Пересиливая боль, он попытался подняться. В это время распахнулась дверь, и вернувшиеся из Куймура Аждар с Мирзой втолкнули в комнату девушку. Хасан встал. Не поверив глазам своим, он встряхнул головой. Перед ним была Муумина. Она бросилась к нему со слезами:

— Хасан! Хасан! Я же звала тебя! Почему ты не пришел?.. Они били меня! Спаси!..

Хасан еле держался на ногах.

— Муумина!..

О, если бы кто-нибудь видел лицо Хасана из Амузги в этот миг! Что только не пережил он. И стыд, и страх за это безвинное существо!.. Все перепуталось в нем.

— Хасан!

— Это еще что! — вскочив с места, подлетел к растерянным Аждару и Мирзе Исмаил.— Зачем вы привели сюда эту девчонку? И где то, что я от вас ждал?..

— Вот затем... мы и привели ее,— забормотали прислужники.— Она знает, где коран, но не говорит, уважаемый Исмаил.

— Кто она?

— Дочь одного куймурского слепца.

Исмаил рванул Муумину за руку. Девушка, жавшаяся к Хасану, не удержалась на ногах, отлетела и повалилась на тахту. И, тут же вскочив, взмолилась:

— Что вы хотите от меня? Я ничего не знаю. Никакого корана и в глаза не видала! Отпустите, люди добрые! — Муумина бросилась в ноги Ибрахим-бею:— Отпустите меня! Дома слепой отец. Он совсем один, пропадет без моей помощи.

Ибрахим-бей поднял девушку, утер своим платком слезы на ее щеках и сладострастно воззрился на трепещущее от страха создание.

— Я и подумать не мог, что в этих суровых горах

водятся такие чудесные цветы! — Турок крутанул ус и добавил: — Это же сама гурия, суженая праведнику в раю после смерти! И откуда она такая взялась?

— Наш край не столь скуден, как тебе кажется, уважаемый Ибрахим-бей,— подобострастно склонился перед гостем Исмаил.— Что, нравится?

— Еще бы. Она достойна украсить гарем могущественного султана. Хвала ей!

— Что ж, по нашему обычаю, все, что ласкает глаз кунаку, принято дарить ему. Так тому и быть! Вот только вытянем из нее, где упрятана святая книга!..

Исмаил говорил, а сам торжествующе поглядывал на Хасана. Наконец-то этот человек покорен и к тому же, конечно, страдает из-за девушки. Это-то Исмаил понял сразу, и сейчас он с удовольствием делал свое любимое дело — добивал жертву.

— ...Валлах-биллах[1], эта девушка очень даже мила,— сказал он с похотливой ухмылочкой.— Ну, дочь моя, скажи, где находится коран с медной застежкой, и мы отпустим тебя...

— Не говори, Муумина! — крикнул Хасан. И голос его звучал так, словно требовал: «Умри, но молчи», а лицо выражало только одно: «Что будет, что будет с бедной девушкой?!»

— Уведите его! — приказал Исмаил.— Да смотрите в оба, чтоб не сбежал, он еще понадобится мне для потехи. А ты, Саид Хелли-Пенжи, останься здесь!

Хасан побледнел. Последнюю надежду на помощь он связывал с Саидом...

Аждар и Мирза вывели Хасана. Во дворе Хасан увидел своего белого коня: оседланный, со свисшей на землю уздечкой, словно бы только прискакал. Оно и верно. Бедный конь три дня искал хозяина, ждал его на окраине села. А как-то ночью еле спасся от волков и вот наконец забрел сюда.

Узнав хозяина, конь радостно заржал и стал отчаянно бить копытом о землю.

— Дайте с конем попрощаться,— сказал Хасан, зло глянув на Исмаиловых слуг. Он простить себе не мог, что в свое время не прикончил этих головорезов.

---

[1] Валлах-биллах — ей-богу.

— Иди, иди! — подтолкнул его Аждар.

— Пусть попрощается, видишь, конь как жалобно смотрит,— посочувствовал Мирза.

— Ну, ладно. Прощайся.

Хасан из Амузги подошел к коню. Тот заржал еще радостней и еще сильней забил копытом о землю. Хасан погладил его по шее, незаметно огляделся по сторонам и... «Другого такого случая не представится,— решил он,— терять нам с тобой нечего, мой верный друг, надо рискнуть!..» В мгновение ока Хасан взлетел в седло, на ходу рванул у турка-стражника винтовку и ураганным вихрем унесся в открытые ворота.

И такое тут поднялось, словами не передать. Началась пальба со всех сторон. Неистово ревел Исмаил. Готовый рвать на себе волосы, он что есть силы поочередно хлестал плетью то Аждара, то Мирзу, оставляя на их лицах кровавые рубцы. Похожий на разъяренного буйвола, Исмаил ничем не мог унять свой гнев. В его глубоко затаившиеся зрачки, не умеющие, как говорят горцы, улыбаться, выплеснулась вся необузданная жестокость убогой души.

— Стреляйте же! — кричал он.— Холодные кишки мертвой овцы! Всех по одному перебью! Во что бы то ни стало. Живым или мертвым приведите его ко мне, чтоб род ваш передох! Негодяи!

Выхватив из кобуры маузер, Исмаил разрядил его в Аждара. Мирза тем временем успел вскочить на коня и умчаться вслед за беглецом...

Хасан из Амузги держал путь в сторону водопада, к лесу, где, по словам Саида Хелли-Пенжи, были сыновья Абу-Супьяна. А погоня все ближе и ближе. Стреляют уже совсем рядом. И вдруг из лесу тоже раздались выстрелы. Хасан оглянулся и удивился: преследователи один за другим слетали с коней, ряды их редели. Вот уже только один продолжает погоню. Хасан разглядел — это Мирза. На скаку он выстрелил в Хасана. Пуля прожужжала над ухом. Хасан обернулся, прицелился и дал ответный выстрел. Мирза, словно бы напоролся на что-то, откинулся, слетел с коня, прокатился по земле и успокоился в выжженной солнцем траве, широко раски-

нув руки... А в лесу Хасана встретили друзья. И он, будто только и ждал этого мига, чтобы наконец расслабиться, потерял сознание. Его отвезли в Агач-аул, в саклю Мустафы, куда в тот же день прибыли посланцы комиссара Али-Баганда — его брат Муртуз-Али и Умар из Адага.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

КОВАРСТВО БЕЗ ЛЮБВИ

Побег Хасана из Амузги надолго вывел Исмаила из равновесия.

А Саид Хелли-Пенжи был и рад и не рад. Радовался он тому, что не оказался рядом с Исмаилом в минуту, когда гнев того достиг предела,— продырявил бы, как Аждара. А огорчало Саида то, что побегом своим Хасан из Амузги был обязан не ему, Саиду, и потому он опять же не избавлен от страха, что сыновья Абу-Супьяна рано или поздно расправятся с ним. Голова шла кругом, что предпринять. Не зря говорят горцы, что человек только тогда ощущает всю сладость жизни, когда над ним нависает угроза расставанья с ней. И Саид подумал о девушке из Куймура. Вот за чье спасение Хасан избавит его от страха!.. По приказу хозяина она заперта в дальней угловой комнатушке нижнего этажа. Саид сам ее запер, еще тогда, в суматохе, когда бежал Хасан...

Целый день Исмаил не находил себе места, ломал в злобе пальцы, поносил кого мог и в душе больше всех упрекал себя в том, что сразу не удушил большевика, послушался этого турка, который вообще-то изрядно ему надоел. Исмаил уже чувствовал, что Ибрахим-бей постепенно ведет себя в его доме совсем как хозяин. Кунак бывает кунаком три дня, говорят горцы. «А эту упрямую девчонку,— решил Исмаил,— я задержу у себя, будет приманкой для Хасана. Пока она здесь, он непременно объявится».

Солнце еще не скатилось за горы, когда к Ибрахимбею прибыл гонец от командующего всеми вооруженными силами Дагестана — так называл себя некий Хакки-паша. Гонец передал приказ, которым Ибрахим-бею

предписывалось на рассвете вместе с отрядом Исмаила выступить с юга на Шамиль-Калу[1] и изгнать оттуда бичераховцев.

— Слава аллаху,— воскликнул Ибрахим-бей,— наконец-то нам предстоит настоящее ратное дело! Слышишь, Исмаил, завтра выступаем на Шамиль-Калу, твои люди должны быть готовы.

— Я прикажу племяннику...

— Вели, чтобы всех хорошо накормили! Бой предстоит серьезный... Солдаты Бичерахова — это тебе не босые большевики с кинжалами. Они хорошо вооружены и испытаны в боях.

— Тем ожесточеннее мои люди будут воевать с ними. Объявим, что вся добыча им, и они пойдут в огонь и воду. Захватим город и дадим людям право сутки делать все, что захотят...

— А сегодня я бы предпочел отдохнуть. Надеюсь, что предоставишь мне возможность скоротать ночь с райской пташкой? — ухмыльнулся Ибрахим-бей.

— Имеешь в виду эту куймурскую красотку?

— Кого же еще?

— Что ж, давай. Но только не вздумай прикончить ее к рассвету, как некий падишах из сказки. Она еще мне нужна, с ней связана тайна.

— Может, мне попробовать потянуть ее за язык?..

— Это я сделаю сам.— И Исмаил кликнул Саида Хелли-Пенжи.— Где девушка? — спросил он, когда тот вошел.

— Там в угловой, внизу.

— Покорми ее и дай кувшин воды, а дочери моей скажи, чтоб приодела девчонку. Как стемнеет, отведешь ее в тавхану[2]!

— Хорошо! — почтительно сказал Саид. Он понял, что девушке грозит бесчестье, а в таком случае ему не с чем будет предстать перед Хасаном из Амузги и вряд ли тогда удастся выскользнуть из рук сыновей Абу-Супьяна...

— Прости, что я тогда погорячился, ты, оказывается, достоин уважения. Я, может, и в самом деле женю тебя

---

[1] Так турки называли город Порт-Петровск.
[2] Т а в х а н а — гостиная.

на своей дочери...— Исмаил испытующе посмотрел в глаза Саиду.

«А почему бы мне и правда не жениться на пухленькой розовощекой дочери этого богатея? — подумалось Саиду. Но он тотчас отогнал эту мысль.— Э, нет, такой хомут не по моей шее, уважаемый Исмаил. Это похуже, чем водить по аулу осла с привязанным на нем человеком. Ты хитер, но не думай, что у других головы набиты соломой. Поживи, еще услышишь обо мне, дорогой тестюшка». Саид Хелли-Пенжи отнес девушке поесть и заодно повстречался с той, что хозяин прочил ему в жены, со старшей дочерью Исмаила. И только тут Саид приметил, что она хоть и молода да румяна, а раскосая: один глаз, как говорят горцы, смотрит на море, другой в горы.

Саида неожиданно пронзила дерзкая мысль, от которой он чуть было не бросился в пляс: проникновенно посмотрев на зардевшуюся хозяйскую дочку, он зашептал ей в ухо:

— Подыщи во что бы нам переодеть пленницу и, как стемнеет, принеси в угловую комнату. Я там буду ждать тебя,— Саид многозначительно подмигнул девице. Она с готовностью опустила ресницы в знак согласия. Саид уже казался ей почти женихом. Девушка конечно же подслушала слова, сказанные отцом, и в душе не без радости согласилась с такой своей участью, сожалея только о том, что не тотчас все сделается. А ей ой как не терпелось стать женой этого пригожего парня. Саид пожал локоток своей предполагаемой невесты, и она, смущенно прикрываясь уголком головного платка, убежала...

Саид Хелли-Пенжи вошел к Муумине, положил перед ней на табурет хлеб, кусок мяса и кувшин с водою. Муумина посмотрела на него с испугом и мольбой...

— Не бойся меня, поешь,— ласково сказал Саид.

— Они убили его? — со слезами на глазах спросила Муумина.

— Кого?— не сразу понял Саид.— Ах, Хасана? Нет. А тех, которые тебя сюда привезли, сегодня похоронили. Ты не тревожься, Хасан на воле и ждет тебя! Белый конь его спас. Дьявольский конь!

— Разве меня выпустят отсюда?

— Я помогу тебе,— сказал Саид, приложив палец к

губам, и как бы случайно спросил: — А ту книгу ты на самом деле нашла?

— Ничего я не находила...— настороженно посмотрев на Саида, ответила Муумина.— И не нужно мне никакой твоей помощи! Хасан сам спасет меня! Он же знает, что я здесь, у этих злых людей, обязательно спасет!

— Сегодня же ночью мы с тобой убежим отсюда!..

— Никуда я не убегу... — Она не могла верить человеку, который спрашивает о коране. Хасан ведь сказал ей, что об этой книге никому нельзя ни слова говорить. А этот спрашивает. Значит, тоже хочет обхитрить ее, выведать тайну...

Саид Хелли-Пенжи тем временем испугался, как бы упрямство этой девушки не расстроило его планов. Он не знал, как убедить ее, чтобы поверила и согласилась бежать. «Зачем я только заговорил о коране?!» — подосадовал Саид и снова повторил:

— Не бойся меня, поешь...

— Не хочу!

— Я принесу тебе мужскую одежду, ты переоденешься. Умеешь ездить на лошади?

— Да...

— Сегодня же ночью я обязан доставить тебя к Хасану. Я обещал ему!..

— Он просил тебя об этом? — уже с надеждой в голосе проговорила девушка.

— Да, просил.

— Это правда?

— Правда.

— Если ты обманешь, я убью тебя! — вдруг решительно сказала Муумина и, испугавшись своих слов, тут же поправилась: — Не я, конечно, но Хасан отомстит за меня!

— Согласен! Твой кинжал — моя шея. Идет?

— Ладно,— кивнула девушка.

— А теперь поешь. Голодная ведь...

— Очень,— и Муумина взяла хлеб...

Саид вышел.

Исмаил и Ибрахим-бей выстроили свои отряды на площади и проводили поверку. Тут же резали и освежевывали баранов, разжигали костры и варили в больших казанах мясо.

— В честь чего такой пир? — спросил Саид, подходя к одному из костров.

— И сам не понимаю,— сказал человек, разделывавший барана. — В бой надо голодных гнать, злее будут, а они зачем-то решили накормить людей.

— В какой бой?

— Завтра на рассвете выступаем на Шамиль-Калу, будем выбивать оттуда англичан. Потому сегодня и будет пир. Скряга Исмаил зря не расщедрится.

— А что ему жалеть? Столько добра, на десять жизней хватит,— пожал плечами Саид Хелли-Пенжи.

— Ну, раньше, бывало, у него огня не выпросишь очаг запалить. Может, так и надо, может, это мы бережливость и расчетливость называем скупостью? Не знаю... Жизнь стала какая-то непонятная, все в ней кипит, как в котле. Где правый, а где неправый, не поймешь... Все говорят, дело идет к лучшему. А если завтра мне голову снесут, на черта мне тогда это лучшее?

— Зачем же в таком случае ты идешь туда, где сносят головы?

— Что делать-то, когда голод из дому гонит, а нагота в дом. Долг я Исмаилу плачу — дал он мне три барана, прирезал я их, семью обеспечил, сыты будут, а я, если жив останусь, коня получу. Вот затем и иду, куда денешься. Каждому свое, а луковице слезы подавай.

— Незавидная доля, ничего не скажешь.

— Твоя-то завиднее? В холуях ходишь!

— Все мы холуи у времени, все на службе у обстоятельств.

— Вот я все и думаю, зря погибать не хочется. Знать бы, за что жизнь отдаешь? За три овцы вроде маловато. Съедят их мои домочадцы и снова станут бедствовать, особенно если меня не будет... Ясно хочется знать, чем все это кончится, есть ли надежда, что моей семье когда-нибудь станет лучше. Если бы верил в такое, и минуты не жалел бы свою жизнь...

— Подавайся тогда к большевикам, у них, говорят, все ясно... — поджав губы процедил Саид Хелли-Пенжи.

— Да я и то думал. Пошел даже с ними весной. А вон как получилось, и лошадь потерял, и самого ранили... Землю они раздали всем, и мне досталось. Последние штаны продал, посеял. А большевики вдруг взяли да и

ушли. Хозяин земли вернулся, и урожай теперь ему собирать... Вот чем все это кончилось. Нищему и подвиг совершить трудно.

— Д-да, горькая у тебя судьба.

— Хуже не придумаешь. И ничего, по-моему, у нас не выйдет, пока один тянет туда, другой сюда, а третий еще куда-то, в другую сторону... Если бы все к одному шли, всем миром, тогда, может, и получилось бы.

— Вот ты и обрел ясный смысл, за это и борись! — ухмыльнулся Саид Хелли-Пенжи и зашагал вперед, к Исмаилу, увидев, как тот, заложив руки назад, важно расхаживает перед своими наемными людьми, объясняя им что-то значительное, верно уговаривал, как без размышлений надо сложить голову за Порт-Петровск.

Подойдя поближе, Саид услыхал, о чем речь.

— ...Сегодня наш враг бичераховцы, чтоб их род передох! И мы будем их бить, как били всех, кто приходил к нам в горы с оружием! — говорил Исмаил с таким видом, будто он самолично не раз отражал нашествия многих иноземных армий.

В азарте он схватился за саблю, не свою, правда, а чужую, неизвестно как у него оказавшуюся (на ней была надпись: «Его В. Г. И. Всероссийский Николай I всемилостивейше пожаловал сию саблю Абу-Султану в 1829 г.»). Хотел Исмаил своей лихостью похвалиться, помахать над головами у людей, да сабля, оказалось, заржавела — лезвие осталось в ножнах, и только рукоять была зажата в поднятом кулаке. Исмаил побагровел от досады, а турецкий офицер с трудом удержался, чтобы не рассмеяться, только улыбнулся и глазами словно бы сказал: «Ну и дурак, только опозорился». Но это уже скорее просто показалось Исмаилу.

Сумерки сгустились, люди стали расходиться. Исмаил вернулся в дом вместе со своим кунаком и Саидом Хелли-Пенжи. Жена Исмаила приготовила добрый ужин — и пироги мясные, и пироги с тыквой, и плов с черносливом. Непривычная щедрость мужа, видно, передалась и ей, а может, она просто умнее и, понимая, что затея мужа ни к чему не приведет, решила, пусть, мол, добро в дело пойдет.

Саид Хелли-Пенжи не стал мешать беседе двух «военачальников». Улучив момент, он сходил к Муумине, передал ей добытую раскосенькой Зейнаб мужскую одежду и велел, чтобы была готова. На обратном пути на балконе он снова столкнулся со своей «невестой», разодетой в новое платье — это мать ей сшила из ткани, подаренной Ибрахим-беем. Саид ущипнул ее, попытался обнять, она кокетливо повела плечами и ласково глянула на него, видишь, мол, я созрела, можешь сорвать меня, вкусную, спелую ягодку.

А в доме за ужином Исмаил уже совсем разошелся, выпил изрядно огненной воды, заодно и турка щедро угостил да все приговаривал:

— Пей, тебе сегодня предстоит нежить райскую птицу.

Он вроде бы завидовал турку и в душе упрекал себя, что уступил ему девушку. Она ведь из Куймура, славного красавицами, которым нет равных в нежности и белотелости лилейно-стройных станов.

Саид Хелли-Пенжи не зашел в дом. Он потянул за собой Зейнаб. Она для видимости засопротивлялась, но тут же и подалась. Саид увел ее под лестницу... Девица вся горела от предвкушения чего-то необычного — мужские руки касались ее впервые. Полная нетерпения, она вдруг спросила: «Что ты хочешь?» «Что я хочу?» — призадумался Саид Хелли-Пенжи. На миг ему стало жаль ее. Но только на миг. Такая уж у него натура — с легкостью делать дурное. Девчонка глупа и доверчива, ластится словно кошка, грех не воспользоваться этим. Саид прижал Зейнаб к груди. Стал целовать. Она попыталась высвободиться, но лишь для виду, а губами тоже тянулась к нему. Тянулась и горячо шептала:

— Нельзя ведь до свадьбы! Стыдно...

— Ничего, сыграем и свадьбу. Ты уже мне жена и должна сегодня быть моей.

— Ой, что ты! — забилась у него в руках Зейнаб.— Давай подождем до свадьбы...

— Сегодня или никогда! — Саид, чтобы подзадорить ее, даже отстранился.— Не хочешь сейчас, а завтра меня, может, и вовсе не будет. Убьют или убегу. Ищи тогда себе мужа.

— Нет, нет! Тебя не убьют. Ты нужен мне. Ты оста-

нешься. Я...— Щеки у девушки запылали, она робко опустила ресницы.

— Пуля не спрашивает, нужен я тебе или нет. Зато если ты сегодня станешь моей, я уж точно знаю, что останусь тогда живым и вернусь к тебе.

— Но я хоть маме скажу!..— наивно проговорила Зейнаб.

— Да, да, иди! И отцу заодно скажи, дурища!— зло буркнул Саид.

— Ты не сердись. Ты... Ну хорошо!— с трудом вымолвила Зейнаб.

— Я сейчас отведу тебя в ту комнату, в тавхану. Жди меня там, как совсем стемнеет, приду.

— Но там спит наш гость?..

— Сегодня ему не до сна — завтра на рассвете выступаем в бой. У них с твоим отцом много дел. Поняла?

— Да. Но я боюсь...

— Не бойся, я буду с тобой.— И он потянул ее в тавхану. Усадил там на диван и ласково сказал: — Ты поплачь. Говорят, слезы девушки обернутся ей в радость, когда станет женой.

— Мне не хочется плакать, я сегодня такая счастливая!— Зейнаб прижалась к Саиду.

А он про себя подумал: «Ничего, еще поплачешь!» И собрался уходить.

— Ты скоро придешь?

— Скоро.

— Я буду ждать! А ты любишь меня? Ну ладно, не говори, я знаю... Только почему ты сердитый...

Саид Хелли-Пенжи уже не слушал ее. Он вышел, закрыл дверь, зажал ключ в кулаке и спустился с лестницы. Навстречу ему вывалились хмельные Исмаил и Ибрахим-бей.

— Ну я пошел, хи-хи!— многозначительно хмыкнул Ибрахим-бей, обнимая за плечи Исмаила.

— Эй ты, Саид Хелли-Пенжи!— крикнул Исмаил заплетающимся языком.— Отведи к нему эту стерву, чтоб род ее передох.

— Она уже в тавхане!— ответил Саид. Голос его дрогнул. «Не помешал бы мне этот пьянчуга сотворить задуманное».

— Какой предусмотрительный!— удивился Исмаил.—

Молодец! А теперь на коня и проверь все посты! Понял? Потом доложишь мне! — Исмаил широко зевнул и, пошатываясь, направился к себе...

— Уважаемый Исмаил, разреши мне еще кого-нибудь прихватить с собой. Небезопасно одному...

— Возьми любого! — И Исмаил ушел. Ему свят свой очаг, а до горестей других дела нет.

Саид Хелли-Пенжи, предупредительно провожая Ибрахим-бея, шепнул ему:

— Ты огня не зажигай. Она уже там. Со светом хуже. Да действуй посмелее. Будет плакать, рваться, не обращай внимания...

— Не учи меня... Когда ты этим делам обучаться ехал, я с учебы возвращался. Иншаллах! — расхохотался турок, потирая руки в предвкушении удовольствия.

— Тихо ты... Не испугай райскую птичку... — Саид подвел турка к двери, отпер ее, втолкнул к бедной, охваченной трепетным ожиданием Зейнаб и, закрыв дверь на ключ, одним махом сбежал во двор. Вывел двух заранее оседланных лошадей и сходил за Мууминой. Переодетая, она ждала его. Саид помог девушке сесть в седло и, приказав ей не отставать, направил своего коня в сторону выхода к морю. Первый встреченный постовой, ничего не заподозрив, пожелал им провести ночь без неприятных приключений и, сказав, чтобы проверили и самые дальние посты, пришпорил коня. Саид тоже рванул.

За ним следовала Муумина. Постовых Саид Хелли-Пенжи боялся меньше всего. Не встретить бы сыновей Абу-Супьяна, уж они-то не дадут ему исполнить задуманное. Раб своих инстинктов, Саид Хелли-Пенжи был способен и на добро и на зло. Все зависело от того, какие порывы двигали его изменчивой душой в ту или иную минуту, с какой силой воздействовали на струны его сердца удары желаний.

КОГДА СМЕЕТСЯ СУДЬБА

Исмаил, не раздеваясь, повалился на тахту и уснул. Встревоженная тем, что куда-то задевалась старшая дочь, которая и за плетень дворовый не часто выходила, жена Исмаила тщетно пыталась растолкать мужа, отправить его на поиски.

А Зейнаб между тем билась в лапах пьяного турка. Она сразу, едва тот подсел и протянул к ней руки, узнала, кто перед ней, и поняла, как жестоко обманул ее человек, которому она доверилась всем своим наивным девичьим сердцем. Зейнаб в ужасе рвалась, кричала, колотила кулачками в дверь, но все напрасно. Ибрахим-бей снова и снова бросал ее на тахту, она билась в его объятиях, как куропатка в когтях коршуна, до крови укусила его за руку, и тогда, озверев, он стал избивать ее. Зейнаб уже выбилась из сил и только жалобно стонала. Ее по-прежнему никто не слышал, а хоть бы и услышал, так едва ли пришел бы на помощь. Ведь все знали, что к турку на ночь должны привести бедную пленницу, вот бы и подумали, что это она кричит...

Зейнаб охрипла, свернулась как котенок и горько плакала. Турок тоже устал. Сердце тяжело ухало, на висках надулись вены, как-никак, а ему уж без малого пятьдесят... Убедившись, что девушка обессилела и сопротивляться, пожалуй, больше не будет, он разделся, подложил под голову подушку, лег рядом с ней, обнял за плечи и затих, выжидая, может, в ней проснется желание. А она вдруг отпрянула, снова вскочила, подбежала к двери и закричала: «Откройте! Мама, спаси меня! Мама!» Но крика не получилось. Зейнаб задохнулась — Ибрахим-бей вскочил, рванул девушку к себе, разодрал на ней платье, отбросил его в сторону, содрал и шаровары, и несчастная Зейнаб, неумело прикрывая наготу, опустилась на пол. Он поднял ее... и стал неистово целовать, потом понес на тахту и уложил, она еще билась у него в руках, но это были ее последние усилия, потом все задавило потное грубое мужское тело, волосатая грудь и руки...

Зейнаб больше не сопротивлялась, она стонала в беспамятстве. А он... огорошенный своей мужской беспомощностью, злой как зверь, юлой вертелся над целомудренным девичьим телом, осыпал жадными сладострастными поцелуями ее налитые нетронутые груди, шею, плечи, пока наконец не откинулся на спину и не забылся тяжелым сном...

Жена Исмаила, которая все еще тормошила мужа с лампой в руке, вдруг прислушалась к крику пленницы, что доносился из тавханы, и голос на миг показался ей

знакомым. Но она и в мыслях не могла допустить, что это может быть ее Зейнаб, что благовоспитанный турецкий офицер, который не ровня ее неотесанному мужу, способен на такое в доме хозяина. На ее месте никакой другой матери тоже не пришло бы в голову, что гость может допустить такое вероломство.

Исмаил наконец встряхнул голову, как лошадь на водопое, с трудом открыл глаза и приподнялся:

— Что такое, что случилось?

— «Что случилось»,— передразнила его жена.— Тебя и пушечным выстрелом не разбудишь. И это в такое время, когда надо спать одним глазом, а другой чтоб бодрствовал. Дочь наша старшая потерялась, вот что случилось... Зейнаб не вернулась...

— И из-за этого ты меня разбудила, такой сон перебила, чтоб твой род передох! — И он уже снова хотел повернуться на другой бок, да жена ему не дала:

— Пойми ты наконец, пропала Зейнаб. Домой не вернулась, понимаешь?

— Куда она могла деться? — Тревога жены постепенно передавалась и ему.

— Жду, а ее нет.

— Куда она ушла?

— Если бы я знала!

— Может, у какой-нибудь подруги заночевала?..

— Да что ты говоришь? Какая еще подруга! Ты же знаешь, что она и за ворота не часто выходит. Да и нет у нее подруг!

— А может быть, может быть...

— Что может быть, говори же толком?

— Откуда я знаю, что может быть с твоими дочерьми, родила бы сыновей, не пришлось бы тревожиться.

— Да она же не только моя, но и твоя дочь, пойми ты!..— Женщина заплакала, поставила лампу на каминную полочку и села на тахту.

— Может, она любовь с кем крутит? Неудивительно, парней кругом полно, а она уж в возраст вошла... — Исмаил, видно, и сам испугался своего предположения. Он вдруг схватился за голову: — Не дай бог такого позора, я ведь обещал отдать ее за Саида Хелли-Пенжи...

— Я уж ходила к нему,— сказала жена,— но его и самого нет.

— Похитил? Но зачем похищать, если я обещал отдать ему Зейнаб. Непонятно... Что-то здесь не то...

Первая от ужаса вскрикнула жена Исмаила. Небывалый страх охватил и его. Он оцепенел, не мог с места двинуться: через окно в комнату впрыгнул Хасан из Амузги с наганами в обеих руках, а за ним сын Али-Шейха Мустафа, брат комиссара Али-Баганда Муртуз-Али и Умар из Адага.

— Тихо, без шума,— приказал Хасан из Амузги,— не то продырявим вас обоих насквозь! И отправитесь вы в рай, ходить голыми и есть райские яблочки...

— Я не ты, смерти не боюсь! — вдруг осмелев, закричал Исмаил.— Ах, жаль, поверил турку, не уничтожил тебя!

— Я кому сказал, тихо! Мне не до шуток! Где Муумина? Ты знай, Хасан из Амузги дважды кинжала из ножен не вынимает! Где Муумина?..

Едва придя в сознание в доме Али-Шейха, Хасан из Амузги заговорил только об одном, о том, что надо спасать Муумину. К счастью, на подмогу к нему прибыли от комиссара верные люди. Не открывая своих чувств, Хасан из Амузги сослался на то, что, мол, с именем этой девушки связана тайна исчезнувшего корана, и люди комиссара, не задумываясь, последовали за Хасаном...

К дому Исмаила они подошли со стороны крутого песчаного косогора, откуда никто никого ждать не мог. Стоявших на посту двух турок сняли без звука: закололи кинжалами. Подставили лестницу и подобрались к окну. А все эти ходы Хасан из Амузги запомнил, еще когда его водили на позор вокруг дома, приметил он и лестницу в огороде...

Хасан торопил друзей, боялся опоздать, он-то знал, что Муумину ждет насилие. Душа у него горела от боли. «Неужели не поспею?— твердил он себе.— А еще хвалился, что спасу ее от всех бед!» Как назло, так долго молчит этот готовый лопнуть от страха каникус. Хасан притянул его к себе, встряхнул за грудки:

— Я тебя спрашиваю, где девушка?

— Она!.. Она!.. — Как он мог сказать, где она? Но сказать надо. Эти люди не отстанут... — Она у Ибрахим-бея...

— Где?— вырвался крик у Хасана из Амузги.

— В тавхане!

— Веди меня туда. Да живо! Ты, Умар из Адага, останься здесь, остальные со мной! — И, подталкивая дрожащего Исмаила, Хасан вышел на балкон.— Скорее!

Он прижал к спине Исмаила дуло не знавшего осечки нагана.

Исмаил, поначалу на миг расхрабрившийся, только теперь по-настоящему оценив свое положение, потерял дар речи от страха. Он знал, что Хасан из Амузги явится за девушкой, знал, но не предполагал, что это случится так скоро, а потому не принял мер предосторожности, и теперь вот получай... Он послушно подвел непрошеных пришельцев к тавхане. Хасан из Амузги рванул к себе дверь, но она была заперта.

— Открывай! — закричал он.

— Изнутри, наверно, заперся! — проговорил Исмаил.

— Разбуди этого негодяя и вели, чтоб открыл. Только без шума, иначе рассвета ты не увидишь...

Исмаил подошел к двери и стал стучаться, тихо звать Ибрахим-бея. Голос у Исмаила срывался. Турок слишком долго не откликался, и тогда нетерпеливо забарабанил кулаками Хасан из Амузги. Ясное дело, свершилось то, чего он больше всего боялся. «Ну, держитесь, мерзавцы! Не будет вам от меня пощады!» — подумал про себя Хасан, а сердце выстукивало: «Муумина. Муумина!»

За дверью послышалась наконец какая-то возня. Затем кто-то хриплым голосом, вроде бы женским, взмолился:

— Не прикасайся ко мне!

И только после того Ибрахим-бей спросил:

— Кто там?

— Это я, уважаемый Ибрахим-бей, Исмаил...

— Что случилось?

— Дело есть, неотложное. Открой!

— У меня нет ключа, твой слуга запер меня,— сказал Ибрахим-бей. Он тем временем крепко держал девушку, прикрыв ей ладонью рот, чтобы не кричала.

— Надо ломать дверь! — бросил Хасан.

— Дайте-ка я...— Мустафа сын Али-Шейха рванул изо всей силы за ручку, дверь слетела с петель, и они ворвались в комнату.

Увидев в лунном свете неизвестных вооруженных лю-

дей, Ибрахим-бей выпустил из рук девушку. Нагая, она бросилась на колени и зарыдала.

— Муумина! — крикнул Хасан из Амузги. Девушка вскочила, отбежала в угол и сжалась в комочек... Он подошел к ней: — Муумина!..

— Звери, звери, звери! Что вам нужно от меня?! — забившись в угол, вскричала девушка.

Это была не Муумина, это не ее голос, и лицо не ее. Тревога Хасана постепенно перешла в удивление, а удивление в недоумение.

— Это не она! — сказал Хасан из Амузги, обернувшись к Исмаилу, который стоял, как неживой, будто потолочная балка упала ему на голову и выбила всякое сознание.— Где Муумина?!

— Так это... же моя дочь?! Зейнаб! — он кинулся к ней, она вскочила и ударила отца кулачками в грудь.

— Ненавижу тебя! — крикнула Зейнаб и бросилась вон из комнаты. И на миг наступила такая тишина, словно в арык с лягушками бросили камень.

— Ты, ты, мерзавец! — вдруг, очнувшись от оцепенения, взревел Исмаил и с пеной у рта бросился к столь им уважаемому кунаку.— Это же моя дочь, это Зейнаб, моя дочь!

— Откуда я знал! — вырвалось у обалдевшего Ибрахим-бея, который, стоя в одном исподнем, в растерянности воздел к небу руки.

— Где Муумина?! — грозно подступил Хасан из Амузги к турку, оттолкнув хозяина дома. Его вдруг пронзила мысль: «Неужели они убили ее?»

— Ко мне привели вот эту девушку. Саид Хелли-Пенжи привел. Когда я вошел сюда, она уже сидела на тахте, была ночь, я не разглядел!..— виновато проговорил турок.

Исмаилу было от чего рвать на себе волосы, ломать пальцы, кататься по полу в отчаянном припадке горя. Такое вовек не забудешь. Он понял наконец, что пригрел у себя на груди змею и она же его ужалила.

— Зарежу! Сдеру шкуру, а кости перемелю и на ветер пущу! — кричал Исмаил в истерике.

Хасан из Амузги долго не мог понять, что же произошло. Только когда Исмаил наконец злорадно прорычал: «Твою Муумину увел Саид Хелли-Пенжи! Он увел ее.

Ха-ха-ха!» — только тогда до него дошел смысл всего случившегося, и теперь уже впору было смеяться Хасану из Амузги. Но он тут же заволновался, кто еще знает, как поступит с Мууминой этот Саид Хелли-Пенжи. От него тоже добра не жди.

— Надо торопиться! — сказал Хасан.

А турок тем временем выскочил в окно. Но стрелять ему вслед никто не стал. Не до него было.

— А этого мы возьмем с собой! — кивнул Хасан на Исмаила.— Вставай-ка!

— Не надо, лучше здесь его прикончим! — запротестовал Муртуз-Али.

— Мерзавцы, негодяи! Да чтоб род ваш передох, думаете, я вас боюсь? Все равно умирать, стреляйте! — рванув ворот рубахи, вскочил Исмаил.— Стреляй, Хасан из Амузги, будь проклято твое появление на свет!

— Э, нет! Ты еще, почтенный, скажи мне, где шкатулку спрятал?

— Будьте вы прокляты, не видал я никакой шкатулки...

— Видал, и сейчас же скажешь, где она!

— Неужели Саид Хелли-Пенжи и ее стащил? — неожиданно вырвалась у Исмаила пронзившая его мысль.

— Вот видишь, оказывается, шкатулка у тебя! А ну, быстро, веди туда, где она есть.

Исмаилу больше ничего не оставалось. Он послушно побрел в ту комнату, где его застали ночные гости. Открыв дверцы стенного шкафчика, Исмаил увидел пустую полку.

— Он, он, все... — Исмаил обмяк и рухнул как подкошенный.

Во дворе раздались выстрелы. Хасан из Амузги и его люди выскочили в окно и по заросшей травой тропе, благополучно миновав преграды, скрылись. А в ущелье их ждали кони.

Хасан из Амузги хотел верить в лучшее. Он надеялся, что Саид Хелли-Пенжи сотворил все случившееся с намерением спасти Муумину и этим оправдать себя перед ним, Хасаном, чтобы потом просить его о посредничестве в улаживании отношений с сыновьями Абу-Супьяна. Однако тревога не оставляла его. Что, если этот вероломнейший из людей захватил с собой и шкатулку, и Му-

умину, которая знает, где находится коран, и постарается выпытать у нее все и сам распорядится тайной. Тогда и нынешнее рискованное предприятие ничуть не приблизит их к цели. Высказать эту свою мысль друзьям Хасан не решился. Он, напротив, стал уверять, что Саид Хелли-Пенжи вот-вот самолично явится к нему.

КАК БЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ

Саид Хелли-Пенжи не ожидал такой удачи. Он уже далеко отъехал от талгинских мест и, слава аллаху, не встретился с сыновьями Абу-Супьяна. «Неужели все позади?» — не верил он себе. И вдруг холодный рассудок перевернул в нем все, о чем он думал: «Зачем мне теперь Хасан из Амузги». Коварная мысль все крепла и крепла в его сумбурной голове. Он уже строил новые планы. Радовало то, что он сумел перехитрить всех. Недаром турок повторял: «Хитрость — великое оружие». От намерения появиться с Муминой перед сыновьями Абу-Супьяна и перед Хасаном не осталось и следа. «Ведь если в тайнике золото, мне не страшны тогда ни сыновья Абу-Супьяна и ни этот дьявол Хасан из Амузги,— думал Саид Хелли-Пенжи.— Только бы завладеть содержимым тайника, а уж распорядиться им будет совсем просто. Возьму эту славную куймурскую девушку и уеду с ней в чужие дальние края, в Мисри — Египет, например. Пусть они тогда ищут меня...» И Саид погнал коня в сторону родного аула этой девушки.

— Мы едем к Хасану? — спросила Муумина. Ею все больше и больше одолевали тревога и сомнение. Тот ли это человек, за которого она его приняла? Не ошиблась ли, доверившись ему?..

— Да, к Хасану, он ждет нас! — солгал Саид Хелли-Пенжи.

— А я бы хотела проведать отца... Что там с ним, с бедным? — робко сказала Муумина, даже не подозревая, как это ее желание на руку Саиду.

— Так мы туда и едем. В Куймур. Уже к вечеру ты будешь у отца.

— А как же Хасан из Амузги?..

— Он тоже должен быть там. Так он мне говорил,—

еще с большей доверительностью сказал Саид Хелли-Пенжи.

А в душе он уже неотступно думал, как бы ему склонить девушку на свою сторону, как завоевать у нее расположение и доверие. Пока-то она вроде верит, но неизвестно, как еще поведет себя дальше?.. Да, он ехал с ней в Куймур. Ехал туда потому, что злополучный рукописный коран находится в том ауле.

У родника Саид остановил коня и спешился. Неподалеку молодой, в латаном бешмете, безоружный горец готовился к молитве. Он снял бешмет, расстелил его на траве, разулся, совершил омовение, после чего опустился на бешмет и, видимо вдруг позабыв, в какую сторону ему, правоверному, следует при этом обратить взор, спросил у Саида Хелли-Пенжи:

— Скажи, добрый человек, куда мне обратить взор при молитве, чтобы не ошибиться?

Саид Хелли-Пенжи вгляделся в него. Лицо этого человека показалось ему чем-то очень знакомым. Но вспомнить, кто он, Саид никак не мог. Да и мало ли людей, похожих друг на друга?

Человек повторил свой вопрос, и тогда Саид Хелли-Пенжи с усмешкой сказал:

— Чтобы не ошибиться, дорогой, обрати лучше свой взор туда, где ты разулся, туда, где лежит твоя обувь! Это я тебе по горькому опыту советую. Со мной бывало, когда обращал взоры к Каабе, неизвестно куда исчезала моя одежда, и мне приходилось продолжать путь босиком.

Незнакомец что-то недовольно буркнул, покачал головой и, может сам сообразив наконец, куда ему повернуться, быстро прочитал молитву, собрал свои вещи, перекинул через плечо хурджин и, тяжело опираясь на палку, зашагал дальше и скоро скрылся в лесу.

Стоял жаркий полдень, надо было напоить лошадей, да и самим немного передохнуть и успокоить во чреве голодного червя. Спешилась и Муумина, выглядевшая в своей чуть мешковатой мужской одежде прекрасным юношей.

Здесь было так хорошо в этот полуденный час! От речки веяло прохладой. Трава все еще зеленела, речка

чистая как слеза, полуразвалившаяся чаша родника, видно, совсем не присмотрена.

Похоже, что тропа теперь проходит очень далеко от этого родника, потому-то и решился Саид Хелли-Пенжи устроить здесь привал. Он достал из хурджина узелок, в который были завернуты зачерствевшие ломти чурека, брынза и небольшой кусок мяса: наверно, еще накануне вечером получил все на ужин, на всякий случай запасся, и вот пригодилось. Саид разложил весь припас на камне у родника, поглядел на девушку в мужском обличье, подставившую под холодную прозрачно-чистую струю, что стекала с берестяного желобка, свои не знавшие поцелуя губы.

— А тебе идет этот наряд,— заметил Саид Хелли-Пенжи,— к нему бы еще усы и саблю — совсем сошла бы за настоящего джигита. Брат у тебя есть?

— Нет.

— А сестра?

— Никого нет, кроме слепого, беспомощного отца. Он сейчас, наверное, голодный, без меня за ним некому присмотреть.

— Я тоже, Муумина, один на свете. Всех родных — только тетка-старуха, совсем бедная, живет в далеком ауле Нахка. Вот уж четыре года, как я не видал ее. Не знаю даже, жива ли, нет ли.

— Так почему же ты ее не проведаешь?

— Жизнь у меня такая. Совсем закрутила. Поехал добра искать по свету...

— И как, нашел?

— Пока нет. Но надежды не теряю. Верю, что не сегодня, так завтра найду. Вот тогда и обрадую свою тетку. Знаешь, я поклялся ей, что вернусь богатым и веселым.

— Да поможет тебе аллах!..

— Будем надеяться. А пока давай-ка присаживайся, перекуси.

— Не хочется мне...

— Дорога у нас с тобой еще долгая, обязательно надо поесть, чурек зачерствел, но его можно размочить водой.

— И неужели всегда так будет на свете? — то ли про

себя, то ли обращаясь к спутнику, проговорила Муумина.

— Что будет так?

— Жизнь. Неужели она всегда будет такая? Люди ненавидят друг друга, убивают, оскорбляют, унижают. И все больше бедных, беспомощных...

— Что и говорить, это ужасно... А ты хотела бы быть богатой, Муумина?

— Не знаю...

— Ну что бы тебе хотелось?

— Чтобы сбылась моя сказка.

— А ты, выходит, мечтательница? Только какие же сказки... Жизнь так завертела, не знаешь, куда податься.

— Все уже чуть не сбылось, но злые люди вдруг помешали!..

— Ты у отца одна, а я у тетки один. Мне бы ничего больше не хотелось, Муумина, вот только этот клочок земли, с этим родником, и чтобы никого вокруг не было... Ты и я... И привезли бы мы еще стариков да зажили, лучше некуда...

— О чем это ты? — удивленно и даже испуганно спросила Муумина.

Она посмотрела на него, и по губам ее невольно прошла тень презрительной улыбки: где ему выдержать сравнение с вечной мечтой Муумины, с белым всадником. Саиду стало не по себе от ее взгляда. Он невольно отвел глаза, а про себя подумал: «И чего я так робею перед этой девчонкой?»

— Спокойной жизни мне хочется! — проговорил он уже вслух.

А в душе Саид стал досадовать. Уж очень неподатлива эта куймурская красавица. Ни на чем с ней не поладишь, сразу настораживается и, словно еж, выпускает колючки. Ни про коран ни слова не выбьешь, ни от мыслей о Хасане не отвлечешь. Под личиной кажущейся сдержанности и покорности в этой дикарке таится великая решительность и готовность к действию, которые только ждут своего часа, чтобы выплеснуться наружу.

— Нам пора ехать! — сказала она и, вскочив на коня, медленно двинулась вперед.

— Постой, я сейчас! — Саид Хелли-Пенжи быстро все собрал, уложил в хурджин и нагнал ее.— Ты права. Нам

лучше засветло добраться до Куймура. И отца твоего поскорее обрадуем.

— Бедный, он, наверно, не знает, что и подумать обо мне, не ведает, как злодеи со мной обошлись!..

— А что, если и я окажусь злодеем? — вдруг выпалил Саид Хелли-Пенжи. Душа его полнилась противоречиями.

— Нет! Ты не можешь быть злодеем. Ты мне как брат. У меня ведь нет брата, а у тебя нет сестры...— очень искренне сказала Муумина и, посмотрев на него, добавила: — Если бы я не поверила тебе, ни за что бы не поехала.

— А все-таки я еду с тобой, а на уме у меня одно... Ну, да ладно, шайтан с ними, с моими мыслями! — Саид уже чуть было не раскрыл себя, подумал, пусть, мол, знает, чего я от нее хочу, но почему-то вдруг сдержался и, изо всех сил огрев плетью коня, рванулся вперед, за ним понесся и конь Муумины. Спустя немного Саид остановился и подождал, пока девушка подъехала к нему.

— Ты очень наивна, ты доверчива, ты... — он не договорил.

— Скажи! Скажи, брат мой, все, что ты думаешь, все, что у тебя на уме. Я знаю, те изверги хотели меня растерзать. Ты спас меня, но если тебе хочется моей смерти, если это даст тебе желанный покой и поможет встретиться с твоей старушкой теткой,— поступай как знаешь, как сердце тебе повелит!..

— Тебе известно, где книга с медной застежкой? — вместо ответа спросил Саид Хелли-Пенжи.

— Да, я ее спрятала,— гордо сказала Муумина.

— До сих пор ты утверждала, что ничего о ней не знаешь?

— Ну, а теперь вот сказала правду.

— Где же книга? — хмуро глянув на Муумину, промолвил Саид.

— Я ее спрятала.

— И ты знаешь тайну, связанную с ней?

— Тайны не знаю. Но знаю, что это очень мудрая книга, что в ней все-все написано. Написано, что человек рожден для счастья, что люди должны жить на земле, как братья, делать друг другу только приятное и доброе...

— Муумина, послушай!.. — И Саид рассказал ей о том, что случилось с ним в злополучную ночь у старой башни, близ Куймура...

— Эта шкатулка сейчас у меня,— закончил он.— В ней есть ключ, а от каких он замков, этот ключ, написано в той книге, которую ты спрятала... Вот и рассуди сама...

— Я понимаю тебя, ты спас меня, чтобы завладеть книгой...

— Чтобы завладеть тобой и тайной о том, где хранится богатство. Тогда мы оба станем богатыми, Муумина! И я увезу тебя в сказочный мир...

— Я уже сказала, Саид Хелли-Пенжи, поступай, как велит тебе сердце... — И впервые девушка пожалела, что не носила с собой нож, подаренный ей Хасаном из Амузги.

— Скажи, где ты спрятала книгу?

— Нет, этого я тебе никогда не скажу! — необычно суровым тоном проговорила она.

— Почему?

— Потому что белый всадник велел мне молчать! До этого запрета я не знала, что книга чем-то связана с именем Хасана и что в ней скрыта тайна. Теперь, когда я вижу, как все, и ты тоже, хотят завладеть книгой, я особенно поняла, как важно сохранить ее для Хасана... Будь по-твоему, брат мой, я понимаю, что ты обманешь меня, ну и что ж...— Она горько вздохнула.— Я беззащитна. Расправиться со мной куда легче, чем убить птицу.

— Разжалобить меня хочешь? «Брат мой»! — не без иронии сказал Саид, хотя слова, с которыми к нему никогда и никто не обращался, отозвались в его душе невольным теплом. Но Саид не дал себе расслабиться. В глазах его вспыхнули злые огоньки.

— Я заставлю тебя сказать, где ты спрятала книгу! — и он взмахнул плетью над ее головой...

Муумина глазом не повела. Она смело и гордо смотрела ему в лицо и готова была на смерть. И вдруг как гром прогремел.

— Не тронь! — раздался чей-то грозный голос, и откуда ни возьмись из зарослей выскочили с разных сторон четыре всадника. Огорошенный неожиданным окриком,

Саид Хелли-Пенжи медленно опустил руку с плетью. Будь он мудрее, ему бы не следовало забывать, что смерть идет за ним по пятам.

Перед ним предстали сыновья Абу-Супьяна. Саид даже не потянулся к оружию, застыл на коне как изваяние, угрюмо насупившись, опустил голову и положил обе руки на переднюю луку.

Муумина ничего не понимала. Кто эти люди? Какие-то новые злодеи? Лесные братья — качаги?..

— Вот и настал твой час, Саид Хелли-Пенжи! — послышался глухой голос, будто донесшийся откуда-то из неведомой дали.

— Братья! — заговорил один из четырех всадников, тот, что помоложе других — почти юноша. Сейчас он очень походил на Муумину в ее мужском одеянии... — Братья мои, я младший из вас, знаю, ваш гнев не меньше моего, но позвольте мне сразиться с врагом нашего рода один на один! Прошу!..

— Самому младшему — последнее слово, таков наш обычай, и не нам его нарушать. Я — старший. И после смерти отца все его долги на земле первым платить мне. С убийцей отца рассчитаюсь я! Слезай с коня, Саид Хелли-Пенжи, вызываю тебя на кинжальный бой! — Назвавшийся старшим легко и пружинисто спешился, отложил в сторону винтовку, отвязал пояс с пистолетом и кинжалом, вынул из ножен кинжал с блестящим лезвием и рукояткою слоновой кости... — Я жду тебя, храбрый против стариков и детей! — Под детьми он, как видно, подразумевал Муумину, приняв ее за юношу.

А Муумина между тем не могла глазам своим поверить, как вдруг изменился Саид Хелли-Пенжи. Лицо его сделалось саванно-белым. Он медленно сошел с коня и, не поднимая глаз, дрожащим голосом взмолился:

— Выслушайте меня, достойные сыны почтенного отца!..

— Хватит с нас. По горло сыты твоими лживыми речами, подлец! — вскричал один из братьев.

— Но перед смертью ведь каждому дается право сказать свое последнее слово?

— Говори, только покороче!

— Во-первых, сейчас вы застигли меня на том, что я выполняю задание Хасана из Амузги... — начал Саид

Хелли-Пенжи.— Это связано с тайной, ключ к которой он тщетно ищет. Я выкрал у коварного Исмаила шкатулку. Мне думается, в ней-то и скрыта разгадка тайны. Не случайно же Хасан из Амузги так просил меня добыть ее. Во-вторых, в руки к тому же Исмаилу каким-то образом попала девушка из Куймура по имени Муумина... — Он поднял голову и с мольбой посмотрел на Муумину, словно бы просил не предавать его. Братья тоже глянули на нее, только теперь поняв, что перед ними вовсе и не юноша.— Исмаил и Ибрахим-бей этой же ночью истерзали бы несчастную, но я спас ее...— продолжал Саид.— Между прочим, она невеста Хасана из Амузги.

Щеки у девушки загорелись, ее будто ожгло стыдом, хотя слышать такое для Муумины было очень приятно.

— ...Прошу вас, поверьте! Если не мне, то хотя бы девушке. Она подтвердит, что это я достал ей мужскую одежду и провел мимо всех Исмаиловых дозорных...

Муумина слушала его и думала, какой же у него змеиный язык. И ведь она чуть не доверилась такому извергу...

Братья не перебивали Саида, хотя с их лиц не сходила ироническая усмешка: мол, если надеешься и на сей раз ускользнуть, это не удастся.

А Саид немного пришел в себя и продолжал уже почти без страха:

— На мне долг — я обязан, как обещал, доставить к Хасану из Амузги шкатулку и эту вот девушку... — Он помолчал.

Лица братьев сделались грозными и угрюмыми. И Саида вдруг снова прошиб холодный пот. Воздев руки к небу, он грохнулся на колени и запричитал:

— Всемогущий аллах, ты один лишь свидетель, что я не убивал почтенного Абу-Супьяна. Вразуми их поверить мне!..

— Вставай, гнусное животное! Этими мольбами ты нас не разжалобишь. Поднимайся!

— Я же говорю вам истинную правду! Поверьте мне!

— Вставай и обнажи кинжал!

— Хорошо, пусть будет по-вашему. Никуда я от вас не денусь. От судьбы не уйдешь. Но прежде выслушайте, что скажет Хасан из Амузги...— И он так молил, что добрая Муумина вдруг пожалела его. Какой бы ни был, но

человек ведь! И конечно же ему тоже не хочется умирать... Она уж подумала, не попросить ли ей всадников сжалиться над ним?..

— Хасан из Амузги наш молочный брат,— сказал старший из братьев,— но в этом деле мы советуемся только со своей совестью.

— Вставай, пока мы не прикончили тебя, как ползучего гада! — Один из четверых хотел поднять его, но Саид подполз на четвереньках к коню Муумины.

— Что же ты молчишь? — вскричал он.— Скажи им, пусть пощадят меня до встречи с Хасаном, я рабом твоим буду. До встречи, а потом пусть...

— Что скажешь, сестра наша? — спросил старший, тот, что стоял с обнаженным кинжалом в руке.

— Что я могу сказать, братья мои? Если он на самом деле повинен в смерти вашего отца, он должен принять смерть! — Муумина посмотрела на Саида, лицо его исказил ужас.— Но он утверждает, что не убивал. Вдруг это так? Не берите на свои души грех. Пусть будет, как он просит. С присущим вам великодушием исполните его последнее желание, дайте встретиться с Хасаном из Амузги, может, это и вам принесет ясность...

— Что ж, быть по-твоему! — Братья поговорили между собой, после недолгих споров и пререканий они решили послушать совета девушки.— Могила нашего отца жаждет, чтобы мы окропили ее кровью наглого убийцы. Так оно и будет! А сейчас поехали!

ГНЕВ, РОЖДАЮЩИЙ БЕЗУМИЕ

Исмаил пришел в себя. На тахте рядом с ним, съежившись, сидела сломленная обрушившимся на них оскорблением его жена. Кто бы мог предположить, что этот изверг так трагически воспримет позор своей дочери. За несколько часов он постарел на десять лет. В уголках глаз углубились веером расползшиеся морщины, и в самих глазах-то вдруг появилось что-то человеческое! Как святыню оберегал он свой очаг и не задумывался, что вокруг рушится мир старых представлений и что эта разрушительная сила может коснуться и его очага. И вот порвалось звено в той цепи, что прочно сковывала его привычные взгляды...

А по комнате, скрипя сапогами, расхаживал готовый к походу Ибрахим-бей. Заложив руки за спину, он держался так, будто ничего и не произошло.

Исмаил не сразу сообразил, кто перед ним. Но, поняв, что это турок, он вскочил с тахты, похлопал себя по бокам, но при нем, увы, не было ни кинжала, ни маузера, которым он так гордился...

— Застрелю подлеца! — взревел он и кинулся с голыми руками на Ибрахим-бея, но тот вмиг скрутил ему за спиной руки. От гнева у Исмаила вздулись вены на висках.

— Остуди свой рассудок, почтенный!

— Подлец! Я принял тебя, приютил, оказал почет и уважение, а ты здесь же, в моем доме...

— Ты должен благодарить меня.

— За что еще? Не за то ли, что дочь мою обесчестил?

— Не велика цена дочери, которую ты готов был выдать за этого сына дьявола,— сказал Ибрахим-бей, имея в виду Саида Хелли-Пенжи.— А меня ты должен благодарить за то, что я избавил тебя от комиссаров....

— Где они? Их поймали? — Только сейчас Исмаил вспомнил, что Хасан из Амузги и его люди знают о его, Исмаила, позоре.

— К сожалению, нет. Они успели скрыться. Хотели, кстати, и тебя прихватить...

— Да, муж мой,— вспомнила жена Исмаила,— они и верно хотели увести тебя с собой, а он... — она кивнула на турка,— подоспел со своими людьми, вот ты и дома...

— А где моя несчастная дочь? — спросил Исмаил.

— Я старалась ее успокоить, но она все плачет, там в другой комнате...

— Как же ты мог не отличить мою дочь от той стервы?! — ломая пальцы, проговорил Исмаил, и самому эти слова показались странными.— Какой позор! Какой позор!..

— Скоро рассвет, нам пора собираться... — Ибрахим-бей никак не хотел признаваться в своем мужском бессилии, в том, что дочь их, Зейнаб, цела и невредима. Какой смысл? Для горянки великое бесчестье и в том, что побывала в руках мужчины.— Скоро рассвет, пора в путь...

— Плевать я хотел на твой рассвет! — крикнул Исмаил.

— Это приказ не только генерала Хакки-паши...
— Плевал я и на вашего генерала и на...
— Это приказ Горского правительства.
— На всех я плевал. Мое правительство — это я. Понял? Эй, жена! — обратился он к покорной подруге жизни.— Позови-ка сюда муллу и командира моего, племянника!..
Женщина вышла.
— Это еще зачем? — удивился Ибрахим-бей.
— Не хочу встречать рассвет опозоренным, сейчас же женишься на моей дочери!
— Ты в своем уме? Бой на носу, неизвестно еще, останемся мы живы или нет...
— Тем более!
— Но у меня есть жена, и дети есть.
— Ничего, не беда! Будет две жены!
— Но я не хочу жениться на твоей дочери!
— Ты не хочешь смыть оскорбление, что нанес мне?
— Не хочу.
— В таком случае я вызываю тебя на бой! Ты мой первый враг, личный враг! У меня двести человек, у тебя и восьмидесяти нет, и мы посмотрим, кто кого...
— Ты сошел с ума! — Ибрахим-бей был похож сейчас на того бычка, которого вели кастрировать,— бычок думал, его резать собираются, и когда люди повалили несчастного наземь и стали возиться не там, где следовало, бычок, говорят, возопил человеческим голосом: «Что вы делаете, шея у меня в другом месте!»
— Напротив, я очень даже поумнел! — Исмаил повернулся к двери, услыхав, что вошел его племянник Сулейман, бывший царский офицер.— Сын мой, случилась беда! Этот негодяй, этот турок обесчестил твою сестру и теперь отказывается на ней жениться... Я объявляю ему бой, подними всех людей, я хочу быть честным! — И он сверкнул глазами на Ибрахим-бея: — Прикажи и ты своим, чтобы были готовы...
Ибрахим-бей стал молить Сулеймана ничего не предпринимать, но тот был полон решимости. Его с первых же дней бесило присутствие наглого турка.
Явился в сопровождении жены Исмаила и старик дибир — духовный судья. Входя в дом, он спросил:

— Чем я могу служить тебе, Исмаил, в такой поздний час?

— Этот «кунак»... — зло бросил Исмаил,— явился к нам и хочет жить по своему аршину. А у нас свои обычаи, и он должен им подчиниться!..

Исмаил объяснил служителю мечети, почему его побеспокоили.

— Тревожные настали дни...— хмуро проговорил дибир, почесывая голову под чалмой,— у всех теперь свои аршины.

Ибрахим-бей не знал, как же ему поступить в этих более чем странных обстоятельствах. Размышляй не размышляй, а другого выхода нет, придется соглашаться, иначе, он знал, не сносить ему головы. Исмаил как раненый зверь, в нем сейчас бушует поток оскорбленных чувств, и в слепом гневе он готов на все.

— Хорошо, я согласен жениться! — заявил наконец Ибрахим-бей.

— Позови и своего свидетеля! — властно приказал Исмаил.

Сейчас он чувствовал себя, как полководец, выигравший тяжелый бой. В душе он даже считал, что это, пожалуй, честь иметь такого зятя. Как-никак турецкий офицер. К тому же еще неизвестно, чем вся эта свара закончится. Если дело повернется к худшему, смекнул толстосум,— не такой уж у него куцый ум, как думают многие,— то он, чего доброго, подастся в Турцию, под крылышко к родственнику. Ну, а если этому зятю не суждено будет остаться в живых, и то не беда. У него ведь есть родичи, они приютят. Исмаил вмиг все обдумал.

Ибрахим-бей вызвал своего доверенного человека — это был лекарь его сотни. Прежде чем приступить к шариатскому обряду, Исмаил повелел жене привести и дочь. Все притихли в ожидании свершения обряда. Тишину эту вдруг прорезал отчаянный крик жены Исмаила. Все выбежали. Дверь в ту комнату, где находилась несчастная Зейнаб, была открыта. Мать рвала на себе волосы, царапала лицо, а дочь... висела в петле, переброшенной через балку в потолке,— не вынесла бедная девушка позора. Ибрахим-бей в душе поблагодарил покойницу за то, что избавила его от насильственной женитьбы.

А в это время рассвет рождал новый день, ждать

больше не имело смысла, и Ибрахим-бей, выразив Исмаилу свое сочувствие, добавил:

— Мне пора, человек я военный и обязан подчиниться приказу.

— Ты убил мою дочь и сейчас хочешь устраниться? — рассвирепел Исмаил.— И это называется единоверец! Да ты хуже любого гяура!

— Ну хватит. Я должен выступить со своими людьми! — Ибрахим-бей направился к лестнице.

— Объяви всем,— приказал Исмаил своему племяннику Сулейману, — чтобы ни единого турка не выпустили отсюда. Да пусть еще и разоружат их!

— Будет исполнено! — с горячностью отозвался бывший царский офицер.

— А этого мерзавца арестовать! — добавил Исмаил.— Голова у него не с того конца подрублена, надо подправить дело!

Ибрахим-бей и его лекарь, не оглядываясь, ускорили шаг. Они спешили присоединиться к своим аскерам, которые уже свернули палатки, навьючили лошадей и ждали распоряжений.

Сулейман нагнал их и подчеркнуто вежливо попросил сдать оружие. Ибрахим-бей показал бы этому царскому офицерику, как турки сдают оружие, но трезвый рассудок подсказал ему, что в данных обстоятельствах лучше уступить. Эх, если бы он подоспел к своим бойцам и они были бы уже на конях, Ибрахим-бей знал бы, что ему делать! Но он опоздал... Не предугадал, что этот негодяй Исмаил может такое выкинуть.

— По какому это праву? — попробовал было воспротивиться Ибрахим-бей.— Оружие дано мне моей страной, и посланы мы сюда для борьбы с иноверцами, в ваших же интересах. Если вам не по пути с нами в этой священной войне, мы вас не насилуем, но не мешайте нам сложить свои головы в правом бою сегодня...

— Сдать оружие! — словно бы не слыша его, повторил Сулейман и, расстегнув кобуру из блестящей желтой кожи, достал наган, велел объявить тревогу, поднять всех талгинцев и снова обратился к турку: — Заруби себе на носу: ни один турецкий солдат не покинет хутора без особого на то распоряжения Исмаила...

— Вы с ума сошли с вашим Исмаилом! Еще отве-

тите за самочинство перед Горским правительством. Даром вам это не пройдет! Вы... вы нарушили приказ!..— скрежетал зубами Ибрахим-бей, вынужденный подчиниться слепой воле вчерашнего своего «кунака», безмозглого «правителя» вонючей долины Талги.

Он сдал оружие, и лекарь сдал свой пистолет, после чего Сулейман отвел их обратно в дом и запер в ту комнату на нижнем этаже, где накануне держали Муумину. Затем Сулейман рьяно взялся разоружать турецких аскеров, хотя понимал, что это уже совершится не столь безболезненно. Но он надеялся на силу и численное превосходство своих людей.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПУТИ-ДОРОГИ, ТРОПИНКИ УЗКИЕ

Хасан сын Ибадага из Амузги ждал. Ждал с нетерпением. Неужели и на этот раз не оправдаются его надежды, неужели Саид Хелли-Пенжи снова обманет?.. В Хасане была такая слабость, верил он в людей. Уж очень хотелось думать, что каждый человек носит в себе зерно добра. Потому он никогда не спешил убить даже противника. Убить человека легко, наставить на верный путь — куда труднее. Горцев и без того немного. А что от них останется, если сами они станут уничтожать друг друга? Хасан из Амузги внутренне уговаривал себя. Да, он, этот Саид Хелли-Пенжи, однажды хотел предать его, вернее, убить. Там, в Большом ореховом лесу, из-за алчности своей.

Не зная, не ведая, что в тайнике, только мечтая о богатстве, он готов был убить человека!.. Тогда Хасана спасла предусмотрительность. И он мог жестоко расправиться с Саидом, но не сделал этого. Неужели совесть и на этот раз не заговорит в негодяе... Умар из Адага, Муртуз-Али и вслед за ними и сын Али-Шейха Мустафа утверждают, что черная шерсть от мытья не белеет, что второго такого отпетого мерзавца, мол, не рожала еще на земле горянка и довериться ему нельзя... Но Хасан из Амузги уговаривал их подождать еще немного. Уж очень хотелось верить, что Саид добровольно явится к ним с Мууминой. И к тому же не плохо бы такого матерого

волка привлечь на свою сторону. Он мог бы пригодиться им в деле...

— Слушай, Хасан,— прервал его раздумья Умар из Адага,— я послан комиссаром Али-Багандом не для того, чтобы сложа руки сидеть и ждать, что выкинет какой-то мерзавец... Горцам нужно оружие!

— По-моему, и я прибыл сюда с этим же заданием. К тому же раньше вас! — нахмурился Хасан из Амузги.

— Оберегать твою любовь и сентиментальничать нам сейчас недосуг! — угрюмо и даже раздраженно бросил Муртуз-Али.

— Что ты сказал?! — как ужаленный вскочил Хасан из Амузги и схватил брата комиссара за ворот бешмета.— Я спрашиваю, что ты сказал?

— Чего мы ждем? Пока ты убедишься, что твоя куймурская красотка в безопасности?

— Смотри! Меня не остановит то, что ты брат комиссара! — вскипел Хасан из Амузги.

В последнее время из-за своих неудач он стал очень раздражителен. Вот и сейчас, не вмешайся Мустафа сын Али-Шейха, не миновать бы серьезной ссоры.

Все это происходило на террасе сакли в Агач-ауле.

— Успокойтесь, только того и не хватает, чтобы мы друг друга перестреляли. Ты не прав,— обращаясь к Муртузу-Али, сказал Мустафа,—все в этом деле одной ниткой скручено. Где рукописный коран с медной застежкой, известно только Муумине, а о том, где шкатулка, знает Саид Хелли-Пенжи, и нечего корить Хасана! Однако надо действовать...

— Об этом я и говорю.

Вдруг в голове Хасана из Амузги пронеслась тревожная мысль: «Где коран, знает Муумина, где шкатулка — Саид Хелли-Пенжи, и оба они вместе. Саид Хелли-Пенжи никогда еще не был так близок к тайне, как сейчас... В такой ситуации только круглый идиот не воспользуется случаем! Неужели Муумина не раскусит этого негодяя? Он, конечно, постарается всячески завоевать ее доверие, попытается расположить к себе... Куда он мог с ней направиться? Конечно же в Куймур, ведь книга с медной застежкой там!..»

— Вы правы, надо действовать!— сказал Хасан.— На коней! Не будем больше ждать. А ты, Муртуз-Али,

прости меня. Я стал не в меру раздражительным, по каждому поводу готов сорваться, как пружина. Будто зверь в меня вселился...

— Я не сержусь на тебя, Хасан из Амузги. Поверь, у меня душа болит за тех людей, которые ждут нас...— виновато проговорил Муртуз-Али.— Узнай о них любой враг, разгонит, как стадо. Они ведь понятия не имеют, с какого конца стреляет ружье, никогда пороха не нюхали...

— Думаешь, я не знаю этого? Или, может, считаешь, что мне нравится сидеть сложа руки?..

Вчетвером они выехали из Агач-аула и направили своих коней на юг. Им предстояло пересечь талгинские холмы. Ни в коем случае не обнаружив себя ни перед турками, ни перед людьми Исмаила, пройти подальше от хутора. Но едва они, придерживаясь лесочка, спустились к речушке в ущелье, тотчас услышали треск ружейных выстрелов, глухим эхом отдающихся в скалах. И стреляли не где-нибудь, а именно на хуторе. Что бы это значило? Притаившись в кустах, всадники переглянулись между собой. Стычка эта была по шуму серьезная. Бились не двое, трое, а десятки людей. Похоже, что бесноватый Исмаил не простил оскорбления. И хотя вина была на Саиде Хелли-Пенжи, но бесчестье дочери невольно нанесено турецким офицером, которого Исмаил гостеприимно приютил у себя в доме. Вот потому, наверно, он и решил расправиться с ним...

— Что будем делать?— спросил Мустафа, словно бы разгадав мысли Хасана и подтверждая их.— Клянусь кораном, который мы должны найти, это исмаиловские люди сражаются с турками.

«Я же говорил, что Саид Хелли-Пенжи бросил между ними горящее полено. Вот оно и вспыхнуло!— хотел воскликнуть Хасан из Амузги, но сдержался, ибо недостойно джигиту хвастаться, к тому же бывает очень досадно потом, если случится ошибка.— А может, ночью Саиду с Мууминой не удалось выбраться из хутора и сейчас весь этот тарарам из-за них?»

— Пройдем к тому лесу на склоне!— показал плетью Хасан из Амузги, и, повинуясь одному его жесту, белый скакун понесся вперед, увлекая за собой и остальных коней с их седоками.

Преодолев вброд речку, всадники стали подниматься вверх по крутому склону, сплошь поросшему невысокими кряжистыми дубками.

Вот он, Талгинский хутор, виден как на ладони. Так оно и есть: вчерашние единоверцы, разделявшие не только идеи пантюркизма, но и хлеб на подносе, сегодня столкнулись в лютой ненависти друг к другу.

Турецкие аскеры, узнав об аресте своего командира, поначалу пришли в замешательство, но, увидев, что люди Исмаила во всеоружии взбираются на коней и выстраиваются на майдане, учуяли что-то уж совсем неладное и насторожились. А когда к ним подъехал Сулейман, они потребовали от него объяснения, за что арестован их командир, турецкий офицер Ибрахим-бей.

— Он нарушил закон гостеприимства и осквернил дом нашего уважаемого Исмаила!— громко, чтобы слышали все, сказал Сулейман.— А вам, аскеры, я советую без лишнего шума сложить оружие, иначе...— и он показал на свои готовые к бою отряды, без лишних слов давая понять, что станется иначе.

Туманное объяснение причины ареста Ибрахим-бея не убедило аскеров в его виновности, а потому сложить оружие они отказались, и тогда... Тогда-то началась эта потасовка, по поводу которой позже острословы шутя говорили: били своих, чтобы чужие боялись. Не успевшие сесть на коней турки рассыпались кто куда и начали стрельбу... Одной из первых же пуль ранило Сулеймана, и он слетел с коня... Увидев, что их командир вышел из строя, Исмаиловы люди в остервенении выхватили из ножен сабли и стали налево-направо рубить фесконосцев...

Эта-то сцена и предстала со склона взорам четырех всадников.

— И эти люди собирались сегодня под одним знаменем выступить против бичераховцев!..— с иронией заметил Хасан из Амузги.

— Кстати, это их выступление было бы нам на руку,— сказал Умар из Адага.— Бичерахов сейчас и наш враг.

— Отары сойдутся — собаки дерутся, собаки разойдутся — чабаны дерутся!— буркнул Муртуз-Али.

— Что будем делать?— словно сам себе задал вопрос Хасан из Амузги.

— Когда двое дерутся, третий среди них лишний,— проговорил Муртуз-Али.— Там нам делать нечего. Мы нужны своим живые, а не мертвые.

— А если для пользы...— Хасан не торопился с разъяснением.

— Вообще-то не мешало бы прибрать к рукам людей Исмаила. Я тебя понял, Хасан из Амузги!— сказал Мустафа.

— И правильно понял! Турки, хоть их и меньше, сдаваться, похоже, не собираются... Вон они уже даже теснят горцев. Смотрите, горцы дрогнули!.. Да их всех перебьют! Двинемся на помощь?

— У нас важное задание!..— попробовал удержать его Муртуз-Али.— Мы не имеем права рисковать...

— Но они же бьют горцев. А люди нам очень нужны. Да и совесть потом покоя не даст... За мной, братья, испытаем на турках острие дамасской стали!

Выхватив саблю, Хасан из Амузги понесся к хутору, друзья последовали за ним. Они подскакали со стороны, откуда турки никак не ждали удара. Всего четыре всадника, а им показалось, будто ураган налетел. Турки даже опомниться не успели... Подбодренные неизвестно откуда взявшейся подмогой, горцы мгновенно обошли турок с двух сторон, и окруженный враг сдался. Одни повалились на колени, моля во имя аллаха о пощаде, другие, побросав оружие, подняли руки, третьи, кому удалось выскользнуть из кольца, устремились в лес...

Всех обезоруженных турок согнали на майдан. Здесь уже местный знахарь возился с раной Сулеймана. Ранение оказалось легким, а с коня он слетел больше от страха. Предусмотрительным оказался бывший царский офицер, под бешметом у него была надета кольчуга. Пуля прорвала всего несколько звеньев у правого предплечья и застряла в мякоти. Лекарь с легкостью извлек ее и, приложив листья подорожника к ране, сделал перевязку. Сулейман встал, поправил бешмет, огляделся вокруг. К нему, в окружении горцев, шел Хасан из Амузги со своими друзьями...

— Это они?— спросил Сулейман у своего помощника, настороженно рассматривая непрошеных гостей.

— Да,— ответил помощник.— Исход боя решили они.

— Не они, а я решил!— сурово отрезал Сулейман и, обернувшись к Хасану из Амузги, спросил:— Чему обязан столь торжественным появлением?

— Здорово ты расправился с ними!— сказал Хасан из Амузги, понимая, что такая лесть придется ему по нраву.— Я рад приветствовать смелого человека. Если не ошибаюсь, тебя Сулейманом зовут?

— Да. Здравствуй, Хасан из Амузги.

— Кто тебя надоумил на такое?

— Ненавижу их!..

— А где же Ибрахим-бей? Неужели убит?

— Арестован он.

— А Исмаил?

— У него своя беда. Из-за этого турка дочь повесилась. Надеюсь, вы не ищете с ним встречи? А за содействие спасибо!

— Это наш долг. Думаю, и ты поступил бы точно так же...— многозначительно произнес Хасан.

— Не знаю,— буркнул с холодностью Сулейман.— Не будь такого оборота, я обязан был бы арестовать вас. Но примите мое великодушие и продолжайте свой путь.

— А может, путь-то у нас один? У всех горцев он один. Подумай, Сулейман. Ты человек отважный. Видишь, как народ наш терзают всякого рода иноземцы. Стонет под ними земля... Ты сам хорошо понимаешь, что к чему. Будь с народом, с горцами. Вот с ними...

— У меня есть на то свои соображения...

— Я знаю, что ты порвал с белогвардейцами. Если ты не с ними, то должен быть с нами, иного пути нет.

— Эй, вы!..— крикнул Сулейман бойцам, которые возились с турками.— Оружие аккуратно сложите вон у того стога и их отведите всех туда, а лошадей в загон.— Он взялся за голову:— Трещит, проклятая, крови, что ли, много потерял? Разделаюсь вот со всеми этими турками и потом...

— Что ты хочешь с ними делать?

— Прикажу расстрелять! Отвести вон к той пропасти и расстрелять.

— О, это не годится, Сулейман.

— А я никого не спрашиваю, годится или не годится. У меня с ними свои счеты...

— Хорошо, я не требую, чтобы ты спрашивал нас. Но сам рассуди, если хочешь сберечь своих людей: сегодня ты расстреляешь турок, а завтра генерал Хакки-паша расстреляет всех этих людей. А Хакки-паша, ты знаешь, уже близко.— Хасана внимательно слушали окружавшие его воины отряда Исмаила.— Сейчас каждый человек на счету. Решающие бои впереди.

— Наши люди готовы умереть!..— сказал Сулейман. По тому, как воины смотрят на Хасана из Амузги и как его слушают, он понимал, что люди эти уже настроены встать на его сторону. Но Сулейману не хотелось сдаваться так сразу. Внутренне он и сам соглашался с доводами амузгинца, а признаться в этом самолюбие не позволяло.

— За что же они готовы умереть? — Хасан из Амузги повернулся к бойцам: — Вот ты или ты, хотите вы завтра умереть?

— Если придется...

— А за что?

— Я обязан... В долгу...

— Перед кем?

— Исмаилу должен. Ему обязан...

— Да чтоб ваш род передох, как говорит Исмаил! — возмутился Хасан из Амузги.— Самое дорогое у человека жизнь, а вы заложили ее в долг... Добровольно надели на себя хомуты. «Я обязан...», «Если придется...» Хоть один из вас подумал о родном крае, о горах, о кунаках, о жизни вообще. О том, что она может быть прекрасной, доброй вот в этих наших горах...

— Улыбнулась нам советская власть, и нет ее...— сказал один из бойцов.— Вот если бы вернуть... За это можно бы всем миром пойти.

— Так о том же я и толкую! Была советская власть. Да, она улыбнулась нам. Но враги не дали ей расцвести. Вот чтобы вернуть ее, нам надо собраться с силами... Ваш командир Сулейман еще не решил, с кем он. А вот ты или ты, с кем вы?

— А как же Исмаил? Он мне три барана дал...

— Да Исмаил-то один, а вас много, и всех нас в горах много!

Горцы вдруг зашумели. Человек-то ведь дело говорит?!

— Сулейман, у тебя доброе сердце...

— Сулейман, ты наш командир...

— Мы тебе верим...

— Ударьте по рукам с Хасаном из Амузги, и ты увидишь, мы нигде и никогда не дадим тебя в обиду...

Они знали Сулеймана. Он суров, но справедлив. Никогда не давал Исмаилу самодурствовать, удерживал от бесчинств, и за это люди его уважали. Вот и сейчас. Верили, потому и уговаривали.

— Хасан из Амузги, так и быть, я скажу тебе всю правду. Характер у меня дрянной... вот пока вы не появились, задумка у меня одна была: покончить с турками и податься с этими людьми к вам, к комиссарам. Ты пришел, словно бы на зов мой объявился, а во мне вдруг гордыня заговорила, самолюбие... Ну, да ладно... Вот тебе моя рука.

Хасан из Амузги крепко пожал его руку.

— Друзья мои, спасибо. Кто не со всеми, тот пусть и не в могиле, а покойник.

— Только одна у меня просьба,— сказал Сулейман.— Не трогайте старика Исмаила, я сам с ним все улажу. Горе у него...

— Пусть будет по-твоему, Сулейман! — Хасан сел на коня.

— Ура! — прокатилось в рядах.

— Сулейман, с тобой мы оставим Муртуза-Али, брата известного тебе комиссара Али-Баганда. Думаю, ты примешь его...

— Ну уж, если он брат комиссара, пусть и сам будет комиссаром.

— Советчиком тебе будет, поможет разобраться, как дальше поступить с турками.

— Хорошо.

— А нам пора!

— Счастливо!..

Хасан из Амузги ехал довольный тем, что все уладилось, что вот теперь и здесь будут надежные люди на случай будущих боев. Умар из Адага попробовал было высказать недоверие этому бывшему царскому офицеру, но Мустафа не согласился. Офицер не офицер, а де-

ваться ему некуда. Он понял, что его люди не очень-то хотят проливать кровь неведомо за что. Вон как Хасана слушали...

Втроем они скоро преодолели талгинские холмы и уже спускались к долине Каменной Черепахи — так называют одинокую скалу у полустанка Инчхе в степи,— когда навстречу им из-за поворота вдруг показались шестеро всадников.

— Это сыновья Абу-Супьяна,— сказал Мустафа сын Али-Шейха.— Но с ними еще двое, кто бы это мог быть?

— Ослепнуть мне на месте, если один из них не Саид Хелли-Пенжи! — воскликнул Хасан из Амузги.— Но где Муумина? — Тут же радость оттого, что он увидел Саида Хелли-Пенжи, которого так ждал, сменилась волнением и беспокойством за судьбу девушки, перед которой он чувствовал себя виноватым. Хвастался: «...Позови меня, и я явлюсь» — а сам предстал перед ней в позоре...

Тревожная мысль заставила Хасана рвануться с места. И понеслись они навстречу всадникам, поднимая пыль за собой. Подъехав, Хасан резко потянул узду, конь вздыбился и остановился. Глянув в упор на хмурого Саида, Хасан спросил:

— Где Муумина?

— Я здесь! Здесь, Хасан! — вырвался у девушки радостный возглас, и она подъехала к нему.

— Муумина, это ты? А что на тебе надето?

— Саид меня так обрядил, когда выбирались из хутора.

— Саид Хелли-Пенжи, я приветствую тебя! — это прозвучало как благодарность. В душе Хасан дважды торжествовал: вот он и не обманулся.

— Я рад услышать от тебя приветствие, Хасан из Амузги! — с поклоном ответил Саид.

— Гордые сыны Абу-Супьяна, вы всегда на пути моих удач, поклон вам, братья!

— Слава тебе, Хасан из Амузги,— ответил старший брат.— Этот человек — убийца нашего отца, и нам непонятно такое расположение нашего брата к врагу нашему. У тебя, верно, на то есть свои причины, объясни их нам, Хасан из Амузги. Твое имя он трижды назвал

с надеждой. Мы сохранили ему жизнь до встречи с тобой...

— Я обязан вам за любовь ко мне, сыновья Абу-Супьяна, и моя сабля всегда на вашей стороне... Вы и на этот раз были великодушны... Сойдем с коней, братья...

Все спешились. Хасан из Амузги отвесил почтительный поклон старшему сыну Абу-Супьяна, затем обнял его за плечи и сказал:

— Поверьте мне, никогда не желавшему вам боли и печали, поверьте, что этот человек, которому я простил то, что не прощается, понял, осознал все и к тому же еще совершил полезное для всего нашего общего дела. Я понимаю, что и это не повод для сыновей, чтобы они могли простить убийцу отца. Но поверьте мне и в том, что он не убивал уважаемого Абу-Супьяна... Я говорю это потому, что хочу, чтобы вы избежали ошибки, которую потом себе не простили бы...

— Ты знаешь наше уважение к тебе, Хасан из Амузги, ты нам как брат, но на сей раз позволь нам поступить так, как велит наша честь. Убийце — смерть!

— Убийца получил свое, он мертв, сыновья Абу-Супьяна!

— Он не отнял кинжала у убийцы, а вложил его ему в руку! Тот, кто вкладывает кинжал в руку убийцы, страшнее самого убийцы. Убийце — смерть!

— Братья мои, пусть заговорит в свое оправдание этот человек, свершивший почти подвиг во искупление своей вины!..

— Могила нашего отца взывает о мести, уважаемый Хасан из Амузги.

— Прошу вас, братья, внять моим словам! Отступитесь на сей раз от своего решения!

— Нет, Хасан из Амузги. Убийце — смерть!

— Я дал ему слово, что вы сохраните ему жизнь! Я, Хасан из Амузги, дал такое слово, вы понимаете или нет? А может, вы хотите, чтобы Хасан из Амузги не сдержал своего слова, когда он...— Хасан ткнул плетью в грудь Саида Хелли-Пенжи,— когда этот человек, о котором нельзя сказать, что он ангел, сдержал свое слово?!.

— Хасан из Амузги, твое слово дорого нам, но есть

ведь еще и наше слово. Убийце — смерть! И он умрет! Здесь, сейчас! Скажут, что гора у горы в гостях была, поверь. Но верить, что у этого человека изменится натура,— бессмысленно!..

— Вы не хотите внять моим словам, братья, ну что же... Будь по-вашему! Но... только после того, как вы одолеете меня, братья мои! Только после этого вы расправитесь с ним! — и он рывком выхватил из-за пояса наган и кинжал.

В решительные минуты Хасан из Амузги становился похожим на леопарда, почуявшего опасность. Он яростно сверкнул глазами, готовый к прыжку.

— Итак, достойные сыны Абу-Супьяна, я к вашим услугам.

И в руках у четырех братьев вдруг оказалось оружие. Ни Умар из Адага, ни Мустафа сын Али-Шейха пока не принимали участия в споре. Кто прав, а кто виноват, понять было не легко. Пожалуй, обе стороны были одинаково правы. Но и Умару и Мустафе было понятно одно: что в столь ответственное время и горячность Хасана из Амузги, и настойчивость сыновей Абу-Супьяна не в пользу общему делу.

Больше других всем происходящим была встревожена Муумина. Она не могла понять, почему Хасан так усердно защищает этого недостойного человека, зачем заступается за него. Муумина во время перепалки Хасана с сыновьями Абу-Супьяна заметила, как насторожился Саид Хелли-Пенжи, пытался перехватить ее взгляд, чтобы взглядом же просить ее забыть все, что с ней произошло. Он понимал, что, если она скажет, как он, Саид, хотел с ней обойтись, Хасан не станет его защищать.

Муумина подбежала к Хасану, который стоял широко расставив ноги, взъерошенный и готовый в ответ на любое движение метким ударом сразить нападающего.

— Не надо, Хасан, не надо, желанный!..— взмолилась девушка.

— Муумина, не подходи, прошу тебя!..

— Неужели вам тесно на этой большой земле? Почему вы все ненавидите друг друга!..— Муумина сглотнула горькую слюну и всхлипнула...— Если вы не можете обойтись без крови, так убейте меня и успокойтесь.

За меня вам никто не станет мстить, я бедная дочь слепого отца... Насытьтесь моей кровью, и будет вам...— утирая слезы полой бешмета, она опустилась на колени.

— Встань, Муумина! — подошел к ней Мустафа. Затем, обернувшись к Хасану, сказал: — Мне дороги сыновья Абу-Супьяна, как дорог и ты, Хасан из Амузги. Но позволь узнать, где гарантия, что этот человек, привыкший убивать из-за угла, предавать любого,— что он еще раз с легким сердцем не предаст тебя или нас?

— Он должен достать у Исмаила шкатулку с ключом. Он знает, где она находится и достанет ее...— сказал Хасан из Амузги.

— Шкатулка с ключом у меня в хурджине, Хасан из Амузги,— ответил Саид Хелли-Пенжи.— Я знал, что она нужна вам, и я ее выкрал...— «Мне бы только сейчас спастись от них, а потом...» — пронеслось у него в голове. Уж очень не хотелось ему умирать. Сыновья Абу-Супьяна не простят, но только бы сейчас Хасан из Амузги спас его и только бы не заговорила эта девушка...

Зрачки Саида Хелли-Пенжи метались в страхе...

— Я же говорил вам! — воскликнул Хасан из Амузги.— В нем проснулась совесть! Человек понял свои промахи и осечки. Он хочет стать на верный путь, на путь добра и света. И этому человеку вы хотите здесь, сегодня, навсегда закрыть глаза?.. Совесть тоже требует мужества, поймите вы...

— Сыновья Абу-Супьяна! — обратился к ним Мустафа.— Я понимаю вас и сердцем был на вашей стороне!.. Но, может, на сей раз послушаем Хасана из Амузги? А Саид Хелли-Пенжи пусть запомнит: если на него падет хоть малейшее подозрение... Шелк крепок в узле, а мужчина в слове.

— Да тогда я сам разорву его на две части или ошкурю, как змею, с головы до хвоста одним махом! — крикнул Хасан из Амузги.— На колени перед сыновьями Абу-Супьяна, заблудшая душа!

Саид Хелли-Пенжи спешился, затем, склонив голову, опустился на колени. «Кажется, пронесло»,— не веря себе, подумал он.

Старший брат молча обменялся взглядом со своими братьями, те согласно кивнули ему. Он вынул из ножен

кинжал, подошел к Саиду Хелли-Пенжи. Хасан из Амузги тоже подошел поближе. На лысой голове Саида оба скрестили свои кинжалы в знак того, что на сей раз он прощен, но, если еще что злое сотворит, кинжалы свершат правый суд. Затем Хасан из Амузги потребовал у Саида шкатулку. Саид извлек ее из хурджина. Она была открыта. Все сгрудились над заветной шкатулкой, подняли крышку, в ней лежал небольшой железный ключ. Закрыв шкатулку, Хасан из Амузги передал ее Умару из Адага со словами:

— Пожелайте мне доброго пути. Мы с Мууминой едем в Куймур. А вы ждите меня завтра к полудню в Агач-ауле.

Они разъехались в три стороны, Хасан из Амузги и Муумина поскакали в Куймур, Умар из Адага и Мустафа сын Али-Шейха направились в сторону Агач-аула, а сыновья Абу-Супьяна двинулись в горы.

Остался на диком поле один Саид Хелли-Пенжи. Поодаль паслась его лошадь. Он все еще стоял на коленях, униженный и оскорбленный. Сердце бешено колотилось в груди. О чем он думал, что собирался делать дальше? В эти минуты никто бы, и он сам, не ответил на такие вопросы. Слишком много роилось мыслей и желаний в его голове и слишком он был унижен, чтобы трезво судить о дальнейшем своем пути.

Ноги заныли, Саид растянулся на желтой траве, широко раскинул руки и уставился в облачную высь.

Небо, как оно притягивает взгляд человека, как ласкает своей безбрежной голубизной. Только сейчас Саид Хелли-Пенжи глядел в него и ничего не видел. Он задумался. «Сколько раз приходилось мне умирать и спасаться, не брезгуя ни позором, ни унижением. Жизнь стоит борьбы. И почему эти люди не могут меня понять? — удивлялся Саид.— Они ищут добро. Я тоже. Только я ищу его для себя».

И не мог он уразуметь, что добро, которое ищет и находит он, обычно уже принадлежит кому-то, не ему.

Подошел конь, влажной мордой он прикоснулся к лицу хозяина, словно говоря: вставай, и нам пора в путь!

...Добро! И невдомек Саиду Хелли-Пенжи, что так, само по себе оно, это добро, не существует. Что все на земле рождено трудом и все кому-то уже принадле-

жит, а он, Саид, хочет просто отнять его у тех, кому оно принадлежит по праву. Потому ему и не везет. Но Саид Хелли-Пенжи этого не осознает, и кажется ему, что все вокруг несправедливо его ненавидят. Оттого и друга верного у него тоже нет.

ЧУДО, СОВЕРШЕННОЕ ДЬЯВОЛОМ

В тот страшный день, когда Аждар ударил слепого Ливинда и несчастный старик потерял сознание, Ника-Шапи не поспешил ему на помощь. Едва разбойники ушли, он, даже не посмотрев, что с бедным слепцом, кинулся в комнату искать книгу с медной застежкой. Ника-Шапи был уверен, что Ливинд прятал ее в доме. Но поиски были напрасны. Остервенелый Ника-Шапи перевернул все вверх дном, изорвал подушки, матрацы, и тщетно.

А между тем слепой Ливинд постепенно пришел в себя, сознание медленно вернулось к нему. Старик открыл отяжелевшие веки, словно бы хотел напоследок взглянуть на мир, и... о чудо! Открыл глаза и тут же закрыл их от страха... Сильнее заколотилось сердце в груди, готовое вырваться сквозь ребра... «Нет! Не может быть!..» На лице у Ливинда отразились боль и страдание, смешанные с робкой радостью. Он еще раз медленно приоткрыл веки. Да, это правда! Он видит мир! Но каким? Совсем не таким, как представлялось целую жизнь. В воображении слепца все было окрашено в серые тона, а на самом деле сколько света! Даже больно смотреть. Названия цветов для Ливинда всегда оставались только названиями. И сейчас он пока не знал, как распознать их в многоцветье, но то, что все это изумительно, Ливинд уже понимал.

— Люди, я вижу! — закричал он.

Нет, не он, а кто-то другой из глубины его души в невольном восторге все повторял:

— Вижу, я вижу!

А из комнаты, весь дрожа от испуга, выбежал Ника-Шапи. Услышав пронзительный крик, он думал, что Ливинд видит, как он рыщет по дому. Надо бежать, не оберешься стыда, если люди узнают, чем почтенный Ника-Шапи занимается в сакле слепого Ливинда...

— Эй, ты кто? — спросил Ливинд, боясь шевельнуться с места. Перед ним стоял странный человек, невесть во что одетый,— может, это и есть шуба и папаха...

— Я? — голос у Ника-Шапи сорвался.— Я это...

— Ах, Ника-Шапи?

— Да, да!..

— А я тебя теперь вижу!

— Ты слепой, ты не можешь видеть. Что ты видишь? Ты ничего не видишь... Ты... Эти злодеи, эти разбойники у тебя в доме все перерыли. Я хотел...— забормотал Ника-Шапи, стряхивая с себя пух.

— А где моя дочь? Моя Муумина?

— Они увели ее.

— Куда и зачем?! — Ливинд вскочил.

Мир, который он чудом увидел, вдруг показался ему страшным. Он закрыл глаза: так привычнее. Так все понятно. Потом снова открыл...

— Не знаю. Не знаю, куда и зачем.

— Ты какой-то смешной,— сказал Ливинд, подходя к Ника-Шапи.— Я представлял тебя совсем другим, когда не видел.

— Ты? Ты слепой!..

Суеверный страх обуял Ника-Шапи.

— Нет, я вижу, вижу тебя, Ника-Шапи! Вижу мир, мир... Ты понимаешь, я вижу!..

— Ты шайтан, тебе дал зрение дьявол!

— Пусть, пусть! Я и самому дьяволу скажу спасибо, низко поклонюсь ему, что дал мне увидеть мир. Какой он прекрасный... А вы, зрячие, делаете его печальным. И не совестно вам? Берегите мир, люди! Он такой прекрасный!.. Я боюсь, что это только наваждение, а не на самом деле. Милые вы мои, люди, целую жизнь видите такую красоту и зачем-то ссоритесь, враждуете!

— Эй, соседи! Скорее сюда, Ливинд выжил из ума! В него вселился дьявол!..— закричал Ника-Шапи, дрожа от страха.

— Да что ты говоришь, Ника-Шапи. Вовсе я и не сошел с ума, я стал видеть. Видеть стал. Свершилось чудо!..

На крики сбежались все соседи: мужчины, женщины и дети. Они удивленно уставились на старика Ливинда, который попеременно то открывал, то закрывал глаза...

— Люди, здравствуйте! Я вижу все!.. Вижу! Вот ты, женщина! Ты кормишь ребенка грудью? А ты, почтенный, обстругиваешь ножом палку? Вот этот мальчик хочет в меня что-то кинуть... А, яблоко...

Ника-Шапи спустился с лестницы и стал шептать в ухо то одному, то другому:

— Таба, таба! Астапируллах![1] Он отдал дьяволу душу! Будьте осторожны, люди...

— Что же нам делать, что?

— Уходите, убегайте от греха подальше!

Все ринулись со двора.

— Куда же вы? — закричал Ливинд.— Не уходите, помогите мне. У меня же несчастье. Посочувствуйте мне, помогите вернуть мою единственную дочь. Ее увели разбойники. Люди, не будьте жестокими!..— Он осторожно сошел с лестницы.

Трудно ему было привыкать ко всему. И ходить тоже было трудно, труднее, чем раньше.

Он вышел на улицу, люди разбегались с криками:

— Шайтан, шайтан! Таба! Таба!

Странное дело, Ливинд никак не мог понять, отчего это, когда он стал зрячим, его называют шайтаном, а был слепым, никому такое и в голову не приходило. Но сегодня он ни на кого не сердился. Шутка ли сказать, такая радость. Видеть свет!.. Вот если бы еще дочь была с ним... Что с ней? Жива ли, бедняжка, его надежда и счастье, друг в тяжкой судьбе отца, в его одиночестве... Все перемешалось в сознании старого Ливинда: и радость прозрения, и горе за судьбу дочери. А жизнь вокруг удивляла его и умиляла. Вот курица с цыплятами, грязная лохматая собака, вон что-то сверкает на солнце... А это жуки в навозной куче... Ласточки? Да, это они так низко пролетают. А деревья, а травы!.. Как шуршат на ветру... «Как хорошо видеть, как хорошо видеть!..» — отбивало в груди торжествующее сердце... «Бедная девочка, бедная Муумина. Где она сейчас? И почему не сказала про ту книгу? Куда она ее дела, может потеряла и испугалась? Но в ее голосе был не испуг, а что-то другое. Она вроде бы предупреждала, просила не говорить о том, что знает о книге... Да, горько все это,

---

[1] Астапируллах — боже упаси.

дочь моя. И куда увезли тебя эти злодеи? Мир-то ведь, оказывается, очень велик. А ты и за аул одна не ходила...» И почему Муумина тогда не позвала Хасана из Амузги? Ведь она же говорила, что он обещал явиться по первому ее зову?... Чем больше Ливинд думал, тем больше проникался надеждой. Аллах милостив, не может он одновременно и радовать и карать — не сделает он несчастной Муумину... Ливинду вдруг вспомнилось, что сказка, им самим придуманная для дочери и для себя, когда после смерти жены он коротал без сна одинокие ночи, теперь сбывается! Да, да! Не все сбывается, но часть. Вот стал же он зрячим? В той сказке говорилось, что явится белый всадник, взмахнет рукой — и станет Ливинд зрячим. Взмахнет другой рукой — исчезнет старая, полуразрушенная сакля и вместо нее как из-под земли возникнет удивительно светлая, новая, двухъярусная, с двумя дымоходами из белого камня. Сказка сбывается, а значит, и с Мууминой тоже ничего плохого не случится! «Да, но почему же тогда так тревожно на душе? И почему люди сторонятся меня? Я ведь не причинил им зла? Неужели просто не хотят, чтобы я их видел? Но почему? Почему они видят меня, а я их не должен...»

Ливинд шел к людям, а они и в самом деле, не отвечая на его приветствия, прятались в подворотнях и оттуда с опаской наблюдали, куда он дальше путь держит, будто злодея глазами провожали...

— Что с тобой? — обратился Ливинд к мальчику, который опрометью убежал от него и спрятался за горкой уложенного на улице кизяка.— Я же тебя вижу, вон ты выглядываешь оттуда!..

— Не подходи! Ты шайтан! — закричал малыш.

— Да нет же, никакой я не шайтан. Ты разве меня не знаешь, я слепой Ливинд? Просто я теперь вижу, как и ты. Зачем же ты дразнишь меня, а вчера тянул за полу бешмета, когда я шел по улице и подкладывал мне под ноги булыжники, чтобы я споткнулся?

— Не я это делал, мой брат,— ответил чуть осмелевший мальчишка и вышел из-за кизяка.

— Вот видишь, ты меня знаешь? Я не шайтан, я Ливинд! Вот смотри, ты же знал меня и раньше. Разве во мне что-нибудь изменилось?

— Ты молишься дьяволу.
— Ну зачем повторяешь глупые речи?
— Это он сделал тебя зрячим?
— Нет...
— А кто же?
— Не знаю...
— Значит, дьявол! Все так говорят. Теперь, говорят, будет конец света...
— Врут они! Ты не верь им, мальчик.
— Разве так бывает, все врут и только один правду говорит? — искренне удивился мальчик.
— Но я же никому не желаю зла... Если бы я был дьяволом, так я бы должен тебя съесть!..
— Все равно не съел бы. Я бы убежал.

От этого разговора еще тоскливее стало на душе у Ливинда, но он все же пошел в сторону мечети, где, как ему казалось, есть почтенные люди, мудрые, набожные. Они уважают его, не раз снисходили побеседовать с ним, как с равным.

А они, эти набожные фанатики, вернее часть их, тем временем собрались у михраба мечети и вместе с Ника-Шапи думали-гадали, как теперь быть с Ливиндом, за прозрение продавшим душу дьяволу... Едва Ника-Шапи рассказал им о случившемся, они потеряли покой. Мыслимое ли дело, человек, столько лет не видевший света божьего, вдруг стал зрячим?! Тут конечно же не обошлось без сверхъестественной силы — правоверные ничем другим такое событие объяснить не могли. По их представлениям, все действенное в природе относилось на счет дьявола, а аллах словно бы ничего и не совершает.

Куймурцы вдруг вспомнили случай, когда слепой Ливинд сообщил им об убитых у старой башни...

— Наверное, тут скрыта какая-то темная, необъяснимая история!..
— Разве козни дьявола объяснимы?
— А помните тот коран с медной застежкой...— заговорщически бросил Ника-Шапи, перебирая в дрожащих руках четки. Он ловко втягивал людей в ералаш.
— Да, да, это тот, что будто бы ангел ему ниспослал?
— Врет он! Никакой не ангел, это дочь его в то утро

нашла коран около ямы, которую кто-то вырыл у старой башни... А может, даже и не дочь, сам нашел.

— Но он же тогда еще не был зрячим?..

— А кто его разберет, может вовсе никогда не был слепым, просто притворялся...

— Нет, нет, что ты!.. Не мог он всех нас обмануть, солгать почтенным служителям веры!..

— Что делать-то будем? Ведь как бы он не навлек на нас беды.

— Да, да, кадий! Ты решай.

— Легко ли такое решить? Надо пока что засадить его в яму, там, в мечети,— сказал Ника-Шапи.— Давно мы туда никого не сажали. Потом решим, как дальше быть...

— Тем лучше! — Ника-Шапи обернулся к двум молодым людям, сидевшим поодаль, и попросил: — Вы посильнее и помоложе, подойдите к нему с двух сторон, подведите к яме, столкните и тотчас задвиньте решетку. Пусть посидит.

Ливинд вошел в мечеть и не удержался от восклицания, такое уж у него было настроение.

— Во дворе так светло,— сказал он,— а здесь совсем темно! Всегда тут так?

— О чем ты, слепой Ливинд?

— Я уже не слепой, я вижу, почтенные! Говорю, темно очень в мечети. Здесь же должно быть светло, чтобы аллах видел все грехи на лицах молящихся.

— Не кощунствуй, дьявол!

— Я не дьявол, я Ливинд! Я вижу, понимаете? А пришел сюда, чтобы вы порадовались со мной тому, что я вдруг стал зрячим. Свершилось чудо, и я, братья мои...

Он поискал, где бы ему присесть.

— Иди сюда, сюда...— это его манили те, кому поручено было привести в исполнение жестокий приговор. Они зажали старика между собой, подвели к яме и... столкнули.

— Люди, что же вы со мной делаете, зачем это?!

Но над ямой уже проскрипела ржавая железная решетка. Ни мольбы, ни стенания несчастного старца не помогли. Правоверные оставались глухи. И тогда Ливинд стал припоминать все известные ему грехи этих людей

и слать проклятья на их головы. «Вы испугались,— кричал Ливинд,— что, став зрячим, я рассмотрю ваши грязные души!» Этим он еще больше ожесточил своих противников. Но нашлись в Куймуре смельчаки, которые не побоялись дьявольского наваждения и отважились просить служителей мечети о снисхождении к несчастному Ливинду. Только их просьбы ни к чему не привели. Ливинд сидел в яме, а дни шли. Он уж горло надорвал от крика, но ему никто не отвечал. Спустят кусок хлеба да кувшин воды, и нет никого. Только в часы молитв, когда куймурцы приходили в мечеть, они слышали, как Ливинд взывал к ним.

— Вы молитесь, просите аллаха о милости,— говорил он,— но нет, не видать вам милостей... Вы, кому дано созерцать такой прекрасный мир, запираетесь в темноте, боитесь, как бы аллах не увидел ваши черные души!...

— Замолчи, дьявол! — кричали ему сверху, но он не молчал.

— Вы слепые и ваш аллах тоже слепой! Вы обманываете его, а он вас! Да поразит всех вас неизлечимый недуг! Одно слово, что вы зрячие, на самом деле вы-то и есть слепые! Чтоб вас холера взяла, чтоб вы околели от судорог!..

— Слышите, что он говорит? Да это же не наш смиренный Ливинд! Это сам дьявол!

— Конечно же не Ливинд! Конечно, это сам дьявол!

— Вы хуже всякого дьявола. Это вы возмутили мою душу. В вас нет ни жалости и ни совести! Чтоб на вас чума грянула, как гроза.

Так продолжалось до пятницы, когда большой совет мечети принял наконец решение о том, что продавшего душу дьяволу отступника Ливинда надо строго осудить.

Какой только кары ему не придумывали: одни предлагали заживо закопать в землю, другие требовали сжечь на костре, третьи хотели четвертовать... И только Ника-Шапи предложил не лишать его жизни, чтобы не возбуждать население и не накликать бы еще какой беды. Ника-Шапи посоветовал выколоть Ливинду глаза, чтобы он уж поистине никогда больше никого и ничего не видел. Это предложение сочли наиболее приемлемым и мудрым. И вот Ливинда выволокли из ямы на свет божий.

— Отпустите меня! Заклинаю вас именем аллаха и его пророка, отпустите. Мне надо отыскать мою дочь, вызволить ее из беды...— взмолился несчастный старик.— Что я вам сделал дурного? За что вы меня так терзаете? Никогда не думал, что все вы такие бессердечные!...

— Грязным своим языком ты поносил аллаха и его верных служителей! Как только не оскорблял почтенных людей. Болезни всякие призывал на их головы.

— А вы? Разве вы не оскорбили, не обидели меня? Ни в чем не повинного бросили в яму, да еще хотите, чтобы аллах над вами смилостивился? Ну нет! Погодите, он еще вас покарает...

Расправу над Ливиндом снова поручили тем двум парням. Старик вырывался у них из рук, сопротивлялся... Но только до той минуты, как вышли на улицу. Тут он обо всем забыл. Вокруг снова был мир чудес, мир красоты...

БЕЛЫЙ ВСАДНИК

От дороги печали к Куймуру свернули два всадника. Дорогу эту называют так потому, что именно по ней после осенних работ горцы спускаются на плоскость и уходят на заработки: в города, на рыбные промыслы, к нефтяникам. Уходят с большими надеждами, а весной, едва потеплеет, возвращаются разочарованными, опечаленными новой неудачей. И возвращаются-то не все. Сколько их осталось лежать в чужедальних землях и придорожных могилах? Не счесть...

Душа Хасана из Амузги полнилась разными словами и чувствами, которые ему хотелось бы выразить Муумине. Но он так и не мог ничего сказать. Только взглядом ласкал, любовался ею, радовался, вбирая в себя свет ее улыбки. Так молча они и подъехали к аулу — два всадника на разгоряченных конях. Видно было, что всадники спешили. Один на белом, сейчас запыленном, скакуне и в белой же, с красной перевязью, чалме. Такая чалма — необходимая принадлежность в одеянии всякого правоверного, на случай внезапной кончины из нее же шьется саван. Только самый что ни на есть бедняк не имеет чалмы...

Второй всадник чуть помоложе. Он на гнедом рысаке и в смушковой папахе.

Это Хасан из Амузги и Муумина, еще в мужской одежде.

Аул словно вымер, на улице ни души. Муумина встревожилась. Ворота в домах настежь. Куры роются в грядках, собаки рыщут по узким проулкам, а людей нет. Как будто только что покинули свои обжитые гнезда.

— Скорей к нашей сакле! Здесь что-то стряслось...— сказала Муумина и подстегнула плетью коня.— Отсюда ближе, Хасан!

— Не следует верхом въезжать в аул. Это не принято, сочтут за непочтение к жителям,— попытался было остановить ее Хасан из Амузги.

— Людей же нет, не видишь разве? Кого нам почитать? Скорее, прошу тебя! — Предчувствие подсказывало Муумине: случилось недоброе.

Они погнали лошадей к знакомой сакле, за речкой. Подъехали, спешились. С криком «Отец!» Муумина поднялась по лестнице, но никто ей не отозвался. Она кинулась в комнаты. Что это? Все перевернуто, перерыто. Во всем какая-то заброшенность. «Отец, где ты?!» Муумина сбежала с лестницы.

— Неужели в ауле никого не осталось? Люди, соседи, есть тут кто-нибудь? — крикнула она, но в ответ донесся только лай собаки.— Куда же все подевались?

Скрипнули соседские ворота, и оттуда выглянула сгорбленная, полуслепая старушка.

— Кого вы ищете? — прошамкала она беззубым ртом.

— Где весь народ? — спросил Хасан.

— Там они,— костлявой рукой старуха подняла свою сучковатую палку вверх,— у мечети, дьявола казнят...

— А где мой отец, тетушка?

— Какой еще отец?

— Слепой Ливинд.

— Он-то и есть дьявол!..— буркнула старуха и исчезла за воротами.

— Это еще что?..— в недоумении пожал плечами Хасан.

— Любимый, скорее! Чует мое сердце, беда с отцом! — взмолилась Муумина. Слезы застыли в ее глазах.

— Я сейчас! — крикнул Хасан, пораженный переменой в девушке. Она стала бледная, как туман.

Хасан взлетел на своего усталого, но, как всегда, готового исполнить волю хозяина коня и помчался по узким переулкам туда, где виднелся вонзившийся в небо минарет.

А на площади перед мечетью и капле дождя негде было бы упасть: и стар и млад — все здесь. Народ всюду — и на плоскокрыших саклях, и на деревьях, и даже на минарете. В центре площади высился столб, к нему был привязан несчастный Ливинд. Рядом развели костер, это чтобы раскалить железные щипцы, которыми собирались выжечь глаза внезапно прозревшему Ливинду. На лице у бедного старика был написан ужас, и он все шептал:

— Люди, сжальтесь надо мной! Люди, я же ваш односельчанин, на мне нет никакого греха, а хоть бы и был, пощадите, простите... Лучше убейте меня. Не могу я больше жить слепцом... Оставьте мне глаза!..— При одной мысли, что он снова не будет видеть, кровь стыла в жилах Ливинда.— Неужели среди вас нет ни одной доброй души?.. Так будьте вы прокляты!.. Хасан из Амузги, где ты? Приди, спаси меня! — крикнул он в отчаянии.

Вокруг стоял невообразимый гвалт. Слова Ливинда ни до кого не доходили. Люди словно бы потеряли свое человечье обличье. Все были как одурманенные. Во всех своих бедах, во всех болезнях и напастях они теперь винили Ливинда, считая, что это он дьявольскими наваждениями навлек на них немилость аллаха. И почти каждый был полон кровожадного вожделения увидеть своими глазами, как будет корчиться от боли мнимый виновник их невзгод. Ослепленные гневом люди всегда страшны. Религиозные фанатики в таких случаях страшны вдвойне. А здесь, в Куймуре, именно религиозный фанатизм нашел свое крайнее проявление.

И вдруг во всем этом кошмаре до слуха Ливинда, как сквозь сон, донеслись слова:

— Белый всадник, белый всадник!..

Это кричали дети. Затем возглас подхватили и старшие. И площадь загудела с новой силой, а из-за поворота действительно появился, как в сказке, белый всадник.

Люди расступились, освобождая дорогу мчащемуся всаднику, и он влетел на майдан.

— Остановитесь! — крикнул всадник, и его голос словно бы пронзил сердца взбешенных людей и приковал всех к месту. Закружился белый всадник на вздыбившемся коне, разбежались те, кто калил на костре щипцы, отступили к мечети почтенные правоверные во главе с ковыляющим Ника-Шапи,— говорят ведь, у ничтожного человека и шаг неровен. Бедняга Ливинд сияющим взором, восхищенно глядел на белого всадника... Тот легко спешился, подошел к столбу и, выхватив кинжал, ловко разрезал веревку, освободил отца Муумины, затем, уже почти спокойно, обратился к растерянным куймурцам:

— Пусть подойдет ко мне самый почтенный и уважаемый из вас! Если, конечно, от потери рассудка вы еще не лишились памяти...

Наступила тишина. Все словно онемели от столь неожиданного явления спасителя. Никто не решался подойти к этому ангелу. Да, да, многие уже шептали, что это наверняка ангел-спаситель Джабраил. Наконец вперед вышел Ника-Шапи, робко пододвинулся к всаднику...

— Ближе! — сказал, как отрезал, Хасан из Амузги и, когда тот подошел совсем вплотную, проговорил: — Что же это ты, уважаемый, допускаешь такое? Святого человека обижаете!..

— А с кем имею честь говорить, хотелось бы мне знать? — с трудом приходя в себя от первого испуга, спросил Ника-Шапи.

— Ну что ж, хочешь, так знай, я — сын Ибадага[1],— ответил Хасан из Амузги и показал в небо.— Понятно?

— Да, да! Но...

И тут свершилось самое неожиданное, Ника-Шапи вдруг повалился на колени. Хасан из Амузги поднял его и проговорил:

— Скажешь людям о том, что услышал от меня, как только мы уйдем! — С этими словами Хасан подошел к Ливинду и обнял его за плечи.— Я рад приветствовать тебя, почтенный Ливинд! За что они так с тобой? В чем твоя вина?

---

[1] Ибадаг — пророк.

— Моя вина? Вот...— Он дрожащими от радости руками потрогал свои глаза, потом посмотрел в небо.— Я вдруг стал видеть!.. Людей... Тебя вижу, белый всадник!..

— И что же это вы, почтенные?..— обернувшись к народу, сказал Хасан из Амузги.— Сами, что ли, ослепли? Радоваться надо вместе с ним, а вы решили его казнить! Как же так! У человека такое счастье, а вы его... Откройте пошире свои глаза. Посмотрите, как прекрасен мир и как много в нем места для всех!..

— Удивительный мир! Его нельзя не любить. Им нельзя не дорожить! — уже совсем смело и спокойно сказал Ливинд.— Ах, если бы моя дочь была здесь!..— Он намеренно громко высказал свое великое желание, в надежде, что этот волшебный человек, который все может, услышит его и совершит еще одно чудо...

— Она скоро будет здесь, уважаемый Ливинд! — сказал Хасан из Амузги...

И не успел он договорить, как по той же дороге на майдан прискакал еще один всадник. Спрыгнув с коня, он подбежал к Ливинду...

— Отец!..

— Муумина! Голос твой, а... Что это?..

— Что, отец?

— На тебе мужская одежда.

— А как ты узнал, отец? — удивилась Муумина.

— Я вижу, дочь моя!

— Это правда, отец? Ты видишь меня? — Ее большие сияющие глаза засветились радостью.

— Да, дочь моя, я вижу тебя!

— И других видишь?!

— Да, и белого всадника тоже...

— Отец, отец! Родной мой, добрый, хороший, как я рада за тебя! Слышите вы, люди, мой отец больше не слепой!.. А за что же они тогда хотели тебя казнить?

— За то, что я стал их видеть, за то, что тебя и твое счастье хотел видеть, Муумина...— и он обнял ее, прижал к себе.— А знаешь, я тебя такой и представлял, дочь моя!

— Пойдем домой, пойдем, отец! — и Муумина потянула его за собой.

Ведя на поводу сразу двух лошадей, пошел за ними и

Хасан из Амузги. На майдане остались пораженные и недоумевающие куймурцы. Им было чему удивляться. Такого в Куймуре еще не случалось. Суеверные души людей охватил трепет. В них перемешались разные чувства: радость и зависть, разочарование и удивление...

Едва Хасан из Амузги скрылся из виду, народ хлынул к Ника-Шапи. Он повторил им то, что сказал белый всадник. Слова полетели из уст в уста со скоростью молнии. Все переполошились. Одни перепугались, что могут, чего доброго, и пострадать от гнева всевышнего за чрезмерное свое усердие, другие стали утверждать, что они, дескать, были против надругательства над божьим человеком, и во всем происшедшем обвиняли одного только Ника-Шапи. А те, кто вместе с ним судили и рядили, как им поступить с Ливиндом, теперь отказались от него и, больше того, решили изгнать из мечети. Недаром ведь говорится: жизнь — колесо и, как оно, крутится.

Ника-Шапи, чтобы избежать лишнего возмущения и нарастающего гнева, который, того и гляди, мог прорваться в народе и обернуться расправой над ним прямо тут, на майдане, молча подчинился и поспешил убраться, решив, видно, что бегство — лучшее спасение от гнева.

Муумина места себе не находила от нежданной радости. Вся светилась, как может светиться истинное, чистое и непосредственное дитя природы. Только войдя в дом, она на минуту изменилась в лице, стыдливо зарделась оттого, что перед Хасаном во всей обнаженности предстала их крайняя бедность. За те дни, что Ливинд сидел в яме, у них растащили последнее, даже кизяка не оставили, чтобы разжечь огонь в очаге, не говоря уже о том, что увели овец и единственного козла.

— Чем же мы угостим нашего желанного и дорогого гостя, дочь моя? — забеспокоился Ливинд.

— Даже яиц у нас нет, чтобы хоть яичницу приготовить, и хлеба тоже нет... Ничего нет! — развела руками Муумина.— Ну и люди! Свои ведь, ладно бы чужие...

— Ничего мне не надо, мои добрые! Не беспокойтесь. Мы с тобой, Муумина, должны поспешить...

— Да, да, я сейчас! — Девушка хотела переодеться, но оказалось, что и одежду ее растащили.

— Вы что, уезжаете? — с грустью посмотрел на гостя и на свою дочь Ливинд.

— Пока нет. Дело тут у нас одно. Да и ты знаешь, уважаемый Ливинд... Нужен мне тот коран, с медной застежкой.

— Но его ж нет, дочь моя? Ты ведь потеряла?.. А... Ты, выходит, тогда просто не сказала им?..

— Да, отец! Потому что они были плохие люди.

— А куда же ты дела книгу?

— Спрятала. Я знала, что она нужна белому всаднику.

— А ты у меня, оказывается, умница, доченька! Ну, в добрый час. Что делать, я знаю, вы голодные, но...

— Ничего, скоро все будет! — многозначительно сказал Хасан из Амузги.

Они выехали, а на террасе стоял Ливинд и провожал их взглядом. Он любовался ими, а сам невольно думал, что с ним поистине творятся чудеса: в тот день, когда от удара злодея Аждара он потерял сознание, к нему вдруг вернулось зрение! Что это было? Чудо? Или оттого, что он ударился о камень, в нем что-то произошло?.. Потом этот ужас: заточение в яму и надругательство односельчан. И, наконец, чудесное избавление с помощью белого всадника — Хасана из Амузги — и обретение дочери, которую Ливинд уж и не чаял увидеть... Столько всего на одну голову обрушилось. Не много ли? Ливинд с ужасом вспомнил, с какой слепой яростью люди готовы были вновь лишить его возможности видеть мир. Нет, нет! Лучше умереть, только не это! В задумчивости Ливинд не расслышал, как заскрипели ворота и во двор вдруг вошли люди. Склонив головы, они несли в руках какие-то вещи. «Ах, вон что! Совесть заговорила»,— подумал Ливинд.

Несли медные котлы, кувшины, одежду и даже старый сундук... Молча, ничего не говоря, один за другим пришельцы поднимались по лестнице и ставили всё на свои места. А какая-то женщина предложила даже прибрать в комнатах, подмести... Мол, если мы не позаботимся о нашем святом, так кто же еще это сделает.

И вот те же самые люди, которые всего какой-нибудь час назад с исступлением фанатиков обвиняли Ливинда в сговоре с дьяволом и готовы были предать жестокой казни, сейчас со смиренностью агнцев провозглашали его святым и всячески старались угодить. Да и как не

признать святым человека, которого само небо, по воле аллаха, спасает от расправы и возвращает ему дочь?..

Терраса Ливиндова дома скоро была забита всякой всячиной. Несли кур, яйца, масло, кто-то тут же во дворе прирезал и освежевал барана. А кто-то из женщин замесил тесто, развел огонь в очаге и поставил котел...

Ливинд смотрел на все это и удивлялся: подумать только, людей как подменили... Спустя какое-то время к воротам подтащили упирающегося Ника-Шапи, и, крепко зажав его в цепких руках, обращаясь к Ливинду, люди спросили:

— Скажи, святой, что нам сделать с ним, как поступить? Как ты скажешь, так и будет! Это он, и только он, возмутил души правоверных и вверг нас в пламя гнева, ввел в заблуждение, да обрушится кара аллаха на его голову. На колени, злодей, на колени перед святым...— и люди насильно повалили его в грязь на колени.— Молись за нашего Ливинда! Мы же говорили, небо не оседлаешь, а солнце не взнуздаешь. Но он твердил свое!..

— Люди добрые! — заговорил Ливинд, и все замерли.— Люди добрые, дорогие сельчане, не надо корить в дурном других. Каждому из нас есть в чем упрекнуть и себя. Давайте лучше взращивать в наших душах то, что есть в нас, в людях, хорошего.

— Но он же хотел с тобой расправиться?!

— Не это страшно. Его беда в том, что, когда я прозрел, он ослеп! А с этим ничего не поделаешь! Многие из вас ведь тоже были заодно с ним...

— Это он нас попутал...

— Если бы вы не послушались его, почтенные, один он ничего не смог бы сделать...

— Скажи, как нам его наказать!

— Никак. Поднимите его из грязи, и пусть себе уходит. За ним тоже есть добрые дела. Вспомните, к примеру, что, когда у кого-нибудь в сакле смерть, он первым является выразить сочувствие и за это не просит ничего. Он же и молитвы читает... Добро надо помнить. Отпустите его. Сотворите, люди, и вы доброе... От доброты светлее станет на земле, и будет она прекрасна.

— Истинные слова! Куймурцам такое не часто приходилось услышать!..

— Слава нашему Ливинду!

— Мудрому слава! Трижды слава! Да простит он нас всех!

— И еще у меня к вам просьба, дорогие куймурцы: никогда не унижайте другого человека и сами не унижайтесь. Не преклоняйте колени ни перед кем. Это стыдно. Даже перед аллахом не делайте этого...— Все слушали его затаив дыхание.— Знайте, что и аллах велит почитать людей гордых и достойных. То, что вы сейчас подносите мне в дар, в другое время я бы не принял. Но у меня в сакле, вы знаете, дорогой гость. Помните мою сказку? Он человек из этой самой сказки. Ради гостя я с благодарностью принимаю ваши дары!..

Куймурцы никогда еще не слыхали таких слов. Им вечно внушали, что перед сильными и святыми надо быть покорным, надо служить им, перед ними до́лжно склоняться в поклоне, а этот бывший слепой Ливинд говорит им добрые, простые слова, от которых на душе становится светло.

Люди готовы были слушать его бесконечно, но он вдруг замолчал. На повороте показались возвращающиеся Хасан из Амузги и Муумина. Они извлекли из тайника коран с медной застежкой и вот вернулись домой.

Муумину вдруг пронзил чей-то взгляд. Она вздрогнула и шепнула Хасану:

— За нами кто-то следит.

Он схватился за оружие и огляделся вокруг, но никого подозрительного не приметил. И вдруг перед ними как из-под земли вырос Саид Хелли-Пенжи. Они не сразу узнали его. Тот быстро свернул в лесок и исчез.

Увидев во дворе перед своей саклей огромное множество народу, Муумина встревожилась, не случилось ли чего? Но, встретившись глазами с улыбающимся отцом, она успокоилась.

— Все ли у вас благополучно, дети мои? — встретил их вопросом Ливинд.

— Да, отец! А что это столько народу у нас собралось?

— Совесть в них заговорила, дочь моя, доброта поднялась со дна душ! Дайте-ка мне взглянуть на эту книгу,— попросил Ливинд,— в руках бывала, а видеть я ее не видел...

— Э, да тут как на свадьбе! А вы боялись, как бы мы с голоду не пропали,— улыбнулся Хасан, глядя на всю снедь, что грудилась на террасе.— А это вам коран с медной застежкой,— и он протянул Ливинду книгу.

— Вот она какая, таинственная книга, приносящая людям счастье.

— Смотря кому, отец! — Хасан из Амузги впервые назвал Ливинда отцом.

— Это и правильно! Пусть злодеям она не приносит радости. Что ж, дети мои, можно и поесть. Смотри, белый всадник, вон сколько нам даров принесли в твою честь.

— Скорее в твою честь, почтенный Ливинд.

— А что ты сказал там на майдане на ухо этому Ника-Шапи? — тихо спросил Ливинд.

— Сказал, что я сын Ибадага. Отца моего и в самом деле так звать.

— Вот оно что? Теперь мне все понятно!

— Святой Ливинд,— обратились к нему люди,— пусть белый всадник и нам что-нибудь скажет. Попроси его...

— Скажи, сын мой. Скажи им доброе слово.

— А ты разве не говорил уже?

— Говорил, но они и тебя хотят услышать.

Хасан из Амузги подошел к перилам террасы.

— Почтенные куймурцы, что вам сказать. Наш гордый и мужественный народ вступил на трудный путь, на путь борьбы за право расправить плечи, смело смотреть жизни в лицо. Борьба эта будет стоить нам крови и потерь. Но те, кому дороги честь и совесть народа, не пощадят сил. Имя им — большевики! А власть, за которую борются большевики, зовется советской властью. Вы тут передавали из уст в уста, будто я ангел, всадник из сказки. Так знайте! Никакой я не ангел, я сын бедного кузнеца Ибадага из Амузги. И еще я — большевик, один из тех, кто борется за свободу народа. А всякий свободный человек и сам может сделать жизнь сказкой. Мой отец как-то рассказал мне случай из своей жизни. Ехал по плодородной долине Таркама богач, повстречался ему в пути мой отец — шел он в чужие края искать избавления от голода. Богач посадил его к себе в фургон. А в фургоне том рядом с богачом лежал хурджин. И из хурджина торчал румяный свежеиспеченный чурек. Богача потянуло на разговор.

«Если ты не дурак,— сказал он,— отгадай-ка мою загадку: круглое, желтое, и не яблоко, и не айва. Что это?»

«Чурек!» — не задумываясь ответил мой отец.

«Не угадал. Золотая монета, что лежит у меня в кармане. А скажи, что, по-твоему, дорогое и сверкающее, не роса и не стекло?»

«Чурек!» — опять сказал отец.

«И что ты все заладил — чурек да чурек? Это алмаз в моем перстне».

«А когда же будет загадка про чурек?!» — воскликнул отец, не спуская глаз с хурджина...

Сейчас у всех на устах слова «советская власть», как тот чурек у моего отца. Не все пока до конца знают, что это значит, но все понимают, что за этими словами стоит что-то хорошее, столь же необходимое, как чурек. Вы, жители Куймура, хорошие люди и заслуживаете большого счастья. Ну, а то, что за счастье надо бороться, это, я думаю, вас не остановит.

— Мы готовы бороться!

— Слава белому всаднику!

— Придет час, куймурцы, и я обращусь к вам за помощью! — Хасан обернулся и увидел шедшую к нему Муумину.

Она уже успела переодеться и даже в своем бедном наряде была так прекрасна, что у него дух захватило. Что может быть прекраснее прекрасного, как сказал бы покойный Али-Шейх. А прекрасное на свете — это человек. Его открытое, чистое сердце, его ясный взгляд, готовность сделать добро себе подобному.

Увидев рядом этих прекрасных людей, прекрасных молодостью, чистотой чувств и помыслов, полных доброты, куймурцы, словно сговорившись, в один голос выдохнули:

— Достойная невеста! Достоин и жених! Да прославится имя его отца!

— Свадьбу! Свадьбу! — прокатилось вокруг.

Розово-белое личико Муумины зарделось. Она потупилась, Хасан из Амузги тоже чуть смутился. Но уже через миг он поднял руку, прося внимания. Приложив ладонь к груди, он вежливо поклонился и сказал:

— Спасибо вам, добрые люди! И для свадьбы придет время. Непременно придет. Но сейчас всех нас ждут ве-

ликие дела, и я вынужден пока попрощаться с вами. А в добрый час я явлюсь, и мы справим свадьбу. Берегите себя. Берегите друг друга. Уважение между людьми превыше всего!

Еще раз поклонившись, Хасан из Амузги в сопровождении Муумины вошел в дом. Ливинд пригласил к себе на обед всех почтенных людей, вместе с Ника-Шапи. Обед был достойным желанного гостя. И курзе — особые горские пельмени с ароматными травами, и вареное мясо, и бицари — нафаршированные рисом, чечевицей и рубленой печенью бараньи желудки и кишки. Словом, всего было вдоволь, да так вкусно, что, как говорят горцы, от одного только запаха даже мертвый воскрес бы и уселся за эдакую трапезу.

— Ну что ж, после еды пора и в путь-дорогу,— сказал Хасан из Амузги, вставая.

Прощание было недолгим. Почти все жители провожали его до выезда из аула, а дальше, до реки, шли только Муумина и благодарный Ливинд. Муумина просила Хасана взять и ее с собой, но он отрицательно покачал головой, и она отступилась.

— Удачи тебе, сын мой! Во всех делах удачи! — сказал Ливинд, обнимая Хасана из Амузги.— Да поскорее опять найди дорогу к нашей сакле!

— Хасан из Амузги, я жду тебя! — проговорила и Муумина, опустив на плечо отцу свою голову и с нежностью глядя на любимого. Волна счастья поднялась в ее груди от того взгляда, каким он одарил ее на прощанье.

И скрылся за крутыми дальними поворотами белый всадник. Конь понес его будто на крыльях. Только пыль еще долго висела над дорогой, но и та медленно рассеялась.

ГЛУБОКИЕ КОРНИ

Похоронив свою старшую дочь, Исмаил не сразу оправился от горя. Он, пожалуй, впервые так остро, всем сердцем почувствовал, какая это великая беда — смерть родного человека...

А жизнь делала свое дело. Очнувшись, Исмаил осо-

знал, что в порыве душевной боли и ярости он совершил непоправимую ошибку. Ему и раньше не очень верилось, что племянник Сулейман единодушен с ним во всем. И вот свершилось: Сулейман поистине будто только того и ждал, чтобы получить полную волю. Поди-ка теперь оправдайся перед генералом Хакки-пашой. Да и не только перед ним. Имам из Гоцо и шамхал Тарковский, вернувшие Исмаилу все, что у него было отнято большевиками, тоже не простят ему. И хотя между собой они как кошка с собакой, но против большевиков стоят единой стеной. Исмаил ума не мог приложить, как ему теперь выкрутиться из создавшегося положения. Для начала он велел позвать Сулеймана. Тот не заставил себя ждать, но явился с Умаром из Адага, недавно сменившим Муртуза-Али, которого Али-Баганд отправил на другое задание.

— Это еще что за кожаная куртка в моем доме? — словно бы ничего не зная, угрюмо бросил Исмаил, скривив свое измученное, помятое тяжелым сном лицо.— Комиссар?

— Да, комиссар! — ответил Умар из Адага.

— Большевик?

— Да. Умар из Адага я.

— И что же ищет бывший абрек, а ныне большевик в моем хуторе? — спросил Исмаил, обращаясь к племяннику.

— Я нашел здесь добрых людей и навожу порядок! — вместо Сулеймана ответил Умар из Адага.

— Не тебя спрашиваю! — рявкнул Исмаил. Острым своим нюхом он уже почуял, что, пока он предавался горю, племянник, не раз благосклонно высказывавшийся о большевиках, теперь и вовсе переметнулся к ним. Возмущению Исмаила не было границ.— В моем доме большевистское логово устроил!

— Нам некуда больше деваться, дядя. И ты напрасно возмущаешься! — сказал Сулейман.— К тому же ты ведь и так расстроен, побереги себя. И постарайся поразмыслить, может и сам поймешь, что к чему.

— Ничего не понимаю, о чем ты? Кому это «нам» некуда деваться? — Понимать-то он понимал, но уж очень ему не нравилась самостоятельность племянника.

— Могу объяснить: нам — это нам с тобой. Если мы не с турками, если мы против Бичерахова и если мы не

выполняем приказов Горского правительства, то позволь мне спросить, с кем же мы тогда?

— Ни с кем я! Сам по себе! Мои люди и я!

— Смешно... Нет у тебя твоих людей.

— Как нет? А где же они, мои бойцы?

— Ты доверил их мне, вот я и распорядился...

— Отдал их комиссарам?

— Да. Это лучше, чем оказаться ни с чем и ни с кем.

— Безмозглый осел! Да чтоб твой род передох, чтоб тебе ослепнуть, околеть! Ты понимаешь, что ты наделал? Исмаил — и вдруг комиссары, а? Где мои бойцы? Немедленно выстроить их на майдане, я сам спрошу их, с кем они и за кого... Я приказываю, я хочу с ними поговорить! — Лицо его исказилось в злобной гримасе.

— Комиссар, сделай одолжение,— обратился Сулейман к Умару из Адага,— собери людей, а я пока побеседую с дядей. Быка за рога не удержал, теперь, видишь, хочет за хвост ухватиться...

— Мне не о чем разговаривать с родственником, который выбивает столбы из-под фундамента своего же дома.

— Не о чем, а придется. Припомни мудрое слово: лягнешь доброе, останешься со злом. У тебя теперь выбора нет!

— Ты еще и грозишь мне? Если бы у кошки крылья... Может, и арестуешь?

— Если понадобится...

— Сын блудницы! Убирайся к себе в Астрахань! — И Исмаил вдруг с размаху потной ладонью своей влепил племяннику пощечину, да с такой силой, что звук ее долетел даже до комиссара, спускавшегося по лестнице.

В блуждающих, мутных глазах Исмаила перемешались и ненависть и бессильная ярость.

— Ну вот что, дядя! Будь на твоем месте любой другой, я бы не задумываясь застрелил его. Тебе прощаю. Но пусть это будет в первый и в последний раз, что ты беснуешься. Пора во всем разобраться. Не думай, я тоже не дурак. Раз принял такое решение, значит, считаю, что так и надо поступать. Осмотрись вокруг. Постарайся понять, что делается в России. Молодая советская власть борется и побеждает. Идти против народа в таких обстоятельствах равносильно самоубийству. Не думай, что

я во всем подчинился большевику Умару из Адага. Просто я понимаю, что правда сейчас на их стороне. И должен тебе сказать, что мне тоже нелегко было с этим согласиться. Но когда я увидел, каким пламенем зажжены люди, я осознал, что с этого пути уже не свернешь... Если мы не пойдем за ними и даже впереди них, они нас растопчут...

— Я давно чувствовал, что из тебя не высечь искры для большого пожара.

— То, что сделал я, пришлось по душе твоим людям. Рано или поздно они все равно отвернулись бы от нас. Так не лучше ли быть с ними, под их защитой, чем оставаться в одиночестве? Пойми же наконец меня!

— И ты уверен, что большевики так сильны?

— Сила не в них одних, она в тех, кто готов идти за ними в огонь и в воду. А это народ...

— «Народ, сила»,— раздраженно повторил Исмаил.

И даже в этом раздражении Сулейман уловил нотку здравого смысла. «Неужели что-то поймет?» — подумал он. В это время доложили, что оба отряда построены на майдане. Исмаил осмотрел себя, поправил маузер на ремне и решительно шагнул из комнаты. Сулейман последовал за ним.

Бойцы удивили Исмаила своим необычно бравым видом и даже какой-то выправкой. Люди попросту преобразились. На лицах и следа не осталось от былой обреченной покорности. Глаза у всех горели достоинством и гордостью. Это, с одной стороны, обрадовало Исмаила, а с другой — задело по самолюбию.

— Чьи вы бойцы?! — спросил он, и это прозвучало очень глупо.

Приличия ради следовало сначала хотя бы поздороваться с людьми, поздравить с победой, которую они одержали над турками... Ему не ответили. Он повторил свой вопрос и снова не получил ответа. Тогда Исмаил поманил к себе пальцем одного бойца. Мухамедом его звали. Он тихо подъехал и спешился перед Исмаилом. Сейчас это был не тот человек, каким хозяин знал его раньше. Он смело смотрел вперед.

— Вот ты, скажи мне,— спросил Исмаил,— кому ты служишь?

— До сегодняшнего дня я и сам толком не знал,—

ответил боец,— а теперь знаю. Я служу соплеменникам своим и моему истерзанному краю.

— Кто твои враги?

— Все те, под чьим гнетом стонут наши аулы...

— Кто друзья у тебя?

— Друзья народа — мои друзья!

— А я кто?

— Ты родич нашего командира, дядей ему приходишься.

— И все?

— Да, все. Просто родственник.

— Ах ты, собачий сын! Родственник шакала! —вскинулся было Исмаил, но боец перебил его:

— Прошу уважать других, если хочешь, чтобы тебя уважали, Исмаил. Ты такой же, как и мы,— будешь с нами хорош, и мы с тобой добром...

— Да с кем ты разговариваешь? Забыл, чей хлеб ешь?

— Упрекаешь хлебом? Могу сказать, чей хлеб мы едим. Не твой. Хлеб принадлежит земледельцу, тому, кто его растил. А ты не пахал, не сеял, не собирал и даже тесто не месил...

— А чья это лошадь, уздечку которой ты держишь?

— Моя, пока я в отряде красных бойцов.

— Чье оружие у тебя в руках?

— Мое, пока я боец народа.

— И все вы так думаете? — обернулся Исмаил к своим, еще вчера вроде бы верным бойцам, показывая плетью на Мухамеда.

— Да, все так думаем! — хором ответили бойцы.

— И вы ничем не считаете себя обязанными мне? Мне, Исмаилу из хутора Талги, хозяину этой долины?

— Ничем! Кроме благодарности за то, что ты собрал нас здесь.

Комиссар Умар из Адага и командир этих красных отрядов Сулейман Талгинский переглянулись и усмехнулись. Исмаил, как ни странно, вдруг растерялся... Он не знал, что ему еще сказать и что делать. Наступило долгое томительное молчание.

— Да чтоб ваш род передох! — крикнул он наконец в сердцах...

— Не передохнет. У нашего рода, уважаемый Исма-

ил, корни глубокие, и имя ему — народ! — сказал Мухамед.— Несмотря ни на что, Исмаил, я тебя уважаю. Жизнь ты устроить умеешь. Будь с нами. Начнем вместе устраивать жизнь своего народа.

— Кто вдолбил в тебя эти премудрости?

— Добрые люди!

Мухамед чувствовал себя довольным и даже счастливым оттого, что вдруг так вот просто разговаривает с бывшим своим хозяином.

— Кто они, эти люди?

— Хасан из Амузги и наш комиссар Умар из Адага.

— И это ты говоришь мне сейчас такое? Да не вы ли всего несколько дней назад забрасывали грязью этого Хасана из Амузги? — зло ухмыльнулся Исмаил.

— Да, мы! На свою беду, делали это по твоей указке, теперь вот стыда не оберемся.

— Поумнели, значит? Так, что ли?

— Выходит, так.

— А точнее?

— Поумнели, Исмаил. Очень даже поумнели. И тебе бы не мешало, пока не поздно...

Призадумался старик. В эту минуту он был похож на привыкшего к легким победам самоуверенного борца, который вдруг, встретившись лицом к лицу с дотоле неведомым противником, неожиданно потерял самообладание и готов сдаться без борьбы...

Исмаил постоял-постоял и, резко повернувшись, быстро пошел к дому. За ним последовали Умар из Адага и Сулейман, приказав часовым смениться и быть начеку.

— Похоже, что старик сдался,— шепнул на ухо Умару Сулейман.— Я думал, будет хвататься за оружие, но он...

— Надо решить, как быть с турками? — сказал Умар из Адага.

— С этим ты обратись к нему! Он будет польщен тем, что с ним считаются, и на сердце у него полегчает...— посоветовал Сулейман.— А это нам только на руку.

Умар из Адага так и поступил. И в самом деле, Исмаилу, успевшему уже согреть себя огненной водой, такое обращение пришлось по душе. Он и правда подумал, что вот они и с ним считаются.

— Видеть их не хочу, этих турок. Выведите за хутор, и пусть убираются на все четыре стороны! — сказал он.

Но Умар из Адага с этим не согласился.

— Мы отпустим их, а они вооружатся и пойдут на нас же. Не забывай, уважаемый Исмаил, что Хакки-паша стоит под стенами Порт-Петровска.

— Так что же с ними делать? Расстреляем,— вызовем еще больший гнев генерала.

Туман в голове Исмаила явно рассеивался.

— У меня есть предложение,— сказал Умар из Адага.

— Какое? — Исмаилу стал даже нравиться этот вроде бы мягкий, с хитринкой в глазах, горец.

— Разумнее всего под охраной нескольких наших людей препроводить их к границам Азербайджана и выдворить из Дагестана.

— А башка твоя варит. Разумное говоришь,— довольно улыбнулся Исмаил.— Одолели вы меня, дьяволы.

— Делить нам с тобой нечего...

— Победите, все мое состояние разделите?..

Больше всего его опять же заботила судьба неправедного своего богатства.

— И ты не пропадешь. Будешь жить, как все. Есть станешь то, что заработаешь.

— А как же эта грязь? И кто за больными будет следить? Ведь уж сколько лет я здесь живу. Как-никак коечто понимаю в ее лечебных свойствах — кому она полезна, а кому нет...

— Вот и будешь этим заниматься.

— И на том спасибо! А что скажет Хасан из Амузги? Такое, что я с ним сотворил, человек человеку не прощает.

— В другое время он, может, и не простил бы. Но у него теперь заботы иные, заблудших в нашем народе немало. Хасан из Амузги главным своим делом считает, как бы ему побольше людей наставить на путь истины. Люди нам сейчас очень нужны... А месть — это не для него.

— Клад он нашел? — не удержался, полюбопытствовал Исмаил.

— Найдет! — неопределенно ответил Умар из Адага.— Клад этот ценен и важен для всех нас.

— А вдруг ваш Хасан из Амузги отыщет его, присвоит себе и был таков? И останетесь вы, как говорят сирагинцы, со своим бесхвостым ослом? А?

— Этого не может быть! — усмехнулся Умар из Адага.

— Вы так ему верите?

— Только с верой друг к другу можно делать общее дело.

Итак, попытка генерала Хакки-паши выбить полковника Бичерахова из города, охраняемого кораблями, бронепоездом, аэропланами и пушками, не удалась. Слишком малы были силы, с которыми он двинулся на Петровск. А в пути поредели и эти малочисленные его отряды. Часть людей перешли на сторону большевиков и двинулись в Леваши, где находился штаб красных. Повел их Ибрахим-бей, который должен был вместе с отрядами Исмаила пойти на Петровск с юга и создать тем самым впечатление, что наступление идет по всему фронту.

Под натиском численно превосходящих сил противника генералу пришлось отступить по дороге в Темир-Хан-Шуру к аулу Атли-Буюн, а преследовать его и вести с ним изнурительные бои полковник Бичерахов не решился...

Это был уже не тот уверенный в себе наймит Бичерахов, который еще недавно писал своему брату в Баку: «Дагестан у меня в руках, в помощь терцам я послал отряд в тысячу пятьсот человек при четырех полевых пушках, двух тяжелых орудиях, при четырнадцати пулеметах, двух бронированных автомобилях с автомобильной колонной, с достаточным количеством снарядов и патронов... Полагаю, что в ближайшее время Кизляр нами будет взят. Затем на очереди Грозный, и оттуда...»

Обстановка в последние дни резко изменилась, не в пользу Бичерахова. Положение англичан в Баку, да и во всем Дагестане очень осложнилось. Словом, под чужеземцами горела земля. Никакие суровые меры, никакая расправа над горцами, в каждом из которых подозревали если не большевика, так абрека, ни турок, ни англичан не приводили к желаемым результатам. Обещать они ничего не обещали, давать ничего не давали, а обирать население — одинаково обирали и те и другие. Еще в Темир-Хан-Шуре, в столице Страны гор, генерал Хакки-паша прознал, что повсюду в горах большевики

собирают силы, создают отряды красных бойцов и вооружают их. «Ах, мерзавец! — негодовал генерал, думая об Ибрахим-бее.— На месте бы надо его пристрелить за невыполнение приказа. Теперь все шамхалы и Исмаил станут надо мной потешаться. Ну ничего, я еще покажу этому английскому Бичерахову анатолийский шиш! Пусть только подоспеют обещанные отряды!»

Турецкий генерал, совсем как тот боец из кумыкской поговорки, побежденный, еще больше жаждал боя. Он ждал подкрепления из столицы от Горского правительства. Должны были подойти части экспедиционного корпуса. Но гонцы приносили неутешительные сообщения: то там, то тут горцы переходили на сторону большевиков. Доходили слухи, что даже иные турецкие офицеры шли на сговор с красными...

Генерал бесновался оттого, что не мог одолеть полковника. Он уже готов был заключить союз хоть с большевиками, хоть с самим дьяволом, лишь бы не осрамиться перед султаном, поручившим ему любой ценой завлечь горцев под крыло Стамбула. На него власти возлагали большие надежды. Уж очень хотелось султанской Турции завладеть таким лакомым куском, как Страна гор, и загнать ее народ под купол полумесяца.

Гонец из Талгинского хутора едва домчался до ставки генерала. Истекая кровью, он рухнул с коня. Его с трудом привели в чувство, и, задыхаясь, гонец проговорил:

— Хутор находится в руках красных отрядов, Исмаил — подлый предатель, а Ибрахим-бея и турецких аскеров там нет, они или расстреляны, или...

— Откуда ты взял, что Исмаил предал нас? — спросил Хакки-паша.

Но гонец уже не смог ответить. Он был мертв.

И без того раздраженный неудачами, после этой новой дурной вести генерал пришел в неописуемую ярость. Войдя в дом, он, не снимая сапог, повалился на тахту. Услужливые офицеры с раболепной поспешностью подложили генералу под ноги и под голову подушки и покинули его,— всякое можно ожидать от рассвирепевшего властителя. А он поистине был страшен в гневе. Раздулись ноздри мясистого носа, углубились суровые склад-

ки между бровями. Задвигалась вся кожа на бритой голове и большие торчащие уши.

Всякий раз, когда ему надо было принять какое-нибудь важное решение, генерал должен был лечь. Только в горизонтальном положении он способен был думать...

К полудню ждавшие в Агач-ауле возвращения Хасана из Амузги Муртуз-Али и Мустафа сын Али-Шейха были неожиданно встревожены шумом и грохотом. Откуда ни возьмись нагрянула конница. Это оказались турецкие части.

Они шли по аробной дороге, по тропам сквозь заросли дикой айвы, боярышника и дуркбы — мушмулы. И конные и пешие выглядели одинаково измотанными и усталыми...

Вот они — турки. У горцев и раньше были связи с ними. В Страну гор завозили турецкие книги, и в том числе «Историю Турции», написанную, между прочим, сыном этих гор даргинцем Махмуд-беем.

— Куда они направляются? — спросил Мустафа.

— Понять не трудно. В Агач-ауле они, похоже, останавливаться не собираются. А значит...— Муртуз-Али не договорил.

— Неужели в Талги?— встревоженно перебил его Мустафа.

— А куда еще? Они не простят Исмаилу резни.

— Что же делать?

— На коня и в хутор! Передай Умару из Адага, чтобы в драку не лез. Надо спасти людей. Пусть немедленно покинут хутор и подадутся в леса, поближе к этим местам...

— Успею ли? — пожал плечами Мустафа. Но через минуту он уже был на коне и выехал со двора...

Ровно в полдень прибыл Хасан из Амузги. В хурджине у него лежала книга с медной застежкой. Его встретил в сакле покойного Али-Шейха Муртуз-Али, очень чем-то взволнованный и обрадованный тем, что видит перед собой целого и невредимого Хасана. Они обнялись. Муртуз-Али сообщил Хасану, что Хакки-паша все-таки двинулся в сторону Талгинского хутора. Но Хасан из Амузги уже знал об этом. Он встретился с турками в

пути и чудом избежал столкновения с дозорными, проехавшими лугом, в объезд дороги, которую развезло после дождя.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СВОИ ИЛИ НЕ СВОИ?

Рукописная книга в переплете с медной застежкой конечно же никаким кораном не была. Но была она куда ценнее многих и многих книг, написанных арабскими письменами, в каждой из которых горцы видели только коран, что для них было равнозначно книге мудрости, по коей они поверяли все, что составляло суть их жизни.

Человек уходит из мира сего, а творения его рук остаются на земле, как немые свидетели страстей, взлетов и падений. Они говорят нам о времени и о событиях. И очень многое о предках своих люди узнают через вещи, которые на первый взгляд кажутся молчаливыми, но стоит обострить воображение, как они начинают говорить. Эта книга была книгой записей: интересных наблюдений, событий, имевших место в этих горах, обычаев, судеб людских, историй отдельных фамилий и записей всякого рода хадис — заповедей. А писалась книга некиим летописцем Хамза-Дагестанли, человеком, несомненно обладавшим умом и открытым сердцем, жившим лет сто пятьдесят тому назад. Надо думать, что был он из предков покойного Али-Шейха из Агач-аула.

На полях этой книги тут и там пестрели записи, сделанные уже явно после смерти Хамза-Дагестанли разными людьми в самые разные времена...

Хасан сын Ибадага из Амузги, довольный тем, что вот наконец-то тайна в его руках, раскрыл шкатулку, извлек оттуда ключ и лоскут, в который был завернут этот ключ. На лоскуте он прочитал надпись, а на обложке в конце книги нашел еле заметный надрез, вроде кармана. Аккуратно потянув, Хасан извлек сложенную вчетверо русскую газету. Внимательно обозрев находку, Муртуз-Али обрадованно потер ладони.

— Что там? — спросил Хасан.

— Декрет о мире и земле. Очень важный документ. Особенно для горцев. Ведь горец издревле привык верить тому, что написано на бумаге.

— Газета напечатана в Петрограде?

— Да. Это доброе оружие в наших руках!..

Хасан из Амузги снова потянул и извлек из кармашка кусочек белой материи, на которой было что-то написано черной тушью.

— Вот оно!.. Послушай, Муртуз-Али!..

И Хасан стал читать:

— «Слава тому, кто в час сурового испытания вместе с народом, кто жизнь свою готов сложить в борьбе во имя лучшего будущего народа! Вечное презрение тому, кто выступит против этого. Если ключ от тайны попал в твои руки случайно или завладел ты им злоумышленно — оставь, гнусный, свои тщетные надежды. А если ты так ловок и хитер и о тебе идет слава, что ты можешь пролезть сквозь игольное ушко, и если ты всякими уловками овладеешь всем, что содержит эта тайна, и задумаешь направить все это против святого дела народа,— вечное тебе проклятье! И знай тогда: суровый суд времени ждет тебя!

Если же ты друг справедливости на земле (а справедливость с народом, ибо и черный день, проведенный с народом, есть великий праздник), если в руках у тебя шкатулка из-под старой губденской башни и в ней заветный ключ, ты на верном пути. Приветствую тебя! Тайну эту знаю я и еще один человек, по имени Серго сын Васила. Живет он на первом полустанке от станции Шамхал в направлении Кумтор-Калы, в саманном приземистом домике с одним дымоходом и с двумя окнами, обращенными к востоку. С ключом в руках явись к нему и скажи по-русски: «Поклон и привет тебе от почтенного Али-Шейха». На что он должен ответить: «Как Али-Шейх может передавать мне привет, если он уж давно распрощался с жизнью?» Ты вознесешь руки к небу и скажешь: «А я от него, оттуда». Он спросит: «Может, скажешь, что и ключ от рая в твоих руках?» Ты ответишь: «Да, если имеется в виду рай на земле».— «Тогда я рад приветствовать тебя»,— скажет он.

Если такой разговор состоится, поверь этому человеку, как самому себе. Ну, а коли случится, что в эти су-

ровые дни и его, как многих наших братьев, постигнет беда раньше, чем ты к нему явишься, единственной надеждой для тебя будет этот ключ и твоя голова, которая подскажет тебе, какой замок ты должен отомкнуть. Удачи тебе!»

— Однако, задача мудреная! — промолвил Муртуз-Али, почесав затылок.

— Мудреная не мудреная, а тайна в наших руках! Что ж, в путь-дорогу, Муртуз-Али.

— Поехали!..

Время торопило их! Время подгоняло! Бои предстояли решительные. Горцы, в большинстве своем уже полностью осознавшие, что несет им советская власть, готовы были бороться за нее не на жизнь, а на смерть.

Хасан из Амузги и Муртуз-Али ехали по выжженной жарким солнцем солончаковой степи, вдоль не достроенного чужеземными инженерами, заброшенного и поросшего бурьяном канала Сулак-Петровск. Только ветер, шевеля редкие кустики ковыля и разнося полынный запах, полнил жизнью эту бескрайнюю пустыню.

Закатные облака были цвета недозрелого кизила, а солнце казалось раскаленным в горне небосклона огромным начищенным до блеска медным тазом.

От Шамхала повернули на запад к Кумтор-Кале, и очень скоро неподалеку от зеленеющей прогалины увидели саманный домишко с одним дымоходом и с двумя окнами, обращенными к востоку. У самого дома навстречу вдруг затявкала бесхвостая лохматая собачонка, да так агрессивно, словно того и гляди набросится на седоков и стащит их с коней.

Скрипнула одностворчатая низенькая дверь, и из дому вышел маленький сухонький старичок в форме железнодорожника. В руках он держал надкушенный ломоть от явно большого и очень спелого арбуза. Старик был в очках. Они съехали на самый кончик носа и делали его похожим на хищную птицу с большим клювом. Железнодорожник прикрикнул на собаку, она, виляя хвостом, примолкла и, недовольно фырча, отошла в сторону.

Хасан из Амузги спешился и подошел к старику, который почему-то вызывал у него недоверие.

— Поклон и привет тебе от почтенного Али-Шейха! — сказал Хасан из Амузги, пристально глядя в глаза старику.

— От какого такого почтенного? — Пронзительными глазками поверх очков старик словно бы насквозь буравил пришельцев. И гости недоуменно переглянулись.

— Твое имя Серго сын Васила?

— Да, меня зовут Сергеем, а отца величали Василием. Что вам от меня угодно?

— Поклон и привет тебе от почтенного Али-Шейха! — повторил Хасан из Амузги.

— Ну что ж, поклон так поклон. Заходите, будьте гостями. Правда, потчевать мне вас особо нечем, кроме как арбузом...

— Арбуз так арбуз,— в тон старику сказал Хасан из Амузги и, передав уздечку своего коня Муртузу-Али, пригнулся, чтоб не удариться о притолоку слишком для него низкой двери, и прошел в дом впереди хозяина. Едва он переступил порог, как на голову ему накинули мешковину и несколько пар рук цепко обхватили и стиснули его. Только не тут-то было. Всегда готовый к встрече с опасностью, Хасан не растерялся. В один миг напрягся, вырвался и сбросил с себя мешковину...

Их было трое. Это Хасан понял после того, как одного, словно мешок зерна на мельнице, перебросил через себя, другого метким ударом в висок рукоятью плети заставил отпрянуть в сторону и третьему, что кинулся на него с горящими, как у пантеры, глазами, ловко подставил ногу и свободной левой рукой ударил его наотмашь по шее, отчего тот растянулся у порога.

— Муртуз-Али, измена! Скорей на коня! — крикнул Хасан из Амузги, отбиваясь от наседающих на него людей, как от того раненого леопарда, с которым ему однажды пришлось схватиться в Ширинском ущелье, неподалеку от Амузги. Тогда он был один на один со зверем. Сейчас противников было трое, и тем не менее Хасан не сдавался. В доме уже, кажется, не осталось ни одной целой вещи: все перебито, раскидано. Хасан подобрался к самой двери — еще миг, и он выскользнет во двор. Но тут вдруг вскочил тот, что лежал распростертым у

порога, и сзади нанес Хасану в затылок страшный удар чем-то очень тяжелым. Хасан зашатался и зажал голову ладонями. В глазах все поплыло. Он упал и потерял сознание...

Услышав крик, старик, что оставался во дворе, бросив ломоть арбуза, юркнул в камышовые заросли. Муртуз-Али, секунду помедлив, подчинился приказу Хасана и, вскочив на коня, умчался в степь... Вслед раздались выстрелы, но он, свесившись с лошади с невидимой для противника стороны, продолжал путь. А вскоре выстрелы прекратились, и Муртуз-Али хлестнул коня. Надо было спешить за подмогой, кто знает, сколько там в доме людей и что еще они сделают с Хасаном. «Эх, как мы на сей раз неосторожно поступили,— подумал Муртуз-Али,— надо было сначала понаблюдать за домиком...» А как понаблюдаешь в открытой степи? Противники наверняка видели их еще издали...

Хасан из Амузги пришел в себя, но глаза открыть не решался. Попробовал шевельнуть пальцами и понял, что руки у него связаны и он полулежит на саманном полу, прислонившись к стенке. Ни оружия, ни пояса на нем не было.

— Ты не очень его пришиб? — это сказал старик, Хасан узнал его голос.

— Жить будет,— ответил кто-то хрипло, со свистом.

— Вам от него, я вижу, тоже досталось? — усмехнулся старик.

— Сильный он, дьявол!

Хасан открыл глаза. За столом, на котором краснел арбуз, сидели кроме старика еще трое — все недюжинной силы, широкоплечие, небритые, здоровенные парни. Легко орудуя харбукскими ножами, они ели арбуз.

— Того зря упустили...— промолвил старик.

— Да вот он...— сказал хриплый, кивнув на сидящего слева от него.

Хриплый казался старше двух других. Одет он был в солдатскую шинель без погон, подпоясанную ремнем. На голове кубанка с красным верхом.

— У него конь, что ветер,— я думал, подстрелю...— оправдывался парень.

— Думал... Хорошо хоть, думать умеешь,— презрительно бросил хриплый и, взглянув на Хасана, добавил: — А он, похоже, очнулся. Развяжи-ка, сынок, ему руки. Пусть поест с нами арбуз. Как-никак гость.

Молодой светловолосый, голубоглазый парень, с офицерской портупеей через плечо, подошел и развязал Хасана.

— Садись к столу,— предложил хриплый.

Хасан сел и не без удовольствия стал есть приятно сладкий холодный арбуз, рассматривая при этом всех сидящих так внимательно, будто хотел на целую вечность запомнить их лица. Особенно ненавистен ему был этот тщедушный старик.

— Итак, дорогой гость, ты, наверное, сам понимаешь, времени у нас не много, а потому лучше не виляй хвостом. Разговор будет короткий. Кто тебя послал и зачем ты здесь?

— И это все, что вы хотите знать?

— Да.

— А мне сначала хочется узнать, кто вы? И сколько ваши хозяева платят вам за гнусные дела?

— Язык ты мог бы держать покороче. Нехорошо уподобляться женщине,— ухмыляясь, проговорил хриплый, вытер свой острый нож с блестящим лезвием о полу бешмета, но не вложил его в ножны, а воткнул перед собой в стол.

— Обыскать!— приказал старик.

— Оружия у него нет,— пробурчал один из молодых, как две капли воды похожий на того, что развязывал Хасану руки.

Но старик так глянул, что они молча подчинились и встали. И было удивительно, что трое здоровенных, молодых парней покорны этому дряхлому старику, которому достаточно одного тумака, чтобы отдал богу душу.

Втроем парни вывернули у Хасана карманы и нашли ключ. В эту минуту Хасан очень пожалел, что ключ был не у Муртуза-Али.

— Откуда у тебя этот ключ? — спросил старик, вертя его перед своим носом.

— Нашел,—ответил Хасан из Амузги, с трудом сохраняя самообладание.

— Где же это он валялся, чтоб ты мог его найти!

— Там, где я его нашел.

— Итак, еще раз спрашиваю, кто тебя послал и зачем ты здесь?

— Забрел случайно.

— Молодой, а неразумный. Неужели не видишь, что шутить мы не собираемся и потому язык тебе придется развязать.

— Ничего я вам не скажу.

— А жизни тебе не жалко?

— Жалко.

— Молод, красив, наверняка влюблен в дочь какого-нибудь генерала или купца-армянина?..

— Это вас не касается.

— ...И она, конечно, ждет не дождется тебя? Ты и сам, видать, еще тот барсук. Одет, как индустанский раджа. Что же ты маскируешь под этой папахой, да еще с красной лентой?..

Хасан из Амузги молчал. Мысленно он перенесся в далекий от этих малярийных степей аул высоко в Зирех-Геранских горах, где ждут его не дождутся. Что там поделывает мать, как живет? Не сорвалась ли корова со скалы? Года полтора назад Хасан был дома. Мать-старушка стала какой-то непривычно маленькой, а в детстве она казалась ему большой, самой прекрасной и всемогущей... Затем Хасан подумал о Муумине, представил ее себе. Конечно же и она ждет, глаз с дороги не сводит — не появится ли белый всадник. А он опять так глупо попался, пренебрег советами комиссара Али-Баганда, не поостерегся. Теперь, похоже, живым отсюда не выбраться. А жаль, очень жаль прощаться с жизнью, когда впереди столько нового, неизведанного, столько дел... Неужели всем его светлым надеждам конец? Верить в это Хасану не хотелось. Но цена его жизни сейчас — предательство. Это не для Хасана, а значит, все...

— Кажется, он не хочет нас понять!— Старик встал и сделал хриплому знак, чтобы вывел пленника.

Прохладный ветерок ударил в лицо Хасану. В тени под высокими густыми акациями и раскидистыми ореховыми деревьями старик остановил всех и, словно бы что-то решая, стал ходить взад-вперед, заложив за спину руки. Парень в шинели, то ли от нечего делать, то ли

с намерением попугать Хасана, бросал в ствол дерева алтан-дис, особый метательный горский харбукский нож. Самодельные из буйволиной кожи ножны от этого ножа висели у него на ремне рядом с кинжалом. Нож очень метко вонзался в обструганный отрезок толстого ствола орехового дерева. Бросал его парень с довольно большого расстояния, отступя от дерева аршин на двадцать.

Старик вдруг остановился перед пленником и испытующе посмотрел на него.

— Красную ленту на папаху давно нацепил? — спросил он. И, не дождавшись ответа, добавил: — Большевик?.. Чего молчишь, язык проглотил? — И старик — откуда духу набрался — неистово заорал:— К дереву его!

Парни покорно схватили Хасана, подвели к стволу, тому самому, что служил мишенью хриплому, и привязали. Метатель отошел туда, откуда он бросал нож. «Ну, все!» — подумал Хасан из Амузги. Он поднял голову и посмотрел сквозь густую листву на небо, залюбовался пестрокрылой птичкой, сидевшей на ветке...

— Кончайте, нам пора! — скомандовал старик и отвернулся.

— А может, напоследок спросить его, вдруг да перед смертью заговорит? Неужели ему так уж надоело жить?..— шепнул хриплый старику, но тот только рукой махнул.

Хасан едва успел взглянуть на целившегося. Резким взмахом хриплый бросил нож. «Все, конец. Прощай, мать, прощай, Муумина!» — мелькнуло в голове, и веки невольно закрылись. Хасан услышал удар вонзившегося в дерево металла. «Что это?» Открыл глаза. Трое парней стояли и криво улыбались, а старик медленно шел к нему. Хасан услышал:

— Как это Али-Шейх может передавать мне привет, если он уже давно распрощался с жизнью?

— А я от него, оттуда...— вознес руки к небу Хасан из Амузги, и это было близко к истине. Всего минуту назад он и впрямь был «там». «Неужели это еще не конец? Тогда что это? — Хасан тяжело вздохнул: — Видно, надеются многое у меня выпытать».

— Может, скажешь, что и ключ от рая в твоих руках?

— Да, если имеется в виду рай на земле.

Вот-вот прозвучат последние слова: «Тогда я рад приветствовать тебя». Хасан ждал в нетерпении, но старик не произнес их.

— Хорошо заучил, мерзавец! И не ведает, что пароль давно заменен.

— Ха-ха-ха! — невольно засмеялся Хасан сын Ибадага из Амузги.— Кем заменен?

— Мной. И о том, что пароль другой, Али-Шейху известно!

Серго сын Васила не мог понять, отчего это вдруг пришельцу стало весело.

— Почтенный Серго сын Васила, а знаешь ли ты, что Али-Шейх и правда ушел из жизни?

— Что?

— Вот так-то. Уже три пятницы тому назад умер. Теперь и мне все ясно. Произошло недоразумение.

Хасан из Амузги вспомнил, как Мустафа говорил, что отец не успел сказать ему перед смертью что-то важное.

— Да развяжите вы меня! Хватит, и так душу замутили. Я Хасан из Амузги!

— Развяжите! Хасан из Амузги ты или кто другой, а только несешь чепуху. В прошлую пятницу Али-Шейха видели в полном здравии.

— Не стану я вам доказывать. С минуты на минуту его сын будет здесь...

— Мустафа?

— Да, он самый. А тот, кто сказал вам, что Али-Шейх жив, хотел, видимо...

— Войти к нам в доверие?..

— Может быть. Кто это был?

— Саид Хелли-Пенжи.

— Что? — удивился Хасан из Амузги.

— Да, он так назвался.

Странно, как мог попасть сюда Саид Хелли-Пенжи? Выходит, он следил за ними, когда они с Мууминой отрывали из тайника коран? Но...

— Этому негодяю вы, конечно, не учинили такой пытки?

— Нет. Но он ведь и не заикался о пароле...

— А что ему здесь нужно было?

— Проездом он. Ехал в Кумтор-Калу, а оттуда, кажется, собирался в Темир-Хан-Шуру.

— Зачем?

— Он не сказал, а мы не спрашивали.

— Тоже, конспираторы... А мне чуть мозги не вышибли.— Он потрогал шишку на голове, рывком подставив ногу, ударом в грудь свалил одного из тех, что помоложе, второго бросил через плечо, а хриплому так вывернул руку, что тот застонал.

Старик обомлел, не понимая, что вдруг произошло, а сыновья его (да, это были сыновья) уже изготовились броситься на Хасана из Амузги и растоптать...

— Ну хватит! Теперь мы квиты...— сказал Хасан. Сняв папаху, он показал свою бритую голову, на ней справа красовалась огромная шишка с кровоподтеком.— Убить же могли! Только этого мне и не хватало, чтобы у самой цели умереть, да еще и от своих...

— Ты тоже бьешь — не гладишь...— сказал хриплый.

— Кто они? — спросил Хасан, кивнув на парней.

— Мои сыновья. Четверо их у меня. Одного послал к Али-Шейху сообщить об изменении пароля. Он вот тоже от первой жены,— старик показал на хриплого.— А эти близнецы от второй. Вон и она возвращается. Ходила в Кумтор-Калу чуреки испечь. Идем в дом. Холодный йогурт из погреба да с теплым чуреком — это, брат, райская еда.

— Что ж, с удовольствием,— согласился Хасан.— Я голоден, как стадо волков...

А в это время вернулся четвертый сын, гонец к Али-Шейху, и, понятно, сообщил, что Али-Шейх умер и похоронен три пятницы назад, а сакля его на замке. Мустафы, мол, дома нет... Старик после этого и вовсе подобрел. Сыновья не без смущения подошли к Хасану из Амузги, о котором слышали так много восторженных рассказов. Вот ведь при каких странных обстоятельствах довелось встретиться. Хасан с улыбкой протянул им руку. Они поочередно почтительно пожали ее. Ничего, мол, не поделаешь, время такое, не всякому верить можно.

ДРАГОЦЕННЫЙ ТАЙНИК

Муртуз-Али возвращался к домику в степи с таким воинством, что, будь здесь хоть сотня вооруженных людей, и им бы не устоять. Мустафа сын Али-Шейха, сыновья Абу-Супьяна, комиссар новых талгинских красных отрядов Умар из Адага и их командир — племянник Исмаила Сулейман Талгинский, а с ними еще две сотни конных бойцов. Вот с какой силой возвращался Муртуз-Али на помощь Хасану из Амузги. При этом ему удалось вовремя подоспеть и предупредить жителей Талгинского хутора, чтобы подались в лес, а оттуда пробивались к Агач-аулу. Обманутый и в этих своих надеждах, генерал Хакки-паша отдал приказ сжечь дотла весь хутор. Аскеры «храбро» совершили сей безжертвенный подвиг в борьбе с незащищаемыми домами и несколькими отбившимися от хозяев собаками. И довольные тем, что на этом месте теперь уже долго не жить человеку, они попробовали было податься вслед за беглецами, но надвинулись сумерки, и генерал, не решившись на ночь глядя забираться в лес, объявил, что он устал, и велел раскинуть шатер...

Ночь уже украсили гирлянды звезд. Они нависли так низко, что на горизонте словно бы касались земли.

Остановив на расстоянии конницу, Муртуз-Али выехал с дозорными вперед. Беспокойство в душе у него было немалое. А что, если Хасана уже нет в живых? Тогда ведь наверняка те, кто устроил им эту ловушку, давно скрылись, а может, и у них достаточно силы и они самоуверенно ждут столкновения?..

Муртуз-Али еще издали увидел в окнах домика тусклый свет,— значит, обитатели его на месте. Подойти или подползти к домику без шума было невозможно — во дворе собака, она затявкает, как только учует чужих. Ну что ж! Тогда надо рисковать и ехать смело. Муртуз-Али подал знак, чтобы конница двинулась за ним, и сам вместе с дозорными подскакал к дому и крикнул:

— Дом окружен, выходи, кто есть!

Из дому вышел один Хасан из Амузги.

— Долго же пришлось ждать от тебя помощи, брат Муртуз-Али. За это время они могли меня семь раз четвертовать.

— И здесь тебя спасли твои мускулы и кинжал? Не думал я...

— А что ты думал?

— Боялся, расправятся с тобой эти дьяволы. Где они, что ты с ними сделал?

— Ничего. Сидят у себя дома.

— Что?..— не поверил ушам своим Муртуз-Али.— Так кто же они?

— Свои люди.

— Ну я рад, Хасан, рад, что ты живой! — Муртуз-Али обнял его за плечи.

— Выходите, вы окружены! — весело крикнул Хасан. И из домика выбрались сначала старик, а затем и его сыновья.

— Ничего не понимаю! — пожал плечами Муртуз-Али.

— Добро пожаловать в гости,— поклонился ему Серго сын Васила.— Состарились у меня глаза в ожидании друзей.

— А сын Али-Шейха с тобой? — оглядывая приехавших, спросил Хасан.

— Не только он. Умар из Адага, Сулейман с отрядами, сыновья Абу-Супьяна... Слышите, кавалькада приближается?..

— Жарко бы тебе было, Серго сын Васила, если бы ты довел свою игру до конца? — улыбнулся Хасан.

— А где же я размещу стольких людей? — не ответив Хасану, развел руками хозяин.

— Не беспокойся, отец,— сказал Муртуз-Али,— турецкие аскеры «поделились» с нами добротными палатками и шатрами.

— Да и бурка у каждого есть.

— Ну что ж, это уже лучше! Хорошо, что столько бойцов прибыло. Они здесь будут нужны не на один день...— Старик повернулся к сыновьям:— Ну, сыны мои, режьте последних барашков, попотчуем на радостях гостей добрым шашлыком.

Скоро степь наполнилась приятным духом шашлычного дымка. И пошли разговоры вокруг десятков костров. Рассказывали о том, как Серго сын Васила принял друзей, о том, что Хасан из Амузги вовсе и не простил

Исмаилу, а, напротив, обещал в скором времени прокатить его на самом паршивом ишаке.

И никто из отрядных бойцов не ведал, что после их отъезда в лесу близ Агач-аула бывший предревкома Хажи-Ахмад, знавший, как погибла его жена, встретился наконец на тропе мести с Исмаилом. Обезумев от гнева, он оседлал Исмаила ослиным седлом, навьючил корзинами с кизяком и, погоняя палкой, водил его по Агачаулу целый день до самого вечера, а потом их обоих больше никто не видел...

Но о чем бы ни говорили здесь люди, а у всех на уме было одно: какой такой тайной владеет старый подпольщик, железнодорожник Серго сын Васила, и когда он откроет ее.

Теперь этот старик, поначалу показавшийся Хасану похожим на хищную птицу, производил совсем другое впечатление. Он уже даже нравился Хасану. Зеркало гнева и ненависти, как видно, криво отражает людей.

Разговоры у костров затянулись на всю ночь. Почти никто не спал. А на рассвете Серго сын Васила, оставив у двери на страже вооруженных ножами сыновей, подозвал Хасана из Амузги, Муртуза-Али, Умара из Адага и Сулеймана Талгинского и вошел с ними в дом. Засветив лампу, старик велел поднять в одном из углов несколько половиц, затем снять слой глиняного пола. Под глиной оказалась чугунная крышка, закрытая на замок. Серго сын Васила отомкнул замок и осторожно спустился вниз. За ним последовали остальные.

Тут было чему удивляться. Под маленьким неказистым домишком оказалась огромная кладовая — пещера в несколько рукавов, протянувшихся очень далеко. Эти места, верно, раньше были дном морским, а потом из окаменевших ракушек образовались своды... Но удивительнее всего было то, что скрывалось под этими сводами. Целый арсенал!.. Сотни и сотни аккуратно уложенных, хорошо смазанных винтовок, пулеметы и... патроны. Бессчетное количество патронов! Чудеса!

Революционные отряды горцев обретали с этим оружием утроенную силу.

— Откуда все это? — удивился Хасан из Амузги.— Здесь не хватает только бронепоезда.

— Откуда, говоришь? Нелегко оно нам досталось,— покачал головой Серго сын Васила.— В операции по захвату оружия был смертельно ранен Осман Цудахарский. Оружие мы добыли с того самого поезда. Слыхали, наверное, про двадцать три вагона, что прибыли с юга на станцию Петровск...

— Как же вы все проделали? Ведь тогда исчез весь поезд! Ни вагонов, ни паровоза не нашли...

— Да и не могли найти,— с гордостью сказал Сергей Васильевич.— Перебили мы в ту ночь всю охрану поезда — она из юнкеров была,— сели да поехали, а до этого предварительно отвели от Кумтор-Калы ветку за песчаный бархан Сары-Кум. Поезд и проехал по этой ветке до самого тупика. Мы затем путь этот разобрали и сровняли землю.

— И все за одну ночь?

— Да. С нами было две сотни бойцов Османа Цудахарского.

— И вагоны с паровозом до сих пор там стоят?

— Да, стоят занесенные песком. А оружие мы с Али-Шейхом перевезли на арбах вот в эти катакомбы. И с тех пор я с нетерпением ждал вас... Вот теперь наконец гора с плеч и на душе полегчало.

— Долг свой вы исполнили честно. Спасибо вам, отец! Но как же доставить такое количество оружия в горы?

— Собрать надо арбы, лошадей навьючить. Ни в коем случае не одним караваном. Четыре-пять рейсов надо сделать. А для охраны в пути людей у вас, слава богу, достаточно...

— Меня сейчас тревожит одно,— сказал Хасан из Амузги, когда они выбрались из чудо-пещеры,— что искал здесь Саид Хелли-Пенжи?

— А он разве был тут? — обернулся старший сын Абу-Супьяна.

— Был. Только поди знай, случайно заехал или что-то вынюхивал?..

— Этого мерзавца надо было... Ну ничего, как говорят, и в молоке волосу не укрыться.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать, брат мой...— перебил Хасан сына Абу-Супьяна.— Что думает Серго сын Васила?

— По-моему, он забрел сюда случайно. Я ничего за ним не заметил. Но кто его знает...

— Надо быть начеку. Не нравится мне то, что он нам всюду на пятки наступает...

— Зря мы его пощадили. Чует мое сердце — добра от него не жди,— со вздохом проговорил старший сын Абу-Супьяна.— Нутром он гнилой человек...

— Арбы и фургоны можно добыть в близлежащих селах. Кумторкалинцы пойдут нам навстречу,— сказал Сергей Васильевич.

— В Эки-Булак и Атли-Буюн тоже надо послать верных людей...

— Я могу поехать в Атли-Буюн,— предложил Мустафа сын Али-Шейха,— там у меня кунаки и родственники...

— Ты, Муртуз-Али, поезжай в Кумтор-Калу, а вы, сыновья Абу-Супьяна, в Эки-Булак...— сказал Хасан из Амузги.— На вас вся надежда. В добрый вам час! И возьмите с собой по три человека.

— Мои парни — друзья абреков из Аксая. Думаю, тоже не подведут...

Сыновья Серго сына Васила вышли вперед.

Остальные бойцы принялись за работу — стали выносить оружие из пещеры, готовить камыш и сено, чтобы потом это оружие замаскировать на фургонах и арбах.

Уже на следующий день первые арбы двинулись из степи в горы, в сопровождении тридцати бойцов во главе с Хасаном из Амузги.

На пятый день белый всадник предстал на перевале Чишили перед комиссаром Али-Багандом. Радость морем выплеснулась на лицо комиссара. Он обнял Хасана за плечи и проговорил:

— Я верил в тебя! Спасибо! Да что моя благодарность, народ твой скажет тебе спасибо!..

Вслед за первой партией стали прибывать еще и еще арбы и фургоны, груженные оружием. Не считая отдельных мелких стычек, почти вся операция по вывозу арсенала прошла благополучно. Но последний караван был атакован эскадроном Горского правительства.

В этом столкновении погиб Серго сын Васила — Сергей Васильевич Тульский. Фамилию его узнали только после смерти. Погибли также Муртуз-Али и бойцы. Из три-

дцати их осталось в живых всего шесть человек. Выжили все четыре сына железнодорожника. Они-то и описали, как выглядел командир эскадрона. По всем приметам и по шраму на лбу это был Саид Хелли-Пенжи. Вспомнилось, что Сергей Васильевич говорил, будто тот пришелец пробирался в Темир-Хан-Шуру. «К князьям подался,— подумал Хасан,— продался шамхалу Тарковскому. Только и этому он недолго прослужит, тоже продаст».

Скверно было на душе у Хасана оттого, что так он обманулся... А что, если во всем случившемся есть и его вина? Может, нельзя было бросать Саида, в надежде, что сам отыщет верный путь?..

Трудно сказать, что в этом человеке привлекло Хасана. Может, сознание того, что в нем заложены недюжинная сила, отвага, ловкость и желание изменить свою жизнь? Так или иначе, Хасан из Амузги хотел верить Саиду Хелли-Пенжи и обманулся в нем. Теперь вот так же, как и сыновья Абу-Супьяна, жаждут мести и сыновья железнодорожника. И этому блудному сыну с клейменым лбом на сей раз не уйти от расплаты. Теперь уж и Хасан не встанет на его защиту, и наоборот — он сам готов привести в исполнение самый суровый приговор...

Весть о гибели брата глубоко потрясла Али-Баганда. Сердце кровоточило. Каково это, потерять младшего брата, на которого к тому же возлагал такие надежды! Из Муртуза-Али определенно вырос бы настоящий воин, а то и полководец. И вот его уже нет. Навсегда похоронен в Каякентском лесу. И никогда больше Али-Баганд не пожмет его руки, не обнимет. Невеста в ауле поплачет, потом выйдет замуж за другого и забудет, а брат будет горевать до конца жизни.

К Али-Баганду стали стекаться люди с выражением соболезнования. От этого на душе чуть потеплело: значит, знают брата, помнят, а потому не забудут. Ни одного из тех, кто пал за святое дело, не забудут. На место погибших в ряды борцов встают десятки других. Растет число бойцов революционных отрядов. Под командованием Али-Баганда уже две тысячи конных отрядов, до тысячи пятисот пеших. И все они готовы в любой день и час выступить на врага, ждут только приказа Революционного комитета...

БОЙЦЫ СПУСКАЮТСЯ С ГОР

Суровы и живописны Сирагинские и Даргинские горы. Там и тут лепятся к скалам аулы. В хмурые, туманные дни они скрываются в дымке, и, только подъехав или подойдя совсем вплотную к сакле, различишь, что это жилище.

На покатом Чишилийском плато горят сотни костров, вдоль всей лесной опушки разбиты палатки, натянуты тенты из бурок и особого войлока, высятся наспех сколоченные или сплетенные из жердей и крытые сеном шалаши... Рождаются и вооружаются полки Красной гвардии, отряды красных партизан, эскадроны особого назначения. Бойцов тут обучают ведению боя, обращению с пулеметами и всяким другим оружием. Ни в какие иные времена у горцев не было такого количества оружия и столь могучей силы, а главное, не было такой яростной решимости бороться, чтобы побеждать, причем решимости, до конца осознанной самими бойцами. А ведь большинство из них — это вчерашний наемный чабан, златокузнец, землепашец. Теперь они лихо джигитуют на конях, и молнией сверкают в их руках сабли, кованные амузгинскими кузнецами. Постигают бойцы и мудрость владения «максимом», учатся держать в мозолистых руках боевую винтовку... Мишенями им служат папахи, надетые на шесты, или плоды грецких орехов, еще дозревающие в своих зеленых панцирях. А иные ухитряются, бросив вверх медную монетку, на лету попасть в нее из револьвера или из однозарядного харбукского пистолета...

Инкилаб — революция — стало понятием, близким всем. Оно объединило и вот этого сирагинца в лохматой гулатдинской папахе, и парня из Кара-Кайтага, которому еще ни разу в жизни не довелось досыта поесть, и этого кумыка из Атли-Буюна, и хунзахца в черной андийской бурке, и лезгина в чарыках из Юждага и табасаранца в теплых цветистых шерстяных носках — журабах, подшитых кожей, и лукавого казикумухца, вчерашнего лудильщика, который сейчас наверняка думает, как бы ему перехитрить в предстоящих боях противника, сразить наповал, а самому остаться жить до лучших дней. Здесь собрались все, кем богата Страна гор и Гора

народов... Коли есть в семье три сына, двое из них пришли сюда, два сына в семье — оба здесь, нет сына — отец за него. В том случае, когда в семье не оказалось носящего папахи, дочь или мать отдали последнюю горсть муки идущим в бой. Иные горянки сами пришли на Чишилийское плато, готовить пищу для бойцов...

Музыка революции звенит в каждой душе, и вокруг костров гремит песня, рожденная в дни суровых испытаний:

Беда, когда град в жаркое лето
В горах валит всадника с коня.
Беда, когда в лютую стужу
Молния косит в дороге певца.
Беда, когда в двадцать лет
Прощается с жизнью человек.
Беда, когда сиротеют дети,
Когда у невест иссякают слезы.
Беда, когда скакун стреножен,
А облезлый осел пасется на воле.
Беда, когда в сакле гнездится горе,
Когда на свадьбе не гремит барабан.
Беда, когда рвутся струны,
Когда песню рубят сплеча.
Беда всем бедам на земле...

Все, что извечно оставалось без ответа, вся боль людских сердец звучала в этой песне...

Как велика должна быть у людей ненависть к человеку, именем которого они наделяют собак. Полковник Бичерахов за короткий срок удостоился среди горцев этой «чести». «Бичерах, Бичерах!» — кличут по аулам собак.

Решив запереть на замок многокилометровые береговые полосы от Дербента до Порт-Петровска и даже дальше, Бичерахов ни перед чем не останавливался. Его наемные каратели учиняли жестокий террор, вызывая у горцев злобу, ненависть и противодействие. Понятно, что они мстили казакам, а те, забывая о причине этой мести, объявляли горцев головорезами, бандитами...

Турецкий генерал Хакки-паша, считавший зарвавшегося полковника своим первейшим врагом, тем не менее ничего не мог пока с ним поделать. На этой почве у него даже вышли нелады с так называемым Горским правительством, и в первую очередь с такими его представителями, как Нажмутдин из Гоцо и шамхал Тарковский, ко-

торые медлили там, где требовались решительные действия,— видно, поделив между собой власть, на том и успокоились, никто, мол, теперь их не тронет, остается только сидеть в своей столице Темир-Хан-Шуре и печатать деньги. А что цены те деньги не имеют, так это не столь важно... Кроме всего, поводом для недовольства Хакки-паши послужило и то, что Горское правительство пригласило в Темир-Хан-Шуру представителя английской военной миссии полковника Ролландсона. Этим они очень напоминали кичливого хозяйчика, который, стоя на своей крыше, бахвалился: я, дескать, наверху. И не видел он при этом, что люди на другой крыше над ним посмеивались.

Генерал назвал горе-правителей безмозглыми ослами и ушел с одним намерением — пусть в союзе с кем бы то ни было, лишь бы сразиться с полковником, победить его, а там будь что будет. И он послал своего гонца с таким предложением в штаб красных комиссаров... Прослышав об этом, самозваные правители объявили, что турки предали веру.

А турки тем временем метались от одних к другим. Шатким и неустойчивым было их положение, ни с кем они не находили общего языка. Даже враги революции не соглашались на протекторат Турции в Стране гор. Они выдвинули свой лозунг: «Единый и неделимый Дагестан, независимый ни от Турции, ни от России». Но при этом с заискивающей улыбкой пожимали руки представителю Англии Ролландсону.

Почему бы комиссарам и командирам красных отрядов не воспользоваться решимостью турецкого генерала и не поставить на колени наглого, самоуверенного полковника, в руках которого оказались стратегически важные пункты на побережье и железная дорога?

Так оно и случилось. И революционно настроенные горцы вместе с турецкими аскерами, разбившись на два фронта — Дербентский и Петровский, двинулись с гор на побережье... Комиссар Али-Баганд послал пятьсот конных во главе с Умаром из Адага и столько же пеших во главе с Мустафой сыном Али-Шейха на Петровское направление. Сам же комиссар с оставшимися частями, где одним из красных кавалерийских полков командовал Сулейман Талгинский, выступил на Дербент. А под

командованием Хасана из Амузги был создан эскадрон особого назначения, который двинулся с гор Каба-Дарга на захват бронепоезда, стоявшего на ремонте на полустанке Манас. В этот эскадрон влились все четыре сына Абу-Супьяна и сыновья Сергея Васильевича.

На ключевых позициях у Дербента и Порт-Петровска разыгрались жестокие бои. Решительные бои шли и у горы Тарки-Тау. На сей раз генерал Хакки-паша, похоже, торжествовал. Английские наемники и полки Бичерахова были оттеснены к морю. Однако в ночь, когда освобождение Порт-Петровска было уже почти завершено, генерал Хакки-паша дал своим аскерам приказ отходить, сославшись на то, что он якобы получил повеление покинуть не только боевые позиции, но и Дагестан. Такие действия можно было расценить не иначе как предательство. Узнав о приказе Хакки-паши, возмущенный до глубины сердца Умар из Адага предстал перед турецким генералом:

— Ваша честь, паша, правда ли то, что услышали мои уши?

— Что именно?

— Вы снимаете своих аскеров с позиций?

— Да. Мне велено срочно вернуть их на родину.

— А не похоже ли это, уважаемый паша, на предательство?

— Вот гонец с приказом.

— Гонец мог на один день опоздать или даже совсем не прибыть, паша! Всего несколько часов, и мы займем город, который раскинут перед нами.

— В том-то и дело, что мне велено сберечь людей! — сказал генерал, на ходу отдавая один за другим приказы своим штабным офицерам, чтобы построили полки и двинули их в сторону Агач-аула.

— Генерал, да не смолчит в тебе честь воина! Остановись, помоги нам!..

— Не могу, не имею права...

Хакки-паша не стал вдаваться в подробности и объяснять, что побудило его принять такое решение. Он счел, что этому далекому от премудростей века горцу не уразуметь таких событий, как аннулирование Брестского договора по части советско-турецких отношений, и того, что

на самой анатолийской земле назревали такие события, которые грозили крахом двухсотлетней Оттоманской империи и жестокой тирании султана. Последний султан Турции Махмед VI, опасаясь революции, готовился подписать позорный для султаната договор о перемирии. Потому-то генерал Хакки-паша рассудил, что ему незачем спасать чужую саклю, когда его собственный дом охвачен пламенем.

— Позволь мне, паша, обратиться к твоим аскерам,— может, среди них найдутся добровольцы, которые вызовутся помочь нам,— сказал Умар из Адага.

— Нет, не позволю! — вскричал Хакки-паша.

Он знал, чем это пахнет. Близкое соприкосновение с комиссарами да большевиками и без того посеяло в аскерах зерна свободолюбия, которые могут дать нежелательные всходы. И кого-кого, а его, пашу, по возвращении в Турцию по голове за это не погладят.

— Сами затеяли свару, сами во всем и разбирайтесь! Прощайте! — сказал он.

— Прощай, генерал! Смотри не споткнись! — Умар из Адага укоризненно глянул на него и отвернулся.

Под гневными, сдержанно-молчаливыми взглядами горцев окруженный офицерами Хакки-паша сел на коня и уехал, но с холма два всадника повернули коней обратно и подъехали туда, где, рассматривая в бинокль Порт-Петровск, стоял Умар из Адага. Это были два турецких офицера. Может, совесть в них заговорила — они предложили комиссару свои услуги. Умар из Адага с благодарностью пожал им руки.

Кучевые облака тут и там разрывали рассветные лучи.

Тревожные мысли одолевали бесстрашного горца, бывшего абрека, которому теперь доверена жизнь многих и многих, и потому он не волен распоряжаться своей жизнью, связанной с судьбами этих людей, полных решимости не отступать, а добить уже порядком изнуренного противника и освободить Порт-Петровск.

Хватит ли сил не проиграть этот бой?.. Из-за моря, из-за кромки облаков на небосклоне поднималось кроваво-красное солнце, и свет его коснулся дымящихся труб пароходов в гавани порта...

Эскадрон особого назначения под командованием Хасана из Амузги с песней, приветствующей рассвет, двинулся через склоны Мизгури.

Утро выдалось холодное, всадники все в бурках. На Хасане из Амузги белая гулатдинская бурка. Путь они держат к скалам, за которыми укрылся столь же древний, как и некогда сожженный арабами Город Свечей — Шам-Шахар, живописный аул Куймур, где живет бывший слепой Ливинд и его несравненная дочь Муумина — драгоценный камень в недорогой оправе. Отец и дочь ждут своего белого всадника.

А путь белого всадника пролегает через Куймур в степь, к железной дороге по морскому берегу, на полустанок Манас, где ждет его бронированный кулак наемника инглисов — англичан. Долг гонит Хасана туда, а дума, да и белый конь под ним тянутся к ней, к той, у которой ясная, как рассвет, улыбка, чистый, словно бы весь мир отражающий, взор, к той, которая — в этом он уверен — день и ночь повторяет: «Хасан из Амузги, я жду тебя!» Как ему хочется предстать перед ней с солнцем в руках, белым сказочным всадником из ее сказки, явиться и сказать: «Здравствуй, Муумина!»

Хасан все смотрит на отвесные известковые скалы, будто надеется сквозь них разглядеть знакомую ветхую саклю на окраине аула и то необыкновенное сияние на лице Муумины... Можно завидовать полету орла над ущельем, завидовать реке, что пробивает себе путь через теснины, завидовать ягненку, что резвится на лугу, но без зависти можно гордиться человеком, который сам обладает всеми этими качествами. Он выше полета орла, он сильнее, чем горный поток, и в радости резвее, чем ягненок...

Мечты Хасана из Амузги прервал подъехавший на разгоряченном коне младший сын Абу-Супьяна. Он был в ночной разведке.

— Удачи тебе, Хасан из Амузги! — сказал сын Абу-Супьяна.

— Приветствую тебя! По лицу вижу, ты принес нам тревожную весть. Говори же, что тебе ведомо...

— В сторону аула Куймур движется отряд белоказаков...— сообщил сын Абу-Супьяна, гарцуя на беспокойном коне.— Отряд этот охранял бронепоезд. Всякий раз,

когда у службы бронепоезда иссякало продовольствие, он делал вылазки в близлежащие аулы...

— Численность?

— Полсотни сабель и четыре офицера-золотопогонника в черкесках.

— Ты говоришь, они направляются в аул Куймур?

— Да.

— Не ошибаешься ли? — спросил Хасан из Амузги, очень взволнованный этим сообщением. Враг будто услышал зов его сердца и вот предоставляет случай волей-неволей попасть в Куймур.

— За что обижаешь меня, Хасан из Амузги? Я ведь, кажется, пока еще не давал тебе повода сомневаться во мне! Скажу одно: надо спешить.

— Прости меня! — Хасан обернулся к бойцам и спросил: — Слышали, братья?

— Да.

— Ну и как?

— Мы готовы следовать за тобой! — в один голос выдохнул эскадрон лихих бойцов.

Они любили своего командира и пошли бы за ним в огонь и в воду...

И сорвался с места, поднятый как порывом ветра, эскадрон, и понесся он вихрем по сухой пыльной дороге. Впереди на белом своем коне командир, за ним верные ему друзья и соратники.

Никогда еще, ни в какие другие времена не выступали горцы на врага с такой осознанной сплоченностью, с единым биением в сердцах. Нет, это не было похоже на слепой религиозный фанатизм, гнавший отряды газавата на бой с гяурами, не было похоже и на жажду наживы в буйных набегах, когда одни мечтали о богатстве, а другие — лишь о том, чтобы заткнуть дыры бедности за счет ограбления другого.

Сейчас это был революционный порыв, вера в свободу и в то, что она наконец преобразует их жизнь.

На фоне этого порыва все личное, все тревоги и волнения одной души — что тусклое пламя одинокого очага перед солнцем, дающим свет и тепло всем и всему.

НАЧАЛО БОЛЬШИХ СРАЖЕНИЙ

В час, когда восходит утренняя звезда, жители аула Куймур были разбужены зычным голосом мангуша — глашатая Юхарана. Он сообщал сельчанам тревожную весть: на их аул движется отряд белоказаков. Юхаран просил почтенных старейшин срочно собраться, чтобы решить, что делать, как быть. И стар и млад — все поднялись, встревоженные недоброй вестью. Даже больные встали с постелей. Люди связывали в узлы все, что было в домах мало-мальски ценного. Медные подносы, котлы, кувшины прятали в погребах, зарывали в землю. Скот выгоняли со двора, готовясь покинуть аул и податься в леса за рекой, в ущелье Мельниц, не дожидаясь, пока-то там старики и почтенные люди решат, что надо делать...

— Всем уходить в леса! — сказали старейшины.

— А как же больные? Как сакли? Ведь явятся, увидят, что жители покинули их, все сожгут и разрушат! — посыпались вопросы.

— Что делать, Ника-Шапи? Посоветуй.

— Вы же совсем недавно презирали меня, а теперь спрашиваете совета! — равнодушно перебирая четки, бросил Ника-Шапи.

— Сейчас не время поминать обиды. На нас надвигается беда!..

— Что ж, есть у меня мысль.— Ника-Шапи уставился на носок своего чарыка и, не поднимая головы, добавил: — Ведь не звери на нас идут, люди...

— Какие же это люди, нечестивцы!..

— Ты разве не слыхал, что они натворили в Мамай-Кутане? Вырезáли семьями. В ауле Баркай тоже...

— Детей саблями рубят.

— Рубят, да! — сказал Ника-Шапи.— Только рубят тех, кто сопротивляется...

— Так что же ты предлагаешь?

— Они — люди. Их тоже растили отцы и матери, у них тоже есть глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, языки, чтобы говорить. Я думаю, лучше будет, если мы пошлем им навстречу для переговоров нашего представителя... Пусть договорится с ними, спросит, чего они хотят. Если продовольствия, то сколько, если овец да коров — тоже сколько. Может, и люди им нужны — все на-

до решить по-доброму.— Ника-Шапи умолк и с видом человека, который, как говорят куймурцы, обутым хочет пройти через врата рая, оглядел всех присутствующих.

— А это, пожалуй, мысль! — сказал кто-то в толпе.

— Он и верно разумное говорит,— поддержали вокруг.

— И кому, как не Ника-Шапи, представлять наш аул, просить за нас!..

— Выручай, Ника-Шапи.

— Век будем за тебя молиться!

— Что ж, вся моя жизнь на службе у аульчан!..— Ника-Шапи говорил, а в душе его ворочались валуны ненависти. Вот наконец-то он может избавиться от новоявленного святого. Случай — лучше не придумаешь.— Я бы рад и сейчас, но поймите меня, люди добрые, не умалите ли вы чести нашего почтенного Ливинда, послав с такой важной миссией меня? Да вы, кстати, и пригласить его забыли. А ведь имя его аульчане с некоторых пор ставят рядом с именами святых.

— И в самом деле, где же он?..

— Почему его нет? Позовите Ливинда!..

— Я считаю,— продолжал Ника-Шапи,— что такое святое дело впору только Ливинду...

Почтенные пригласили Ливинда, и, в ответ на их решение, он сказал:

— Воля общества для меня закон. Я все исполню!

Муумина и плакала и молила отца не ходить к белоказакам:

— Они ведь так жестоки!

Но Ливинд дал слово и не собирался его нарушать. Как можно, люди сочтут его трусом, недостойным не только что звания святого, но и папаху носить...

И тогда Муумина заявила, что она пойдет с отцом, одного его не отпустит, потому что ведь общество не дает ему ни оружия, ни спутника.

Ливинд, как мог, утешил, успокоил свою любимую дочь, вытер с глаз ее чистые, как роса, слезы, уговорил остаться дома, взял свою сучковатую палку, с которой он ходил, когда еще был слепым, сел на лошадь, на которой вернулась с Хасаном в аул его дочь, и пустился навстречу неизвестности.

«Хотел быть первым в ауле — испытай теперь, какова эта нелегкая ноша!» — торжествовал в душе Ника-Шапи. В нем вдруг обнаружилась такая нора зла! Очень, оказывается, он мелкий и злой человек. Ко всему, Ника-Шапи еще послал вслед Ливинду своего старшего сына. Вооружив его длинноствольной кремневкой, он велел выследить, когда Ливинд встретится с незваными гостями, и выстрелить в тех, в чужаков.

Сын Ника-Шапи удивленно пожал плечами,— зачем, мол, это? «Так надо для пользы дела»,— сказал Ника-Шапи, заранее зная, что добром это не кончится. Сын, не смея возразить отцу, отправился в путь за Ливиндом. А Ника-Шапи тем временем стал собирать свою семью в дорогу, понимая, что ему лучше удрать.

Долго ли, мало ли ехал Ливинд, доехал он туда, где разлилась река, где каменистый берег сплошь зарос раскидистым лопухом,— до местности, которая славится тем, что там, как говорят люди, сирагинцы сушат чарыки...

Может, оно и не ко времени будет сказано, но вспоминается один случай. Сирагинцам, как утверждают, бурная река не помеха, особенно если нет моста, по которому ее перейти можно. Увидали как-то косари-куймурцы, что два сирагинца привязали себя к бревну и поплыли к другому берегу. Что уж им помешало, сказать трудно. Может, силу ветра не рассчитали, а может, камень на пути попался — бревно посередине реки перевернулось. «Смотрите, смотрите, что это сирагинцы делают в воде?» — удивился один из куймурцев, увидев торчащие из воды ноги. «Сушат чарыки, что тут удивительного?» — ответил ему другой...

С тех пор это место так и называют: «Где сирагинцы сушат чарыки».

Вот тут-то и предстал Ливинд перед офицерами в погонах, что скакали впереди солдат, уверенные в своей безнаказанности и гордые превосходством над беззащитными туземцами. С ними ехал и горец в папахе, недавно надевший ее вместо турецкой фески. Это был человек со шрамом на лбу — Саид Хелли-Пенжи, с недавних пор переводчик у бичераховского воинства.

— Что хочет этот оборванец? — спросил один из офицеров, обращаясь к Саиду Хелли-Пенжи.

На бедном Ливинде действительно был латаный-перелатаный ватный бешмет — заплата на заплате.

Ливинд поведал через соплеменника просьбу мирного населения к офицерам: не въезжать в аул, здесь же договориться обо всем, что они хотят от этого аула.

Старший из офицеров — таким, по крайней мере, показался Ливинду тот, который явно кичился своими черными пышными усами, то и дело накручивая их на палец,— сказал:

— Что ж, предложение дельное. Зачем нам входить в этот вшивый аул... Здесь хорошее место, и искупаться можно, и отдохнуть. А они тем временем доставят сюда все, что мы потребуем... Как, господа?

— Ясное дело, надо согласиться,— поддержали офицеры.— Зачем нам туда ехать. Ведь у них, говорят, ко всему еще и холера.

— Но не забывайте, господа, горцы — народ коварный,— заметил старый солдат.

— Надеюсь, ваши условия, почтенные люди, будут сносными,— наш аул ведь никогда не слыл богатым...— обрадованный тем, что к нему прислушались, проговорил Ливинд.

— Гм, да! Ну что ж, нам не много надо: двадцать подвод муки, масла, сыра и яиц...

— Триста голов овец,— подсказал другой офицер.

— Да, именно триста. И двадцать коров. Я называю минимальное количество, потому что понимаю, горцам не сладко живется,— сказал владелец пышных усов и добавил: — На этом, как говорится у вас, васалам-вакалам. Да, чуть не забыл, еще лошадей тридцать штук...

— Это жестоко! Пощадите нас! — взмолился Ливинд. У него по коже дрожь пробежала, когда он услышал, что эти люди хотят от куймурцев.

— И овса для лошадей...— не дослушав слов Ливинда, бросил он. А когда Саид Хелли-Пенжи перевел, что сказал старик, офицер побагровел и закричал: — Что, большевикам все отдали?

— Нет. Аул у нас бедный! Очень бедный...

— Красные в ауле есть?

— Нету!..

— Комиссар Али-Баганд не из их аула?

— Нет.

— Хорошо. Порешим по-божески. Я готов выслушать, что они могут предложить,— сказал, смягчившись, офицер, и в это самое время раздался выстрел.

Офицер, только что разговаривавший с Ливиндом, громко икнул, схватился за грудь и через мгновение на глазах растерянных своих солдат рухнул с коня к ногам Ливинда.

Первым от случившегося пришел в себя Ливинд. Он сразу сообразил, что ему теперь несдобровать, и мысленно приготовился к самому худшему, к смерти. Жалости от этих людей ждать не приходилось.

Офицеры спрыгнули с коней и склонились над поверженным. Пуля продырявила ему грудь насквозь.

— Убили?! — зарычал один из офицеров.

Он еще был на коне. Со звоном выхватив саблю, офицер размахнулся над головой Ливинда, мгновенье — и куймурец был бы разрублен надвое. И откуда только взялись невероятная сила и мужество в этом старике, бывшем слепце? С ловкостью зверя он увильнул от страшного удара. И пока офицерье кружило над умирающим, конь под Ливиндом поднял тучу пыли по сухой, обветренной земле.

— Догнать, четвертовать! — заорал один из офицеров.— Нет предела подлости этих дикарей! Никакой им пощады. Не жалеть ни единого! Пусть никакие мольбы, никакие речи не вызывают в вас сострадания — они не достойны этого!.. По коням! За мной!

И казачий отряд с гиканьем и криками ворвался в аул Куймур. Жители, уверенные в том, что посланный беде навстречу Ливинд сумеет ее предотвратить, были застигнуты врасплох.

Только один Ника-Шапи на подводе со всей своей семьей и со скарбом уже был далеко от аула.

Казаки, охваченные порывом мести, рубили всех подряд, стреляли в того, до кого не доставали саблей.

Крики ужаса и плач детей, отчаяние на лицах у всех, дым горящих на крышах стогов сена, пыль, блеяние овец, мычание коров, выгоняемых со дворов... В этот черный для жителей Куймура день погибали безвинные

дети и старики, погибали с душераздирающими криками... Один Саид Хелли-Пенжи не принимал участия в этой бойне, он и не стрелял в беззащитных и не защищал их, только безучастно смотрел на все происходящее. И вдруг, будто очнувшись от глубокого сна, преградил конем путь какому-то бежавшему с малышом на руках старику и спросил:

— Где тут сакля слепого Ливинда?

Старик дрожащей рукой показал куда-то в сторону, а сам поспешил скрыться, но не успел... Из-за угла на коне выехал белоказак. Он уже вкладывал саблю в ножны и, вдруг увидев старика в папахе и в овчинной шубе, размахнулся саблей. Старик обернулся, в его широко открытых глазах были мольба и страх, безумие и... вопрос: «Неужели убьет? Он же не зверь, а человек? Я не знаю его... но плохого ему ничего не сделал!..» И старик, приняв удар, раскроивший ему голову, словно бы присел, как-то неестественно вытянул ноги и откинулся. И обрызганный кровью деда внучек, в штанишках с заплатками на заду, отполз от деда...

Дрожащая от страха Муумина стояла на лестнице и не верила своим глазам. Вокруг творилось такое, что не приснится даже в самом кошмарном сне. Да что там сон, никакое воображение не могло бы нарисовать все ужасы, обрушившиеся на головы безвинных куймурцев. «Что с отцом? — думала Муумина.— Неужели эти изверги в образе людей покарали его? Хасан из Амузги, где ты? Не видишь разве, что творится? Явись же, спаси людей!»

Но желанный белый всадник не появлялся. Муумина вышла за ворота и кинулась к лесу. Не могла она больше ждать...

И тут ее заметил Саид Хелли-Пенжи. Он пришпорил коня, а девушка тем временем свернула к Водопаду камней, к месту, где некогда обрушилась страшная скала... Муумина боялась оглянуться. Но вот она вдруг услышала топот копыт за собой и притаилась в камнях...

— Муумина! — раздался голос совсем близко.

«Кто это? Друг или враг?»

— Муумина, где ты, отзовись?

Теперь голос показался ей знакомым, и она, выглянув из-за валуна, узнала со спины восседающего на лошади Саида Хелли-Пенжи. Увидела и снова спряталась. «Зачем он здесь и что ему нужно, этому недоброму человеку? Где он, там всегда беда! Что мне делать? Не показываться ему, а вдруг с отцом что-нибудь?» При этой мысли, позабыв об опасности, Муумина вышла из укрытия.

Увидев ее, Саид Хелли-Пенжи спрыгнул с коня.

— Здравствуй! — сказал он.— Счастливы мои глаза, что видят тебя.

— Ты с этими людьми? — спросила девушка, настороженно глянув в его бегающие зрачки.

— С кем?

— С гяурами?

— И да и нет! — неопределенно ответил Саид Хелли-Пенжи и, заметив на лице Муумины презрение, поспешил добавить: — Я сам по себе, ни в кого у меня нет веры...

— Ты видел, что они творят в ауле?

— Да.

— И говоришь об этом так равнодушно?

— А что я должен делать? Не гнить же в земле из-за этих ослов!

— «Ослы» — твои соплеменники, их язык — твой язык. Это ведь даргинцы!

— Они сами накликали на свои головы эти ужасы, Муумина, потому-то я и считаю их безмозглыми ослами...

— Что ты говоришь, Саид Хелли-Пенжи, как это сами накликали?..

— В том-то и дело, что сами. Я был при офицерах, когда там, у разлива реки, навстречу нам явился один из вашего аула. Он явно хотел добра людям, я видел это по его глазам. И ему уже почти удалось обо всем договориться с офицерами, когда вдруг кто-то выстрелил и убил казачьего командира...

— Кто стрелял?

— Кто-то из укрытия, с того берега реки... Вот они и рассвирепели... Еще бы...

— А что с тем, который договаривался?!.— вскрикнула Муумина.

— Ты его знала? — насторожился Саид Хелли-Пенжи.

— Что с ним?..

— Он хоть и старик, а ловкий, воспользовался минутой замешательства и умчался на коне в степь. Но за ним погнались.

— Схватили?

— Боюсь, что да...

— Отец!..

Муумина метнула в Саида яростный взгляд, резко повернулась и пошла вперед. Он схватил ее за руку.

— Ты сошла с ума! Куда ты?

— За отцом.

— Да это был не твой отец. У тебя же отец слепой?

— Он не слепой. Пусти меня.

— Значит, ты тогда сказала мне неправду?

— Пусти! Там мой отец!

— Нет его! Он убит. Куда ты лезешь в пекло?! Не пущу! Пойдешь со мной!

— Никуда я с тобой не пойду!

— Не пойдешь по-доброму, силой увезу! Я — искатель счастья, а лучшего счастья, чем ты, мне не найти...

— Какой же ты жестокий и несправедливый! И нет в тебе ни капли сострадания к людскому горю! — Муумина с рыданием опустилась на камень.

— Людское горе. Глупости все это. Сами они все это в своих душах породили. Сыр ведь тоже сам в себе растит червей. Пойми ты наконец, Муумина, нет вообще людей. Есть только человек, и каждый думает о себе... А люди — не люди, это звери...

— Потому-то ты хищник?

— Говори обо мне что хочешь, а я все равно рад: шутка ли, нашел тебя! Ты достойна украсить дворец любого падишаха.

— А ты уж и падишахом себя возомнил?

— Ну зачем же? Просто я уступлю тебя какому-нибудь падишаху, и не за малую цену. Не одну такую красотку поставлял я в гаремы султанов и шахов... Ну, идем...

— Да будут вечным проклятьем тебе мои слезы! Убей меня, но я никуда не пойду!

— Пойдешь..

— Хасан из Амузги, спаси меня!..

— Твой Хасан очень далеко отсюда, в Сирагинских горах он. Не любви ищет, а власти...

В это самое время с ближайшего к аулу холма потоком хлынул эскадрон конников во главе с белым всадником. Да, да, это был Хасан из Амузги.

Муумина вскрикнула:

— Хасан! Хасан! Это он! Белый всадник! Хасан!..

Но Саид заглушил крик девушки, прикрыв ей рот потной своей ладонью. Она рвалась из его рук, но силы были неравные. А эскадрон красных бойцов тем временем уже ворвался в горящий аул и делал все, чтобы страданиям неповинных людей пришел конец. Белый всадник явился на помощь куймурцам...

Саид Хелли-Пенжи отпустил наконец девушку. Теперь ее крик никто не услыхал бы — в ауле т а к о е творилось!..

Муумина рванулась, хотела бежать, Саид Хелли-Пенжи преградил ей путь. А где-то рядом вдруг позвали:

— Муумина! Муумина!

Это Ливинд: вернувшись и не найдя ее в сакле, он бросился на поиски...

— Здесь я, отец! — крикнула Муумина.

На этот раз Саид Хелли-Пенжи не сумел удержать ее. В руках у него остался только платок. А девушка бросилась туда, откуда доносился голос отца. Рванувшийся за ней Саид Хелли-Пенжи лицом к лицу столкнулся с тем самым человеком, который предстал там, у реки, перед казачьими офицерами как посланец куймурцев.

Муумина обернулась. Увидев отца рядом с этим коварным человеком, она испуганно вскричала:

— Отец, берегись его!

— А, это ты? — в свою очередь удивился Ливинд, глянув на Саида.— Стыдись! Верные сыны гор воюют с теми, кто пришел грабить и убивать. А ты!..

Саид Хелли-Пенжи бросился на него. Но оказалось, что старика не так-то легко свалить. Они оба упали, и каждый силился подняться, но камни скатывались из-под ног. Упорство, с каким сопротивлялся Ливинд, постепенно иссякло, и вот Саид Хелли-Пенжи уже подмял

его под себя, еще миг — и размозжит голову несчастного о камень!.. Но что это? Саид вдруг качнулся, в глазах потемнело. Он обернулся. За спиной стояла Муумина. Это она, вовремя подоспев, увидела, что отцу грозит опасность, и, откуда силы взялись, схватив большущий камень, обрушила его на голову мучителя.

Саид Хелли-Пенжи не увидел Муумины. Он уже ничего не мог увидеть. С бледных губ его сорвался стон, из раны на голове потекла кровавая струйка...

Страшно стало Муумине. Она отвернулась и кинулась к отцу, поднимать его.

— Бежим, отец! — крикнула девушка.

— Да, дочь моя! Надо спасаться. Будь он неладен, этот свет. Люди совсем сбесились, на зверей стали похожи. Бежим, навсегда покинем проклятые места! Ты садись на его коня, а я уж как-нибудь на нашем, хотя, кажется, вконец загнал его...— Конь Ливинда и правда стоял весь взмыленный, на боках пролегли белые борозды пены, с удил свисала слюна.— Бежим, дочь моя, бежим!

— Куда, отец?

— Куда-нибудь, где не мучают, не убивают, где тихо!..

— Как же наш аул, наша сакля?..

— Ничего, Муумина, и в других местах есть аулы, есть сакли. Найдутся добрые души, приютят нас!..

— Отец, я не хочу покидать наши места.

— Не перечь мне, дочь моя, я знаю, что говорю.

— Но здесь ведь сейчас белый всадник!..— взмолилась Муумина.

— Тут льется кровь! — словно бы не слыша ее, сказал Ливинд.— И нет людей, одни звери. Время дорого, надо спешить!..

— Зачем же ты придумал сказку о белом всаднике? — невольно упрекнула его Муумина.

— Я устал от жестокости! Может, где-то люди добрее! Торопись, дочь моя!..

Они сели на коней и, не заглянув в аул, где белый всадник со своим эскадроном расплачивался с врагами за страдания куймурцев, выехали из лесу.

Муумине так хотелось хоть одним глазом глянуть на

Хасана из Амузги. Ведь он услышал ее, явился на зов! Но в Куймуре шел жестокий бой, и, хотя белый всадник совсем рядом, Муумина не увидит его!.. Противиться воле отца она не смела. А душа ставшего зрячим Ливинда рвалась вон, подальше от бойни, от зла, от жестокости. Рвалась к покою.

Мир оказался не таким прекрасным, как представилось Ливинду в миг прозрения. Цвет крови подавил радость бедного старика. И Ливинд решил искать мира и покоя в неведомых ему местах, бежать в Кайтагские или Табасаранские горы.

Что ж, в добрый час. Хотя в общем-то пока еще не легко обрести этот мир и покой на восставшей земле Дагестана.

Исповедь на рассвете

Уходящий, оглянись назад:
Что оставил ты своим потомкам?
Фруктами обильный сад
Иль пустырь да рваную котомку?

(Из горской песни)



Запоздалым путником, тщетно ожидающим, что откроется чья-нибудь дверь, стучит в сакли аула Мугри ночной осенний дождь. Но дверь не открылась, дождь простучал и прошел, затих, а туман так и не рассеялся: толпами призраков бродит по улицам и дворам, лезет в проулки и щели и словно бы ощупывает, проверяя, намокшие камни аульных строений.

Ночь.

Высокогорный аул Мугри, что врезался в отвесную скалу, кажется древней крепостью с мглистыми башнями в мареве осеннего тумана, сквозь которое едва видна луна в траурной кайме. В моем крае есть поверье: луна в кайме траурна и означает, что где-то на земле умирает замечательный человек.

Угнетающей и напряженной бывает тишина пасмурной ночи в горах.

Оттого особенно резким кажется скрип ворот и лай разбуженной собаки в стоящей на отшибе, как забытая часовня, сакле. Там у ворот кого-то поджидает встревоженная женщина, накрывшаяся от дождя грубой ираклинской мешковиной. Временами из призрачных толп тумана выходят встревоженные люди, и, впуская их в ворота, женщина негромко и торопливо приговаривает: «Простите за беспокойство в поздний час.

Заходите, заходите, он ждет! Ему стало хуже, хоть и не жалуется, — я-то вижу... Столько лет живу с ним, ни разу не сказал, что больно или худо: так и мучаюсь, стараясь угадать... Простите нас, простите!» Вот и еще один человек показался из-за угла сакли — а, да это ж молодой врач Сурхай!

Давно ли окончил институт в столице Дагестана, а уже самые почтенные люди считаются с ним. В руках врача неразлучная «скорая помощь» — саквояж с инструментами и лекарствами: мало ли где могут понадобиться!

Женщина впустила врача, закрыла ворота и поднялась на второй этаж, где в окнах тавханы — кунацкой или гостиной — горит яркий свет.

Комнату украшает камин с каменным резным наличником, каких теперь, к сожалению, не делают даже прославленные сутбукские каменотесы — то ли перевелись мастера, то ли перестали горцы сооружать камины... На стене висит табасаранский ковер, а на нем именное оружие — кривая сабля и кинжал в серебряных ножнах. В нише на полках расставлены котлы, кувшины, подносы, тарелки, которые давно вышли из обихода и теперь стали украшениями. Легкие кресла обступили столик-трехножку, а над ним поднял цветные абажуры торшер, и получился уютный уголок для беседы. Книжный шкаф вделан в стену. Висит живописный старый портрет какого-то офицера в белой черкеске с аксельбантами. Старинные часы тикают на стене между окнами. Ярко светит электричество. И по всему перебегают живые трепетные отсветы пламени из камина.

Под табасаранским ковром на тахте в белоснежной постели лежит больной: жесткие седые волосы, угловатое волевое лицо с выдвинутым подбородком, нос с горбинкой, нередкий в здешних местах, чисто выбритое, хотя осунувшееся и бледное лицо, живые пронзительные глаза под нависшими бровями.

Ночные гости молча уселись в кресла у столика и торшера, а Сурхай подошел к больному, стал осматривать, бережно и чутко касаясь пальцами то запястья, то груди, то живота, негромко спрашивая «больно?» или приказывая «дышите!».

— Как дела, дядя Мутай? — прервал молчание один из гостей.

Он высок и худощав, одет по-осеннему тепло — в куртку на меху, аккуратно сшитую сельским портным; из-под куртки видно белую рубашку с неярким галстуком и кубачинским зажимом — крохотным кинжалом. Это Осман, председатель сельсовета. А рядом сидит в кресле Кара-Алибек, как его зовут в ауле, и в самом деле темнокожий, будто родился не в наших горах, а где-то в жарких странах экватора, рябой и низкорослый,— председатель колхоза в защитной гимнастерке с большими нагрудными карманами. Про третьего гостя, парторга, горцы сказали бы, что «этому человеку трапеза пошла не во вред»: краснощекий и пышноусый, но не толстый; живое, сияющее алыми и розовыми красками лицо его увенчано недорогой черной папахой. Все они — люди средних лет, в молодые годы прошли тяжелые дороги Отечественной войны.

Больной ответил не сразу. Медленно повернул голову в их сторону, медленно произнес:

— Какие дела у обреченного? Считать закоптелые балки да рассматривать в углу паутину, вроде той сети, что сплела для меня смерть...— Горькая усмешка была на его лице, но голос звучал твердо.

— Зачем так мрачно, дядя Мутай? Тебе еще жить,— возразил Хамзат, поглаживая усы.

— Ненавижу неуместные утешения, да и фальшиво-жалостливый тон. Не для того потревожил вас в поздний час, уважаемые...

Гости растерянно переглянулись, а Хамзат пожал плечами и неуверенно улыбнулся: мол, что взять с больного?!

А больной тем временем уже говорил с врачом:

— Ну что, молодой мой друг, и ты станешь утешать или все же скажешь правду?

— Дела неважные...— озабоченно и невнятно отозвался Сурхай.

— Люблю откровенность! Ну, и сколько, если говорить честно, мне осталось жить на белом свете? А?

Странно прозвучал вопрос в тишине комнаты: казалось, от него сгустилось и потяжелело безмолвие. Наверное, только сейчас поняли гости, что этот нелюдимый,

мрачный человек неспроста пригласил их сюда. А врач Сурхай, словно желая показать, что медицина уже бессильна, стал аккуратно укладывать инструменты в саквояж.

— Я жду, мой друг!

— До рассвета еще есть время...— двусмысленно и печально произнес Сурхай и посмотрел на карманные часы с серебряной цепочкой.

— Благодарю! Жестокая правда лучше, чем утешительная ложь. А теперь посиди с почтенными людьми, послушай...

Врач отставил саквояж и опустился в свободное кресло.

Больной приподнялся, поправил подушку, лег поудобнее и облизнул бледные сухие губы.

— Всю жизнь было недосуг посидеть с вами хотя бы за чашкой чаю, не говоря уж о добром хинкале и славном геджухском вине. А сегодня я пригласил вас, господа... Да, да, да! Вы не ослышались, именно — гос-пода! Впрочем, и для меня это слово сегодня прозвучало странно. А вы... Ради аллаха, не делайте таких удивленных лиц и не думайте, что я рехнулся от недуга. Прошу, наберитесь терпения, дослушайте до конца! И ты, Осман, сын батрака на виноградниках моего отца в Таркама; если не ошибаюсь, его Зубаиром звали... И ты, Хамзат, сын кузнеца Базалая, который ковал лучшие в наших горах сабли... И ты, Алибек, прости за правду, сын бесшабашного кутилы и насильника Хамадара, что еще до твоего рождения бросил у старого лесника твою мать и бежал в Иран, чтобы повеситься на собственном ремне в одном из тебризских духанов. Я вижу, ты возмущен. Знаю, ты не из робких, ты горяч и смел, можешь одной рукой задушить старика. Но одумайся и воздержись. Дай возможность смертнику аллаха сказать наконец всю правду, чтоб не унести ее туда, где вряд ли нам придется беседовать и где уж верно не ведут летописей... Послушай и ты, Сурхай, в прошлом году ты совершил чудо: дерзко оперировал меня при свете фар больничной машины на перевале Хабкай и спас мне жизнь. Увы, ненадолго, как видишь. И теперь прошу тебя лишь об одном: постарайся сдержать слово, поддержи меня до рассвета... А ты, Зулейха, жена моя, можешь слушать или не слушать — как

хочешь. Горцу не положено хвалить своего коня и свою жену. Но я хвалю! В моей судьбе она единственное утешение, хотя знала о моей жизни столько же, сколько я знаю о китайской грамоте. Не могу солгать. Зулейху я любил и люблю так же, как и нашу единственную дочь. Дочери, к сожалению, сейчас нет здесь. Может быть, это и лучше: не хотел бы, чтоб слушала...

— Должна была приехать...— всхлипнула Зулейха. Казалось, ее не удивляли странные речи мужа: то ли посчитала их бредом больного, то ли уже ничего не слышала, подавленная мыслью, что погибает самый родной человек, и только молила в душе аллаха, чтоб смилостивился.

— Должна была, но ее нет... Наверное, есть дела поважнее, чем смертный час отца... Ничего, я не осуждаю, бывает всякое... Может, телеграмма не дошла, а может... Ладно, не будем говорить об этом! А ты, Зулейха, чем зря терзаться, лучше попотчуй почтенных гостей. Будь сегодня щедрой, как никогда. Накрой стол, поставь лучшее, что есть в сакле. Кажется, у нас еще остался подарок дочери — французский коньяк? Хотя теперь и дагестанский не уступит... Ты умница: найди хорошую закуску. Так надо!

Зулейха, послушная как всегда, стала накрывать на стол.

— А я пока немного соберусь с мыслями.

Больной откинулся на спину, закрыл глаза, и на мгновение всем показалось, что на тахте лежит покойник. Сурхай даже дернулся, но сдержал себя, только переплел пальцы и хрустнул суставами.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЭЛЬДАР СЫН УЦУМИ ИЗ КАЙТАГА

1

По лицу старика пробежала гримаса боли, он вздохнул, открыл глаза, заговорил:

— Вы поняли, конечно, уважаемые: перед вами не старый колхозник, не давно знакомый дядя Мутай из Чихруги. Все это — личина, маска, и сейчас, когда мое время исчисляется даже не днями, а минутами, не хочу быть смешным: слишком жестокую, горькую правду должен поведать. За сорок лет, признаться, привык к шкуре Мутая, не раз писал автобиографию, притерпелся. Как бы к ярму... Нет, уважаемые, я — обломок империи, один из тех, в борьбе с которыми вы строили свою жизнь. И не в этом жалком строеньице родился, а в белокаменном дворце князя Уцуми из Кайтага; да, да,— в том самом, у маджалисского моста, во дворце, украшенном узором стукко еще со времен Амир-Хамзы, славного и непокорного нашего предка. У ворот стояли каменные львы с железными кольцами в зубах,— теперь они в парке районного центра, а на месте княжеского дворца — мельница да руины.

Вижу на ваших лицах удивление. Что ж, это понятно! Удивляйтесь, но будьте сдержанны: не прерывайте. Ведь повторить я уже никогда не смогу.

Мне дали имя Эльдар в честь храброго предка, который до последнего вздоха служил первому имаму Дагестана — бесстрашному Кази-Магомеду и погиб вместе с ним у стен Гимринской крепости. Да, я Эльдар сын князя Уцуми из Кайтага, владевшего землями в плодородной долине Таркама, где со времен Омара Хайяма выращивали знаменитый красный виноград и делали сухое вино, терпкое, с ароматом свежих ягод. Теперь этого винограда больше нет: часть порубили для костров повстанцы в лютую зиму восемнадцатого года, часть вытоптали кони белоказаков, часть вымерла без ухода, когда земледельцам было не до виноградников. В детстве слышал, что некий заокеанский промышленник, прельстившись не только вкусом вина, но и цветом, в надежде выработать из него краситель, увез к себе саженцы; лозы прижились, через три года стали плодоносить, но, к удивлению чужестранца, виноград выродился, сделался белым. Да где еще найдешь такую землю, как в Таркама! Видно, растению родная земля дорога, как ребенку материнская грудь. Вы знаете, рядом с долиной Таркама — знаменитый Геджух, великолепная усадьба с виноградниками и винными погребами, похожими на подземные дворцы. Эту усадьбу мой отец подарил графу Воронцову, который добился, что отца назначили начальником округа Кайтаго-Табасаран. В Ногайских степях паслись отцовские отары, на берегу Каспия от Берикея до Каменной Черепахи отец арендовал рыбные промыслы; в те времена там вела разведку нефти компания «Братья Нобель», а нищенствующие горцы ничего не знали о богатствах своей земли.

У предгорья, на северо-запад от древней крепости Баб-эль-Абвао, или, как мы привыкли ее называть, Дербента, за долиной Таркама, за Большим ореховым лесом, что еще лет сорок назад был гнездом разбойников и приводил в ужас проезжих, там, где две скалы образовали тесный проход, издревле названный Воротами гор, и где в теснине, помутнев от напряжения, льются потоки Хала-Герка, за арочным мостом из резного камня в зелени прославленных кайтагских садов раскинул-

ся аул Маджалис. Вы не чужеземцы, мне незачем переводить, что Маджалис — это значит Великое собрание. Говорят, в прошлом здесь собирались наши предки, чтобы решать, как быть в трудные повороты своей судьбы. Легенда гласит, что на одной из вершин, что образуют Ворота гор и где теперь воздвигнут телевизионный ретранслятор, собирались храбрецы в часы торжества и пили вино, передавая по кругу вместо турьего рога наполненный багряным вином полумесяц...

В этом древнем ауле я родился в конце прошлого века, почтенные мугринцы. Я был вторым ребенком, но первым сыном в семье князя: сестра Хадижа родилась на два года раньше. Говорят, в ночь моего рождения возле дворца до самого рассвета палили из ружей, даже древние кремневки заговорили, как встарь. Еще недавно я слышал от старожилов: «Это было, когда на сахбате у князя Уцуми я зарезал своего последнего барана, потому что у князя их было так мало, что приказчик не поспевал пересчитать — керосин в лампе выгорал дотла!» Три дня, не смолкая, гремели барабаны в аулах Кайтага и Табасарана, сзывая народ на сахбат... Простите, это, впрочем, может быть и преувеличением: другие говорят, что после рождения дочери князь повелел продырявить все барабаны...

Я вижу, почтенные, вы усмехаетесь: мол, тешится старец погремушками! Откуда вам знать, что в глубине души я завидую вам, которые родились без такого шума... Недаром сказано: лучше добрый конец, чем счастливое начало!

В эти самые дни и встретились впервые на ковре знаменитый борец Али-Пачах, что гнул на колене железку толщиной в кулак, и Сапар из Хабдашки, про которого рассказывали, что, входя в кунацкую, он снимал обувь и, подняв одной рукой столб веранды, другой подсовывал под него свои чарыки. А после того как Али-Пачах был припечатан на ковре, будто сургучная печать, оказалось, что не Сапар из Хабдашки боролся с ним,— Сапар как раз уезжал на заработки, и его сестра Мана надела черкеску брата и вышла бороться... Вот какие были люди! Что, не верите? А я говорю сущую правду... Да, есть такие борцы и сейчас, и я горжусь ими

не меньше, чем вы. Для меня всегда была дорога слава и сила Дагестана.

Сахбат — пир длился до того дня, когда меня спеленали, положили в колыбель, подаренную лучшим мастером из Катагни, и нарекли Эльдаром. При этом присутствовали только самые близкие: кумыкский шамхал — князь Тарковский, свояк отца, женатый на старшей сестре моей матушки, Али-Султан из Губдена, просвещенный арабист Али-Гаджи из Акуша и крупнейший овцевод Дагестана Нажмутдин из Гоцо, отец которого перед смертью велел своим чабанам пригнать все отары овец к дому. А когда бесчисленные отары, блея, окружили со всех сторон строение, он оглядел этот овечий океан и сказал: «Ну, зачем мне столько, если я ни разу не ел мяса досыта?!» И эти отцовские кунаки, передавая меня с рук на руки, предвещали мне блестящее будущее, желали, чтоб я вырос храбрым, как лев пустыни, ловким, как снежный барс в горах. И наверное, с этой надеждой князь-отец положил в мою колыбель саблю из дамасской стали амузгинского мастера Базалая... Да, да, твоего отца, почтенный Хамзат. Его оружие славилось на всем Кавказе.

Ну, скажите, какой горец не хочет, чтобы сын вырос отважным, достойным предков, что мужеством и любовью к родной земле вписали не одну страницу в историю?! Об отваге и подвигах мне пели у колыбели и мать, и кормилицы... У князей Кайтага был обычай брать кормилиц из самых славных аулов и семей и каждую неделю сменять. Много горянок кормило меня грудью, и во многих аулах были у меня молочные братья...

Хорошая была у меня мать, умная и приглядная губденка из знатного рода, на двадцать лет моложе отца, заботливая, добрая ко всем. О ее красоте сложил лучшие свои песни Халил из Кайтага, который беззаветно, безумно любил ее всю жизнь. Я знаю, у вас готовы сорваться слова: «А кто винсват в его погибели?» Нет, не буду я скрывать: отец, князь Уцуми, повинен в гибели Халила из Кайтага. Но поймите: отец защищал честь рода, когда поручил наемному качагу — бандиту ослепить певца. Однако и слепой Халил был страшен, слава его гремела в горах. Теперь его водил мальчик-сирота Ха-

мадар — твой будущий отец, Алибек! Халил из Кайтага очень его любил, и были они связаны не только веревкой, которую держали в руках, но и настоящей дружбой одиноких людей.

Халил превозносил и обожествлял образ моей матери, он пел: «Хотел бы я видеть твой образ в михрабе мечети, чтоб правоверные молились тебе, а не аллаху...» А песни Халила подхватывали и пели все в горах. И не только отец, служители веры гневались и раздражались. И наконец, как вы знаете, его пригласили на какое-то пиршество и там отравили.

Но песни остались. Их и сейчас еще поют кайтагцы.

И остался одинокий озлобленный мальчик-поводырь, которому больше некого было водить и любить было некого: он даже не знал слов «мать» и «отец».

Тут засуетившаяся хозяйка прервала речь старика: внесла тонкий деревянный поднос, что называют «кабат», на котором живописно толпились пузатая бутылка французского коньяка с кентавром на этикетке, хрустальная ваза с сушеной хурмой и свежими персиками, серебряная конфетница кубачинской работы с разными сластями, обливная балхарская тарелка с бутербродами, лимон, рюмки из мерцающего чешского стекла — подарок их дочери, что ездила с мужем в прошлую осень на отдых в Карловы Вары.

Поднос Зулейха поставила на треугольный столик перед гостями, промолвила:

— Да прибавится вам здоровья! Ешьте, пожалуйста. А я сейчас приготовлю хинкал...

— Ну, зачем еще хлопотать! — возразил Осман.— Достаточно и этого.

— Не осуждайте хозяйку за бедное угощение.

— Если это «бедное», то не понимаю, что же значит богатое. Уверен, что дядя Мутай не видел такого и за княжеским столом.

— Все еще не можете поверить, уважаемый Осман? — улыбнулся больной.— Да, я понимаю...

— Ну что ты, дядя Мутай, мы верим! — Алибек старался скрыть раздражение.— Вот если я скажу, что я сын китайского мандарина, не поверит никто.

— Ты прав, Кара-Алибек. Скорее поверят, если скажешь, что ты арабский беженец из Иерусалима.

— Простите нас, дядя Мутай! — остановил размолвку Осман.— Мы слушаем.

— Зулейха, будь добра, подложи мне еще одну подушку: шея заныла... Вот сюда! Так, хорошо, спасибо... А вы, почтенные мугринцы, прошу вас, не думайте, что слушаете бред больного...

В детстве я считал, что отец несправедлив ко мне и больше любит сестру Хадижу; я ужасно ревновал; наверное, тогда и зародилось во мне чувство эгоизма, себялюбия. Лишь с возрастом я понял, что отец — не исключение, все горцы несправедливо суровы к сыновьям. Вы сами отцы, у вас, счастливцы, есть сыновья,— значит, понимаете меня. Отец не желал слышать никаких жалоб и, если я дрался на улице, молча проходил мимо, словно били не его сына, а потом дома брал плеть и приговаривал: «Не выйдет из тебя князя, пока не научишься отвечать двумя ударами на удар. Я же видел: тот драчун, что вцепился в тебя, как клещ в холку лошади, был слабее, а разбил тебе нос... Не надо мне такого сына! Не надо!» ...Да, суровы нравы в горах! Только мать всегда заступалась за меня... Но я не осуждаю отца, нет.

Мы и не мечтали о том, что нынче есть у каждого ребенка,— об игрушках, книгах, школах, летних лагерях, экскурсиях, детских садах, санаториях для ребятишек, кино, радио... И единственное горячее желание в детстве было — поскорее вырасти. Нам казалось тогда, что взрослые заняты очень важными делами. О, какая же это была ошибка! Взрослые оказались наивными, как дети...

Мы, ребятишки, особенно старались воспитать в себе выносливость и стойкость. Засучим, бывало, рукав, положим на запястье зажженный фитиль и, корчась, топая ногами, дергаясь, как эпилептики, терпим, терпим, терпим... Как все дети, любил кататься зимой по снежному склону на самодельных абрикосовых или кизиловых гайми — горских лыжах с ручками,— так что ветер срывал папаху; любил в споре с другими гонять рого-

вую юлу по речному льду; любил играть в прятки и однажды так спрятался, что потерялся, и лишь наутро привел меня из Большого орехового леса старый лесник. Любил лазить по деревьям, собирать дикую сливу, дикую грушу, которую наши хозяйки маринуют в кувшинах — квара, набирать полную пазуху орехов в ущелье Конгожи и в лесах Шилаги. Любил купаться в жару, нырять и, главное, никогда не забывал вовремя вынырнуть, наученный моим детским другом Таймазом, сыном горбатого лудильщика Арсланбека из Цовкра. Прежде отец Таймаза был прославленным пехлеваном — канатоходцем, но как-то в праздник первой борозды танцевал на канате с кинжалом, сорвался и сломал хребет. После чего пришлось бедняге лудить посуду... Но горячее всего любил я лошадей, скачки, и тут наставником был тоже друг детства и даже молочный брат Мирза, сын отцовского конюха Исрапила из Харбука, что укротил последнего мустанга в Ногайских степях. Мирза был сильнее многих ребят и в кулачном бою уступал только Хамадару, лучше всех джигитовал на неоседланном коне и прыгал со скалы у моста.

И все-таки самым жарким увлечением у нас, горских ребят, были позабытые, к сожалению, в наше время бои баранов, которые тогда охотно устраивали взрослые. Разве это зрелище хуже боя быков где-нибудь в Испании? Нет, лучше,— ведь здесь не бывало человеческих жертв! О, с каким терпением, с какой заботой горцы растили боевых баранов, держали даже на привязи, чтоб стали злее. По обычаю, хозяин победителя получал побежденного барана и тут же резал, чтоб сварить хинкал и пожарить шашлыки для зрителей: как видите, тогда умели позаботиться и о зрителях! А нередко боевой баран побеждал три-четыре раза подряд — все мясо доставалось зрителям и только шкуры — хозяину победителя. Тот шил себе «трофейную шубу», и тогда на всех сходках ему полагалось почетное место... Как сбегался народ смотреть на эти бои! Дети карабкались на деревья, женщины садились по краям крыш, теснились на верандах соседних строений, мужчины толпились на площади, освободив круг. В круг выводили двух откормленных свирепых баранов и сталкивали лбами. Минуту бараны стояли, упершись как изваяния, и глядели в

землю яростными глазами. И вдруг отталкивались врозь и тут же кидались друг на друга — страшен был этот удар, хотя, казалось бы, какая сила у барана?! Громко трещали рога; удар, другой, третий — и вот уже падает один боец с разбитым черепом или валятся сбитые рога, и, безоружный, он трусливо бежит. Под восторженные вопли зрителей побежденного настигает хозяин с обнаженным кинжалом. Как говорится: горе побежденному! А победителю повязывают алую ленту на рога, и он, гордый, совершает круг почета. И снова бросается в бой: пока есть противники, пока есть боевые бараны. Невероятная ловкость, воля к победе вдруг проявляются в бою у такого, казалось бы, кроткого животного. Жаль, жаль, почтенные, что теперь не бывает боя баранов!

Простите, я отвлекся... И вы, наверное, недоумеваете: к чему, мол, рассказывает нам о баранах?!

Что ж, признаюсь перед концом: думаю, что не раз был подобен боевому барану, который не страшится разбить себе голову; да, да, не раз в своей жизни я бился, как боевой баран!

Я — сын князя Уцуми, Мирза — сын конюха, Таймаз — сын лудильщика — стали неразлучными. Впрочем, я больше привязался к Мирзе: Таймаз был занят, он помогал отцу, как говорят горцы, «затыкать не все дырки в посуде». Горбатого, но веселого Арсланбека всегда окружали влюбленные в него ребятишки и наперебой напрашивались хоть чем-нибудь помочь. Лудильщик доверял им раздувать огонь мехами, притаскивать воду, разносить по саклям луженые кастрюли, миски, тазы, кувшины... Только мне ничего не доверял, возражал: «Тебе нельзя! Разве я обжигал бы руки и лицо серной кислотой, когда был бы князем?! А впрочем, княжить не хочу: мне нравится моя работа. Моя посуда блестит, как зеркало,— пусть люди смотрятся. А ты, сынок, ручки испачкаешь; чего доброго — и кислота брызнет, оправдывайся перед князем! Пошлешь отнести посуду, а там собака вырвет зад из твоих штанов,— собака ведь не знает, что ты князь. Нет, сынок, тебе нельзя!» Ребятишки, конечно, слышали и после дразнились: «Цыц, сынок, тебе нельзя! Ведь собака не знает, что ты князь!»... Я скоро стал избегать лудильщика.

Мои родители не препятствовали дружбе с Мирзой и Таймазом, и я допоздна пропадал с ними, чему очень завидовала Хадижа: ее даже в сад не пускали без няньки. А я завидовал Хадиже: прямо на глазах она взрослела, а я, казалось, не менялся, не рос.

Правду сказать, Таймазу и Мирзе не раз доставалось от ребят за дружбу со мной. Особенно издевался Хамадар. Как-то, помню, Мирза перестал приходить; я отправился разыскивать: во дворе он помогал отцу подковывать жеребца.

— Здравствуй, Мирза! — крикнул я, искренне радуясь, что друг цел и невредим.

Он обернулся и что-то буркнул.

— Почему не хочешь встречаться со мной?!

— А что, разве обязан?

— Мы же друзья, жду тебя все время...

— Можешь больше не ждать.

— Почему? Разве я тебя обидел? Больше нет у меня друзей: ты да Таймаз.

— Какой я тебе друг!

— Как не друг? А клятва на мизинцах?

— Барсук ястребу не друг! — возразил Мирза.— Не хочу, чтоб меня обзывали холуем. Не хочу! Ищи себе других! Ты князь, а я сын конюха. Тебе это понятно, а? Я спрашиваю: тебе понятно?!

Тут на глазах Мирзы даже слезы выступили, и я понял, как трудно ему расставаться со мной.

— Ну что ж, прощай, Мирза!

А Исрапил, его отец, и слова не проронил, будто внезапно оглох.

С годами росло чувство отчужденности. Не помню, может, и родители слово за словом вбивали в сознание, что их сын — человек особый и ничего общего нет у меня с теми, с кем я сначала дружил, ссорился, играл и дрался: может, разделила и грамотность — меня учили, а они об этом и не мечтали.

Словом, с каждым годом шире делалась пропасть, разделившая княжеского сына и голодранцев...

Вскоре случилось несчастье: заболели княжеские кони. Лечили, но тщетно; пришлось пристрелить и зарыть. Кто-то пустил слух, что коней заразил сапом Исрапил... Я и сегодня не верю, что Исрапил мог это сде-

лать: слишком горячо он любил лошадей. Но князь-отец уволил конюха. Исрапил ушел на заработки, нанялся чернорабочим к англичанам в Берикее, а месяц спустя привезли его на арбе, покрытым буркой, мертвого... Рассказывали, что на постройке буровой вышки сорвалось бревно... Весь аул сбежался на похороны, и я понял, как народ любил Исрапила.

Мне хотелось подойти к Мирзе, сказать дружеское слово, утешить... Но не подошел.

Чем больше отстранялся от сверстников, от молочных братьев, от товарищей детских игр, тем наряднее я одевался, словно желая подчеркнуть: мол, я не вам чета! Уже не боялся насмешек, всегда мог презрительно ответить: ладно, не завидуй, братец!

Но это лишь пуще обозлило Хамадара. Я уже говорил, что был он совсем одинок и без того озлоблен на всех имущих. Передавали, что в базарный день его левая рука (а Хамадар был левшой) оказывалась то в кармане зазевавшегося торговца, то в корзине с абрикосами; не раз ловили его в погребах, где стояли горшки с йогуртом, или в курятниках, а то и просто в саклях... Если в детстве я кого-нибудь боялся, то разве Хамадара...

По его наущению однажды ребята подстерегли меня в лесу за рекой, окружили, повалили, стали пинать ногами.

— Не бойтесь! — кричал Хамадар.— Бейте сейчас, пока маленький. А вырастет большой князь,— он будет вас бить! Бейте сейчас, потом хоть утешитесь, вспоминая...

Случайно поодаль оказались Мирза с Таймазом. Нет, я не звал на помощь, не ревел, я просто глядел на них с надеждой и укором. И друзья не выдержали. «Так нечестно: все на одного!» — закричали они, растолкали моих обидчиков, мы втроем кинулись в речку, переплыли, а на том берегу стали плясать, строить рожи, дразниться... С тех пор возродилась моя дружба с Мирзой и Таймазом.

Но на этот раз князь Уцуми,— быть может, он чувствовал свою вину перед Мирзой,— увез меня в тогдашнюю столицу Дагестана город Темир-Хан-Шуру и определил в реальное училище, где учились только дети со-

стоятельных родителей: надо было платить за обучение, снимать комнату, оплачивать питание и уход...

Так кончилось детство и началась юность.

Странный это был город Темир-Хан-Шура! Жили здесь безнадежно скучно; офицеры и чиновники развлекались кутежами. Мне город казался похожим на равнодушного ко всему буйвола, что лежит в грязи и медленно жует бесконечную свою жвачку. Такого пьянства не было нигде, по свидетельству приезжих, а приезжали многие из России, из Астрахани и Владикавказа. Здесь впервые я пережил то, что называют ностальгией или тоской по родине: я изнемогал, пропадал, погибал от тоски по родному аулу. И быть может, это оказалось для меня вроде прививки, которая потом уберегла от эмиграции: никогда и подумать не мог о том, чтоб надолго расстаться с родиной. Всегда жалел, удивлялся и не понимал эмигрантов, которым шкура дороже родины. Не люди, а сухие листья! Перегной для чужих земель...

Из Темир-Хан-Шуры я писал отцу отчаянные письма-мольбы, просил взять домой или хотя бы привезти в город, в училище Мирзу или Таймаза. «Иначе умру...» — писал я, не зная, чем смягчить суровое княжеское сердце. И вдруг, к моему ликованию, отец и вправду привез Мирзу, одел его, обул и при снисходительной поддержке губернатора определил мальчика в приготовительный класс училища. Право, мне сразу стало теплее, и даже небо вроде бы прояснилось: со мной теперь был мой друг и молочный брат Мирза!

И, словно бы по волшебству, в присутствии Мирзы стал открываться мне другой город: кроме праздных и пьяных я заметил угрюмых людей, глядевших с презрением и ненавистью, сжимавших в бессильной ярости кулаки. И в училище я теперь видел разных людей: одни прислуживали, кланялись, угождали, лишь бы их усердие заметили и вознаградили; а другие, все больше старшеклассники, были гордые, самостоятельные, уверенные в своей правоте и говорящие о необходимости переустроить мир. И хотя эти другие вызывали у меня симпатию, но в то время я верил в незыблемость власти белого царя, их речи считал вздорными, и они меня сторони-

лись. А вот Мирза сразу побратался с ними. Он часто пропадал; я шел разыскивать и находил друга то в лудильной мастерской у лакцев, то на мыловаренном заводишке, где было всего двадцать пять рабочих.

Не хочу лгать: доходили и до моих ушей слухи о бунтах, забастовках, манифестациях,— но я словно бы и не слышал об этом. Эльдару предвещали блестящее будущее, оно никак не могло быть связано со смутьянами!

Только позднее я понял, какими делами так отвлекался мой друг Мирза... Было совершено неудачное покушение на губернатора. В реальном училище появились жандармы. Мирза бесследно исчез, а одного ученика выпускного класса арестовали и через три дня повесили на площади перед исторической скалой, которую почему-то называли Кавалер-Батарея. Еще трех учеников в кандалах увезли в Сибирь. Известный вам, хоть и понаслышке, почтенные мугринцы, Уллубий из Буйнака, сын обнищавшего бея, сбежал из училища куда-то в Ставрополье.

Прошу прощения, уважаемые! Что-то пересохло во рту. Может, мой молодой друг разрешит выпить рюмку коньяку? Если, конечно, это не помешает досказать и не приблизит развязку...

— Думаю, что одну рюмочку можно, даже полезно,— отозвался Сурхай, налил коньяк в чешскую мерцающую рюмку и с ломтиком лимона подал больному.

— Благодарю тебя! Был уверен, что не откажешь. Спасибо. А вас, уважаемые, очень, очень прошу: не стесняйтесь, ешьте, пейте. Милая Зулейха, получше ухаживай за гостями. Так и быть, испеки свои любимые пироги из тыквы с мясом. И я попробую. В честь таких людей! Спасибо, за ваше здоровье, дерхаб!

2

Прав мой молодой друг: легче стало! Свободнее дышится... Теперь могу продолжить исповедь.

На чем я остановился? Ага, вспомнил...

А губернатора все-таки убили. Рассказывали, что генерал-губернатор во всех своих регалиях мужественно и грозно восседал в единственном городском фотоателье Ильи Абуладзе перед нарисованными на холсте озером с лебедями, раскидистой пальмой и колоннадой, когда появился человек, лицо которого было прикрыто черным башлыком, и, сказав: «Будь здоров, генерал!», всадил ему в самое сердце бибут — небольшой кинжал — и тут же исчез. Потрясенный фотограф и слова не мог вымолвить, не только закричать: в груди от ужаса не осталось воздуха! Были слухи, будто сцена убийства запечатлелась на пластинке, но догадливый фотограф постарался ее засветить, чтоб не таскали по дознаниям и судам...

Года полтора искали убийцу, не нашли, но шестнадцать старших реалистов сослали на каторгу и ввели в училище жандармский надзор. Как говорится, после дождя надели бурку.

В ту пору мне казалось нелепым грозить кулаками государю: вроде как бить в сердцах палкой гранитную гору. Да и отец предостерегал, чтоб я держался подальше от таких людей, ибо рожден для блестящей карьеры и с бунтовщиками мне не по пути. Князь Уцуми уверил себя, что я принесу славу нашему роду, и главной его заботой и надеждой сделалась моя судьба. Великая вера отца окрыляла и вдохновляла меня, в мечтах я рисовал будущее, как сказочный герой Палдакуч, что строил во сне себе дворец из золотых и серебряных кирпичей. Так многоцветная радуга влечет любознательный взор и рождает желание ощупать этот удивительный, чудесный мост.

Недолго мне довелось щеголять в шинели реального училища, которая, по словам матери, необыкновенно мне шла. «Оглянись, сынок,— говорила она, улыбаясь,— все девушки исподтишка смотрят на тебя с восторгом и умилением»... Как всякая мать, она не хотела отпускать сына далеко от дома, но догадывалась, что задумал отец.

Дома жизнь складывалась все сложней и тревожнее. Моя сестра Хадижа выросла и расцвела необычайно. Приехав на каникулы, я сперва даже ее не узнал, пока не подошла и не сказала робко: «Какой ты стал большой, брат!» Красивая дочь в семье горца — всегда беда и

тревога. В этот раз отец доверительно поведал мне о неслыханном оскорблении: горбатый лудильщик Арсланбек осмелился просить для своего сына,— да, да, для моего друга детства,— для Таймаза руку Хадижи. Признаться, я не видел в том ничего предосудительного, но отец возмущался и кипел... Помню, я сказал:

— Наверное, я встречу Таймаза, отец, и поговорю с ним...

— Незачем. Да и нет его здесь.

— Где же он?

— Я выселил лудильщика из своих владений. А Таймаз, говорят, связался с дурными людьми.

— С кем, отец?

— Его видели у разбойников в Большом ореховом лесу.

— Таймаза?! Быть не может!!

— Да, его... Уж не конец ли света наступает: лудильщик сватается к княжне!.. И дочь меня осрамила...

— Как? Что ты говоришь, отец!

— Ее видели у ручья с Таймазом. И не раз.

— Может, они любят друг друга?

— О чем ты говоришь? Что такое любовь? Позор на мою седую голову! Да еще этот луженый медяк смеет мне угрожать!

— Кто угрожает? Таймаз?!

— Да. Ну, я о нем уже сообщил куда следует...

Теперь забеспокоился и я: нелегко так терять друзей. Мать рассказала подробнее: да, Хадижа и Таймаз встречались; однажды Таймаз даже спас сестру от взбесившегося буйвола... Мать рассуждала разумнее: зачем так сердиться? Надо мирно, без ссоры уладить дело. Время сейчас тревожное. Зачем нужны лишние враги?

Теперь Хадижу не выпускали из дворца: жила как в заточении.

Когда я попытался поговорить с сестрой, она зарделась, заплакала и ушла к себе.

Мать намекала, что я, мол, уже взрослый: не грех бы поглядеть на девиц. Но в ту пору я на девушек смотреть боялся, обожествлял их... Нравы тогда были суровые,— не то что коснуться руки или поцеловать девушку, не смели подойти ближе чем на пять шагов. Не то что теперь! Знаю, почтенные мугринцы, вас самих это

немало тревожит. Растут города. Теснота. Транспорт. Институты, общежития... Поневоле сталкиваются девицы и парни, нарушаются древние обычаи... Сам видел, когда навещал дочь в институте. Но мое возмущение вызвало у дочери только улыбку. Такие перемены неизбежны, тут мы с вами бессильны...

Все-таки пришлось мне расстаться с домом, снять форму реального училища: при содействии шамхала Тарковского отец определил меня в кавалерийскую офицерскую школу Баку, город амбалов — носильщиков с седлами на спинах, согбенных угрюмых рабочих, продавцов артезианской воды и сказочно богатых нефтепромышленников.

Через два года отец навестил меня. Князь был удручен: аулы Кара-Кайтага то и дело выходили из повиновения, в горах распространился разбой, власти были бессильны... Опасаясь угроз Таймаза, который собрал отряд головорезов, отец решил поскорее выдать замуж Хадижу и просватал ее за сына одного из влиятельных казикухумцев. Словом, поступил по старой горской поговорке: не выдашь вовремя дочь замуж, жди беды!

Жених, понятно, пожелал увидеть невесту, поехал гостем, но в Большом ореховом лесу его захватили и ослепили, а наутро князь получил письмо от Таймаза: «Так будет с каждым, кто посмеет глазеть на свет моих надежд»... Разъяренный князь разыскал и арестовал горбатого лудильщика Арсланбека. Чувствуя, что над семьей собираются тучи, я посоветовал отцу, как бы горько ни было, смирить гордость и выдать Хадижу за Таймаза, а лудильщика освободить. Но князь был непреклонен и уехал, готовый скорее умереть, чем отдать дочь сыну Арсланбека.

Дома князь решил тайком укрыть Хадижу в ауле Хунзах, но не успел: Таймаз во главе своего отряда ворвался во дворец, освободил Арсланбека, а Хадижу увез неведомо куда. Когда я думаю об этом, мне кажется, что здесь не обошлось без ее участия: наверное, сообщила, что князь собирается ее куда-то перевезти, и с радостью встретила Таймаза.

Князь Уцуми не выдержал такого удара, сник, сразу постарел.

Я уже было собрался оставить школу и вернуться до-

мой: так сказать, защищать родовой очаг от молочного брата и родной сестры, ибо наступало время каждому мужчине хвататься за свою папаху. Но тут грянула первая мировая война, и я с радостью отправился на закавказский фронт сотником Дагестанского конного полка, которым командовал генерал Санжиев, калмык. Признаться, я ликовал, уверенный, что наконец начинает сбываться предсказание о моем блестящем будущем.

Отец при таком известии поморщился, ему хотелось, чтоб сын остался в Дагестане, но промолчал.

Перед отъездом в армию я посетил родной дом.

Утром во дворе ждали оседланные лошади.

— Нас пригласил Али-Султан,— сказал отец.

Я уже говорил: имя Али-Султана из Губдена, друга и свояка князя Уцуми, славилось в горах. Если у горца родился сын, ему желали: пусть вырастет таким, как Али-Султан!

Лишь по дороге узнали: Али-Султан выдавал замуж старшую из дочерей. Вы знаете, красота губденских девушек издавна славится в Дагестане! Моя мать тоже была губденкой.

Потом не раз я вспоминал эту свадьбу.

Встретили нас объятиями, посадили на почетные места, устланные сумахами. Рядом сел молодой хозяин Гарун, единственный сын Али-Султана. Хвастаясь, стал рассказывать, как накануне в ущелье Ара-Дирих на охоте схватился с раненой медведицей, показывал свежие шрамы на руке и лице. А свадьба была в разгаре. Не раз меня приглашали танцевать, и все время приглашала одна и та же девушка, совсем юная, стройная, как камыш, хрупкая, как стекло, чернокосая и черноглазая, звонкоголосая певунья. Вот она бьет в бубен и напевает:

Он в тихом сне явился мне,
О любви шептал он сладко...
Где искать, куда писать,
Как решается загадка?
Эхо, милое, ответь,
Чтоб не тосковала впредь...

— Кто эта девушка? — спросил я.

— Да это же Амина! — улыбнулся Гарун.

— Какая Амина?

— Не узнал моей младшей сестренки?

— Ах, да, помню, помню... Но позволь, она была такая...

— Сопливая, хочешь сказать? На четвереньках ползала? Да. На благодатной нашей почве девочки быстро зреют, Эльдар... Их у меня четыре, сегодня выдаю замуж старшую, а эта — самая младшая. Прыткая, как горная коза. — Гарун говорил и наливал вино из бурдюка в деревянные чарки.— Вот опять она тянется, помоему, к тебе. Наверное, хочет пригласить на танец... Только не вздумай отказать: обидчива и злопамятна!

Нет, я не собирался отказывать Амине. Хмельной, возбужденный, я лихо закружился в танце, молодецки заломив серую каракулевую папаху.

Мне и в голову не приходило, что наши отцы смотрят на эти танцы совсем другими глазами. Не помню, то ли уступил уговорам, то ли хмель настроил на такой лад, но наутро узнал, что мы с Аминой помолвлены. А свадьбу отложили на год, когда я вернусь с войны. Как всегда, думали, что войны кончаются быстро... Бедная моя девушка, которой руководило еще только любопытство, а не любовь, подарила на прощание красный башлык, который сама вышила золотом, тихо молвила: «Береги себя, Эльдар, я буду ждать!» — и убежала раньше, чем я промолвил слово.

Гарун тоже поехал со мной в действующую армию: прискучили аульные будни, жаждал приключений, как и я, мечтал о военной славе. А дагестанские конные полки уже отличились и на Карпатах, и на Кавказе.

Турки нас называли: «Собаки, продавшиеся гяурам!»

Мощной лавиной мчались в атаку наши горцы, все с двойными газырями на черкесках, молча, держа и перебирая в левой руке янтарные четки, не обнажая сабель, пока не сближались вплотную. Отчаянные были ребята! Нет, не думайте, что хвалю просто соратников. Говорю, как чувствовал тогда... Среди них и я был самоуверен и храбр до наглости, а вскоре и вовсе уверился, что не возьмут меня ни пуля, ни ятаган: словно бы завороженный Аминой.

Уже у многих из нас появились, помню, георгиевские кресты. Мы продвигались не менее успешно, чем в свое время войска Зулькарная по персидской земле...

Не буду рассказывать вам, почтенные мугринцы, о сражениях. В своей жестокости они все похожи, а вы тоже понюхали пороху и вам знакома смерть в бою. Расскажу лишь один забавный случай: всегда ведь запоминается не то, что привычно, а необыкновенное...

Вижу, Хамзату хочется закурить: уже давно он крутит в пальцах папиросу. Думаю, врач не станет возражать, если я разрешу: топится камин и весь дым вытянет в огонь. Пожалуйста, курите на здоровье... Странное дело, многие жалуются, что не могут бросить курить, а я не раз сожалел, что так курить и не научился.

Дымите, пожалуйста! Над головой мужчины должен быть дым, если не пороховой, то хотя бы табачный...

Однажды холодной и голодноватой зимой шестнадцатого года, когда шли бои за Эрзерум, ночь прекратила бой. Турки укрепились на той стороне Кара-Су, или, по-нашему, Черной речки. Ждали рассвета. Едва забрезжило за нашими спинами, как вспыхнула перестрелка: значит, ждали, стерегли, прощупывали... Мы с генералом Санжиевым стояли на заснеженном холме, озирая окрестность, приглядываясь к вспышкам вражеских выстрелов... Вот уже и развиднелось, как вдруг перестрелка словно бы подавилась и вокруг легла тишина. В чем дело?!

И видим: между нашими и турецкими линиями появился черный бык с белым пятном на лбу. То ли был он ранен, то ли просто взбесился — стремглав кидался вперед, останавливался, выставив рога и роя копытами землю. Задирал хвост и бросался обратно. Так, по рассказам бывалых людей, ведет себя бык, который в день корриды вышел на арену. Только не было матадора.

Захваченные зрелищем, высыпали из укрытий и наши и турки, позабыв о предстоящем бое.

Бык неистово кружился, метался, бесился, будто его дразнил невидимый пикадор.

Я взглянул на широкое лицо генерала Санжиева и заметил, как в узких его глазах блеснула искра. Он пробормотал:

— Эх, ваши бы годы мне!

Эти слова прозвучали для меня приказом. Мгновенно я сбежал с холма, вскочил на коня и вылетел из засады, помчался к быку. Скакал и чувствовал на себе тысячи увлеченных, азартных, внимательных взглядов, и мне так захотелось показать всем — и землякам, и русским, и туркам,— на что способен Эльдар сын князя Уцуми из Кайтага, джигит, что молод и горяч. В ту минуту я не думал, что меня может просто пристрелить какой-нибудь равнодушный к зрелищам турок.

У самой извилины реки Кара-Су я нагнал быка и прямо с коня прыгнул ему на спину, уверенный, что удержусь. Да не тут-то было: бык мгновенно сбросил меня и пробежал дальше, а я... я упал, ударился о камни и ахнул — вот, мол, и все, вот и позор вместо славы! Нет, лучше пулю в лоб...

Больной замолчал, поднял голову, прислушался.

Все услышали, как трещат и стреляют дрова в камине и будто бы где-то, негромко булькая, льется вода.

Недоумевая, оглянулся Осман, стал удивленно озираться Сурхай, насторожился Кара-Алибек. И разом поняли: это Хамзат старается подавить смех; тут Хамзата прорвало: фыркнул, затрясся, закашлялся, захохотал, чихнул и, утирая глаза, пробормотал: «Герой! С быка — оземь княжеской спиной! Об камни! Ах-ха-ха-ха!»

Успокоенно опустил больной голову на подушку.

— Ты прав, Хамзат! — сказал он.— Смешно. Ужасно смешно. Если б ты слышал, как гоготали и турки и наши. Какие оскорбительные слова кричали, улюлюкали, свистели...

Я вскочил, готовый вонзить кинжал себе в сердце, и вижу: сделав круг, бык снова бежит ко мне,— видимо, привлеченный красным башлыком, что подарила губденская красавица Амина. Вспомнил Амину и вспыхнул яростно, как сухой хворост: нет, я должен победить быка! Изловчился, увернулся от рогов, обманул и вскочил ему на спину. На этот раз я стиснул быка ногами, зажал, как в тиски, да еще схватился за рог. Признаться, не слы-

шал криков восторга: словно бы оглох от злости. Ошеломленный бык взревел, стал подпрыгивать, метаться, но сбросить не смог. На мгновение он замер в растерянности. Я выхватил кинжал, толчком направил морду быка в сторону Каабы и, крикнув «бисмаллах», зарезал. Захрапел зарезанный таким жестоким способом бык, задрожал всем телом и повалился на бок в агонии. Кинжалом я помог ему расстаться с жизнью.

И тут почувствовал такое бессилие, такую слабость, что едва не рухнул рядом с быком наземь; к счастью, подошел мой вороной конь, я обнял его шею и перевел дух. И будто вынырнул из воды: услышал вдруг крики одобрения с обеих сторон. Турки были так восхищены моим бесстрашием, что не стали стрелять. Подобрались ко мне несколько наших пехотинцев и помогли оттащить к нашим быка, а я вскочил на коня и помчался в свой Дагестанский полк. Встретили с восторгом, даже стали качать. Только генерал Санжиев сказал: «Надо бы за такую выходку на двадцать суток под арест, да сейчас идем в бой. А вот что не растерялся, не дал врагу насмехаться,— за это спасибо. Ладно, полакомимся своей говядиной в Эрзеруме!.. А ну, орлы, по коням!..»

К вечеру мы взяли Эрзерум, но генералу Санжиеву не пришлось ужинать: был убит в сражении.

Из школы я вышел в чине подпоручика, в армии назначили командовать сотней. Теперь меня произвели в поручики... Получил право носить белую черкеску, золотые погоны, серебряные аксельбанты!

Вот этот живописный портрет поручика Дагестанского конного полка, что видите на стене, написан неким западным бродягой художником в Эрзеруме. Сходства, конечно, никакого, иначе я и не повесил бы его, но все-таки напоминает славные битвы и победы молодых лет. Как видите, у поручика было два георгиевских креста...

Так начиналась моя блестящая карьера. Откуда мне было знать, что это было и концом всех моих надежд и стремлений?

И еще одно очень меня тогда обидело: сражался отважно, рисковал жизнью, был героем, а меня никто не знал. Но стоило учинить единоборство с быком, корриду в испанском духе, и стал известным в офицерских кругах, да и вообще в армии. Бык принес мне славу!

3

Пока мы сражались на чужой земле, родная земля ускользала из-под наших ног. Чувствовалось, что вокруг рождалась, ширилась, росла неодолимая сила, более грозная, чем турецкая армия. Мне и самому было больно видеть страшный уклад жизни и темноту горцев, я готов был помочь им... Но горцы опережали мои намерения... Казалось, они хотели сказать: «Избавь нас от своей помощи, князь, мы сами устроим свою жизнь». Признаться, это задевало мое самолюбие.

Почему-то я был уверен, что война задержит растущую смуту. Увы, война способствовала нарастающему инкилабу, как у нас в горах называют революцию.

Должен сказать, до меня очень поздно доходил смысл событий. Возможно, в своем тщеславии я был слеп и желал видеть лишь то, что нравится. Признаться, такое свойство я обнаруживал у себя почти всю жизнь...

Время от времени доходили слухи о волнениях в действующей армии: в таком-то полку нашли прокламации, там арестовали и расстреляли большевистского агитатора... Бесстрашные люди, они умудрялись создавать солдатские комитеты в армии, и никакие преследования не помогали!

Да и вокруг, в анатолийском крае, на оккупированной турецкой земле все бродило и кипело. И вообще в Турции трон султана был готов под тяжестью народного гнева развалиться, как у нас говорят, «будто ржавый треножник под кипящим котлом»... Уже действовали кемалисты — приверженцы Мустафы Кемаля, который позже примет фамилию Ататюрка, то есть «отца турок».

Не помню, сказал ли я, что в ту пору меня назначили помощником начальника оккупированной зоны, и волей-неволей пришлось внимательнее оглядеться и попытаться понять, что же происходит? Впрочем, я все равно ничего не понял... И по-настоящему встревожился, лишь когда узнал, что Дагестанский конный полк самовольно снялся с позиций из-под Сиваса и двинулся мимо Эрзерума домой. Под Эрзерумом полк остановили. Арестовали большевистского агитатора, которым оказался — кто, как вы думаете, почтенные мугринцы? Мирза Харбукский, друг детства, молочный брат, сын отцовского

конюха Исрапила... А в то время действовал суровый приказ: без суда расстреливать всех «сеятелей смуты и неповиновения».

Надо же было, чтоб совсем случайно я встретил Мирзу, когда его вели трое конвойных с примкнутыми штыками. И было это на окраине Эрзерума.

— Мирза! Не может этого быть, Мирза! — крикнул я, осаживая коня и не веря своим глазам.— Мирза, друг мой, ты ли это?!

— Эльдар! — обернулся Мирза, и в его глазах я увидел радость и, как мне показалось, надежду.

Я спешился, подошел, мы обнялись. Конвойные смотрели растерянно.

— Как это понимать? Куда это тебя?

— Вот спроси земляков! Хотят отправить меня к праотцам на этой чужой земле, будто в Дагестане не найдется земли для могилы. Пытаюсь объяснить, что на том свете мне трудно будет искать своих, не лучше ли сперва вместе отправиться в Дагестан? Не слушают!

— Это большевистский эмиссар,— заикаясь, поторопился объяснить конвойный,— приказано...

— Отставить!

— Мне приказано...

— Здесь приказываю я, начальник оккупированного вилайета Эрзерум! Понятно?

— Я такого не знаю, штабс-ротмистр приказал...

Надо было что-то срочно делать, я не мог допустить, чтоб Мирзу расстреляли. И я взмахнул плетью.

Но тут Мирза схватил меня за руку:

— Не надо, Эльдар! Это свои...

Я оторопел: что за маскарад?!

— Иначе здесь опасно ходить, Эльдар,— объяснил Мирза.— И я боялся, что ты не поймешь...

— И ты мог подумать?! — Обида подступила к горлу.— Не ожидал!

— Теперь всего можно ожидать, Эльдар. Земля горит. Горцы восстали... Прости, если мы обидели тебя недоверием... На этой земле турки сами разберутся, а мы должны быть там, в Дагестане!

— Это агитация?

— Нет, дружеский совет. Чтоб ты со своей сотней направился туда, где решается судьба...

— Чья судьба?

— Нашего народа, Эльдар. Лучшие сыны Дагестана там!

— Предлагаешь нарушить присягу?

— Самое святое — присягнуть своему народу, Эльдар. Прощай!

— Прощайте,— сказал я, охваченный смутным чувством: хотелось вернуться домой и смущала дальнейшая моя судьба.— До встречи в Дагестане! — крикнул я вслед уходившим...

В конце концов, Дагестан, конечно, был дороже Эрзерумского вилайета.

В тот же день я убедился, что Мирза прав. Едва вернулся в свою резиденцию, как узнал, что сын Али-Султана, мой двоюродный брат Гарун, поднял свою сотню и отправился в родные горы вместе с Мирзой. Практически Дагестанский конный полк уже не существовал! Да и не только полк,— армия распадалась: солдаты переставали повиноваться, а офицеры присмирели; казалось, они прислушиваются к дыханию бури. Вскоре и весь наш полк отправили на родину. И уже в дороге, слушая солдатские разговоры, человек поумнее мог бы понять, против кого обнажат шашки дома эти герои недавних сражений... Но я не понял. На глазах разлагалось государство... Рушилось, разваливалось величавое здание империи, в котором я увлеченно поднимался по застланной коврами беломраморной лестнице — вверх, вверх, вверх... Вышло же так, что чин поручика, именная сабля и два георгиевских креста — высшее, чего я смог добиться в жизни, венец и конец всех моих иллюзий.

Я надеялся, что в Дагестане все найду таким, как оставил, прежним, неколебимым. Не верил, что горец с древним, отсталым укладом нищей жизни, с его прочными неписаными законами адата и шариата станет, подобно русскому крестьянину, жечь дворцы и поместья. Нет! Горец благочестив! Горец богобоязнен и верен аллаху!

Во дворе меня не встретили ни мать, ни отец. Не видно было и наших стражников — нукеров. Какие-то пьяные люди бродили, как видно, без дела и цели. Они схватили коня под уздцы, стащили меня с седла — я не успел ни

слова сказать, ни выхватить саблю,— разоружили и связали. Тут я услышал знакомый голос и обернулся: это подошел полупьяный Хамадар, разодетый в наряды с чужого плеча и вооруженный до зубов: все тот же мясистый нос торчком, похожий на морковь, злые глаза навыкат, небритые и нечистые щеки, помятая папаха.

Он тоже узнал меня.

— О, кого я вижу! Молодой князь вернулся в отцовское гнездо. С возвращеньицем! — и пошлепал меня ладонью по щеке; я не сдержался, плюнул ему в лицо. Хамадар спокойно утерся и сказал: — Ну зачем так сердиться, князь? Мы уже не дети, можем поговорить без драки...

— Что делается здесь? — крикнул я, стараясь вырваться из цепких лап, которые меня держали.— Кто позволил?

— А мы и не спрашивали! — ехидно усмехнулся Хамадар.— Сами решили.

— Где хозяева?

— Ты считаешь, что мы не похожи на хозяев? Другая теперь власть, братец.

— Бандиты!

— Ну-ну, полегче, князь, а то не ручаюсь за свой кулак. А ты с ним хорошо знаком, не правда ли?

— Где мой отец? — спросил я, стараясь сдержаться.

— Там! — Хамадар показал на дверь винного погреба.

— Хочу видеть его. Немедленно!

— Он занят и велел сказать, что никого не желает видеть. Все аудиенции отменены.

— Вы что, озверели?

— Есть малость. Только не мы в этом виноваты.

— Ты был и остался зверем! — Кровь прилила к сердцу, в бешенстве я пнул его ногой, да так, что Хамадар отлетел, споткнулся о колоду и рухнул, но тут же вскочил, багровый от злости.

— Отпустите его! — крикнул тем, кто меня держал, и выхватил наган.— Ты что ж, нацепил кресты на грудь и стал лягаться? Холуй русских гяуров! Предатель!

Громоздя брань на брань, подошел и с размаху ударил рукояткой нагана по плечу. Хрустнула ключица, потемнело в глазах, рухнул я без памяти.

Очнулся в винном погребе. Надо мной склонилась мать... Но разве это моя добрая красавица мама?! Постарела, осунулась, глаза испуганного ребенка и тихий голос безумной. Она шептала:

— Ничего, сынок, ничего. Хорошо, что вернулся. Правда, не так, сынок, хотели бы встретить, но что поделаешь... Прости нас...

— Что здесь происходит, мама?

— Люди взбесились, сынок.

— А где же отец?!

— Он здесь, сын мой, здесь...— Она приподняла меня, и я увидел... О, разве можно забыть такую картину!

Отец, князь Кара-Кайтага, сидел в кругу небритых, грязных и страшных людей в овечьих тулупах да в лохмотьях. Они пили вино, а посредине на ковре валялись кучей чуреки и куски вареного мяса. Отец глядел на меня и будто не видел. Признаться, я удивился, как это отец сел с ними за стол, но тут же заметил, что князь привязан к столу и страшно пьян: значит, поили насильно!

Что я мог сделать — руки-то связаны! Но я вскочил:

— Это жестоко! Это невыносимо!

— Проснулся, князь? С добрым утром! Ты, кажется, сказал, что это жестоко?

— Это зверство!

— А когда по приказу твоего отца невинных ссылали на русскую каторгу? Когда выкалывали глаза певцам? Поили отравой? Вырывали языки непослушным? Тогда это не было зверством и ты молчал? — Хамадар стоял передо мной с искаженным гневом лицом.— Говори! Ответь тем, кто рос на улице, как собака, у кого не было ни двора, ни даже циновки, чтоб положить под голову! Что ж молчишь?

— Мой отец не виноват! — в ту минуту я не мог придумать ничего другого.

— Твой отец благоразумнее тебя, князек. Он хоть молчит как рыба. А ты придержал бы язык: мы тоже умеем языки укорачивать!

Я посмотрел на отца. У старого князя после очередной, насильно влитой в горло, чарки вина покатились слезы; он закрыл глаза. И мне почудилось, что все это просто кошмарный сон: так не может быть наяву. Но я

не мог проснуться... Неужели для этого звал на родину молочный мой брат Мирза?!

— Хамадар! — крикнул я.— Если у тебя осталась хоть капля совести, чести...

— А ты сомневаешься?

— Хочу сразиться с тобой! Только с тобой! На чем хочешь — саблях, кинжалах, пистолетах... Выбирай сам оружие. Прими вызов!

— Выпей, князь, повеселись с нами...— сказал Хамадар, будто не слыша.

— Сын мой, не надо...— умоляла мать.— Они же не понимают. И какая женщина родила таких зверей!

— Прими вызов, Хамадар! — это звучало уже как мольба, как просьба, униженно.

— К твоему сведенью, князь,— усмехнулся Хамадар,— я не могу швыряться своей головой, она слишком дорого оценена местными властями. Но если тебе так не терпится подраться, то у меня есть один борец,— может, слышал — Сапар из Хабдашки?!

Я почувствовал в этом человеке гибкость и коварство хищника.

Передо мной предстал грозный бритоголовый, желтоглазый великан с волосатыми руками; на его плечах трещал замасленный бешмет; волчьи зубы были оскалены в усмешке... Да, я слышал о таком борце: на празднике в день моего рождения он должен был помериться силой с Али-Пачахом. Признаться, я снова ощутил себя ребенком. А борец медленно двинулся ко мне, дожевывая кусок мяса.

— Ну, что скажешь, молодой князь? Принимаю любые условия, бери любое оружие,— насмехался Хамадар.— А он выйдет безоружным. Идет? Овчину выделывай с равным себе, как любил говорить покойный певец Халил.

— Хамадар, ты — трус! Нам тесно вдвоем на одном канате!

— Что, Хамадар, пощекотать ему немного под мышками? — хрипло спросил Сапар.— Или печенку помять? Как прикажешь?

— Выведи во двор и потешься, сколько захочется.

— Оставьте его! Оставьте! — Мать загородила меня.— Все отняли, все ваше, так отпустите нас с миром!

— Так редко нам удавалось, княгиня, сидеть в таком обществе! Ха-ха-ха...

Кто знает, чем все кончилось бы, но тут раздался топот множества коней, выстрелы, крики, шумно распахнулась дверь и в погреб влетел один из тех, что связали меня во дворе, и прокричал:

— Таймаз приехал. Таймаз!

И все пировавшие в погребе насторожились и протрезвели. Только хмельной Хамадар старался казаться независимым.

— Что мне Таймаз?! Я здесь хозяин! Цыц, сидеть на месте!..

Но его уже не слушали. Все вскочили, готовые разбежаться.

В дверях появился молодой атлет, сабля, украшенная кубачинскими мастерами, и маузер в деревянной кобуре висели на поясе. Да, это был Таймаз, но теперь он выглядел старше своих лет. На чисто выбритом лице — черные, как перья стрижа, усы; суровые складки между бровей; злой огонек в глазах...

— Ах, вот вы где, щенки, вскормленные ишачьим молоком! Что здесь происходит?

Никогда б не подумал, что это голос Таймаза — такой грубый, хриплый...

— Эй, Хамадар, тебя спрашиваю!

— Вот. Веселимся тут с почтенным семейством...— уже заискивающе вымолвил Хамадар.

— Ну-ка, подойди! Ближе, ближе! Вот так. Посмотри мне в глаза! Что, совесть мучает?

— Да, есть немного...

— Виноватым себя чувствуешь? Отвечай!

— Да, виноват, Таймаз.

— Мой приказ получил?

— Да.

— А почему не явился с отрядом к полустанку, где ждали тебя?

— Да вот твой тесть оказался таким гостеприимным...

Хамадар не договорил.

— Подлец! — И Таймаз с размаху ударил плетью по раскрасневшейся морде Хамадара; кровь брызнула из

щеки.— Вон отсюда! Все вон! Там за свободу Дагестана кровь льется, а они отсиживаются в винных погребах...

Все выбежали из подвала.

Мы остались одни: моя растерянная, рано поседевшая бедная мама, которая, казалось, даже стала меньше ростом; отец, то ли потерявший сознание, то ли опьяневший от насильно влитого вина, безучастный, как бы отсутствующий, и я, будто оглушенный происшедшим.

Таймаз еще раз оглядел просторный погреб, заставленный винными бочками, и, словно только теперь увидев меня, холодно спросил:

— А ты откуда взялся?

— Приехал поглядеть, как твои бандиты издеваются над стариками.

— Не смей называть их бандитами!

— А ты поверишь, если назову святыми?! Может быть, скажешь, что не имеешь к ним отношения? Или извинишься за все передо мной?

— Нет, не скажу и не извинюсь. Но распущенности не потерплю, и Хамадар еще получит по заслугам! — Ловким движением Таймаз разрезал веревку, которой был опутан отец; затем перерезал кинжалом и путы на моих руках.

— За жизнь вашу не ручаюсь,— сказал он,— а потому советую уехать отсюда раз и навсегда.

— Не очень-то благородно с твоей стороны, зятек! — отозвалась мать.— А ведь я думала, что ты добрый человек... Тьфу на твою голову, изверг! Где моя дочь? Еще не убил?

— Успокойтесь, мать.

— Какая я тебе мать?! Где дочь, спрашиваю!

— Жива и здорова. И любит меня.

— Уж не она ли поручила расправиться с нами?!

— Успокойся, мама,— попросил я.— В самом деле, Таймаз: где моя сестра?

— Жива и здорова. Просила передать, что того же и вам желает... А тебе, Эльдар, должен сообщить: отныне нет княжеских поместий, они отданы тем, кто здесь работал...

— По какому праву?

— Наше право. Новое!

— Временное правительство предупреждало, что не

допустит самовольного захвата частных владений. Забыл, что ли?

— Мы не признаем ничего временного. Наша власть — навечно!

— Что за власть?!

— Власть справедливости и равенства.

— А издеваться над стариками — это тоже справедливость? Спасибо! До гроба не забуду и, придет время, напомню! Может, еще повстречаемся...

— Твоя воля, Эльдар! Если одумаешься и поймешь нас, приму с радостью, как брата. Вот все, что могу сказать в утешение. А за сестру не беспокойся.

— В утешениях не нуждаюсь. Еще найду и свой путь в жизни.

— Другого пути не будет!

— Будет!

— Ну что ж... прощайте!

Таймаз вывел нас из подземелья. На широком дворе было тесно от вооруженных горцев. Отдельно толпились раскрасневшиеся, потные сподвижники Хамадара. Понурив голову, стоял возле них Хамадар; видно, чувствовал свою вину и боялся возмездия.

— Временно можете остаться во дворце, занять две комнаты,— сказал Таймаз.

И нас отвели на второй этаж в правое крыло дворца. Я уложил отца на тахту, мать захлопотала возле него, а я встал возле окна, с любопытством глядя во двор.

Размахивая руками, сжимая кулаки, Таймаз о чем-то возбужденно говорил вооруженной толпе со ступеней парадного крыльца. На виду у всех к Хамадару подошел все тот же борец Сапар из Хабдашки и разоружил. Сперва тот попробовал сопротивляться, но Сапар легонько его встряхнул, и Хамадар покорился. Еще что-то сказал Таймаз, и разом взметнулись вверх руки: видимо, эти люди согласились с его решением. Толпа расступилась, и два горца повели Хамадара к воротам.

Гляжу я на вас, почтенные мугринцы, и вижу, как понемногу тают первоначальное удивление и недоверие, рассеиваются сомнения. Убедились, что перед вами не чудак и старый болтун?

— Да, не в шутку ты завел этот разговор, старик! — вздохнул Хамзат и затянулся сигаретой.— Твое счастье, что мы уважаем седины...

— Что весьма любезно с вашей стороны, господа. То, что я расскажу, не прочтете ни в учебнике истории, ни в других книжках: все было со мной на самом деле. Какая бы ни была, это моя жизнь.

— Не знаю, что думают остальные, старик, но мне трудно преодолеть раздражение. Покойная мать рассказывала про отца совсем другое... — не сдержался Кара-Алибек.

— На то она и мать, почтенный Алибек, чтоб не говорить сыну дурного об отце. Очень прошу: не горячись! Знаю, моя клятва для вас пустой звук, но клянусь жизнью единственной дочери,— я не собираюсь лгать.

— Слушаем тебя, старик! Даже не знаю, как теперь тебя называть,— сказал Осман и похлопал по колену не в меру горячего Алибека: мол, не нарушай обычая отцов, не перебивай исповедь.

— Как называть, как величать — теперь уже неважно! — Больной закашлялся, глотнул соку из стакана и утер платком рот.— Лучше слушайте дальше...

4

То ли сбежать удалось осужденному, то ли смилостивились исполнители сурового приговора и тайком отпустили, но стали доходить слухи, что видели Хамадара не раз в Дербенте, в духанах и веселых домах Порт-Петровска и Темир-Хан-Шуры. Позднее стали рассказывать про него и ограбленные в Большом ореховом лесу. Спросите, почему я так интересовался этим человеком? Наверное, все-таки обида и оскорбления от Хамадара засели во мне, как занозы, гноились и требовали отмщения. Особенно злили издевательства над матерью и отцом.

После тех потрясений отец долго не мог поправиться, а когда окреп, решил поехать в Темир-Хан-Шуру искать управу на непокорных горцев. Тщетно я отговаривал отца, он надеялся на помощь кунака нашей семьи шамхала Тарковского, что входил в состав так называемого Горского правительства... А я тем временем решил проведать в Губдене мою нареченную Амину. Ничего не объясняя,

мать старалась отговорить от поездки в Губден... Я знал, что отец поссорился с Али-Султаном, потому что Али-Султан примкнул к повстанцам и даже командовал у них отрядом. И все же, как истый горец, он не мог бы отказаться от своего слова. Правда, я не сумел вернуться через год, как обещал, но не по капризу или прихоти — из действующей армии не отлучаются по своему желанию!

Вот и поехал в Губден, предвкушая встречу с Аминой, которая, конечно, повзрослела, из полуподростка-полудевушки, наверное, сделалась женственной и милой девицей.

Амину я увидел, как только вошел на веранду сакли: она качала люльку и тихо пела колыбельную. Увидев меня, зарумянилась и смущенно отвела глаза.

— Здравствуй, Амина! — радостно вскричал я, протянул было руку, но рука повисла в воздухе: Амина отстранилась.

— С приездом, Эльдар! — Она жестом указала на табурет.— Садись. Вот досада: дома никого нет.

— А мне больше никто и не нужен!

— Время теперь тревожное, Эльдар...

— Где отец, Амина?!

— В горах. Собирает отряд. Народ взбунтовался, всюду недобрые вести, кровью пахнет...

— Да, неспокойно теперь, Амина. А где брат?

— Наверное, поехал с моим мужем. Они большие друзья...

— Что?!

—Да, Эльдар, я вышла замуж. Вот и сын родился у нас...

Казалось, крыша обрушилась мне на голову!

— А я ждала тебя... Но мне сказали... — продолжала Амина.

«А какое мне теперь дело, что ждала, если все-таки не дождалась?»

Рука невольно потянулась к кинжалу, но в это время запищал ребенок. Амина, качая люльку, обернулась ко мне и тихо сказала:

— Можешь убить меня, но сына пощади... Прошлый год отец приютил раненого комиссара, он умирал, но я выходила его, и мы... Это сын комиссара!

— Будь счастлива! — я вышел, вскочил в седло и прямо со двора поднял коня в галоп.

— Прощай, Эльдар! — все же услышал тихий голос Амины.

Все рушилось, все ускользало, теряло облик, ясность, привлекательность... Все вокруг будто окутано дымом или туманом, искажено, обезображено, страшно. Куда идти? С кем идти? Против кого сражаться? И ради чего?

С этими бессвязными мыслями поднялся я на перевал, на скрещение многих дорог, запутанных, извилистых, кривых, как сама жизнь. Что ж дальше? Спуск к реке, что грохочет камнями в ущелье? А потом?

Навстречу из ущелья поднимались мимо саклей какого-то аула вооруженные всадники. И здесь их встречали другие всадники, жители этого аула, и радостно приветствовали друг друга, и громко кричали: «Эгей, горцы! Время нас зовет! Сабли точите, коней седлайте, снимайте с жердей бешметы. Украшайте папахи алыми лентами. И не забудьте попрощаться с родными: не на гулянку мы поднялись, а в сражение, в поход за счастьем!»

Кто они, эти всадники? Что за цель у них, куда едут? Впереди вместо знамени реет красный шемахинский платок с бахромой, вынутый из горского заветного сундука. Громкая, стоголосая песня рождает эхо в горах, а впереди отряда едет на белом коне человек в кожанке, и что-то в этом человеке очень знакомое.

Хотел свернуть в сторону, но подскакали дозорные, крикнули: «Ни с места!» И я подчинился, сам не зная почему.

Отряд поднялся в гору, и на гордом белом коне подъехал ко мне Мирза Харбукский. Да, да, это был он. И выглядел Мирза в подхваченной широким ремнем кожанке, в папахе с красной звездой сказочным богатырем, уверенным в своем могуществе.

— Вот это встреча! Рад приветствовать тебя, Эльдар! — И сильной рукой сдержал загарцевавшего коня.

— Да, Мирза: все странно на этом свете!

— Откуда ты и куда? Одному небезопасно сейчас ездить в горах, да еще в твоей форме.

Дозорные оставили нас, отряд стал спускаться по склону, мимо меня мелькали папахи с красными лентами наискосок, кожаные кепки, ушанки, буденовки, кубанки. Я видел много знакомых лиц.

— Вот он, Эльдар,— сказал Мирза,— настоящий Дагестанский конный полк! Может, ты меня искал?

— Нет, я был в Губдене, Мирза.

— Догадываюсь! Невесту хотел проведать?

— Да, Мирза!

— И нашел у колыбели сына?

— Да, Мирза! — Губы у меня сжались; не то страх, не то ожидание чего-то недоброго, странное волнение охватило меня.

— Надеюсь, с ними ничего не случилось? — нахмурился Мирза.

— А это тебя очень беспокоит?

— Да.

— Хочешь сказать, что этот щенок в колыбели имеет какое-то отношение к тебе, Мирза?

— Это мой сын, Эльдар.

— И ты знал, что Амина помолвлена со мной?!

— Знал, что вы помолвлены. Но ты не сдержал слова.

— И ты поспешил воспользоваться?

— Я полюбил, Эльдар. И сердцу не прикажешь: она тоже полюбила... Не скрою, я обязан ей жизнью...

— И ты говоришь все это — мне?!

— Верю в твое мужество. И верю, что ты пойдешь с нами.

— После всего, что здесь увидел и пережил?! Нет.

— В личном разберемся после. Сейчас решается то, что важнее наших чувств. Испытай счастье в борьбе с нашим врагом!

— Не я ли ваш враг?

— Можешь стать другом...

— Барсук ястребу не друг. Прощай, Мирза!

— Ну что ж, прощай. Только не становись поперек нашей дороги!

— Угроза?

— Понимай как знаешь.

Гнев кипел во мне, обида сжимала сердце, я пришпорил коня: домой, скорее домой. Пора на что-то решиться! Оборваны все привязанности и надежды, я один и пото-

му свободен, как орел. Буду бороться, буду мстить тем, кто обидел родителей и меня самого.

И будто всевышний услыхал меня! Отец вернулся из Темир-Хан-Шуры приободренный: шамхал Тарковский обещал во всем помочь, сказал, что не потерпит произвола, что земли и дворец будут возвращены,— вот только отары, что были в Ногайских степях, и рыбные промыслы утеряны безвозвратно. «Ну и шайтан с ними!» — сказал отец. Оказывается, чабаны угнали овец в Сирагинские горы, раздали по аулам, а сами ушли в отряд Мирзы, слава которого росла с каждым днем.

Признаться, я принял обещания шамхала за добрую бабушкину сказку. Но через неделю прибыл с карательным отрядом уполномоченный исполнительного комитета Временного правительства и в короткое время усмирил враждебно настроенное население, а оказавших сопротивление повесили на ореховых деревьях. В эти же дни отцу предложили быть военным начальником округа. Князь Уцуми отказался, ссылаясь на возраст и нездоровье, и посоветовал назначить начальником меня. По всем аулам Кара-Кайтага я объявил набор добровольцев, обещая за верную службу обеспечить семьи и дать доброе жалованье. Вот когда вернулась ко мне уверенность! А вскоре во дворце собрался отряд в триста сабель, и немало в нем было моих молочных братьев: ведь кормилиц меняли каждую неделю!

Отряду нужно оружие, и я со своими людьми отправился в Амузги к знаменитому оружейнику Базалаю, твоему отцу, почтенный Хамзат.

— Зачем тебе оружие? — спросил он.

— Защищать новую власть.

— Какую? Не ту ли, что в Темир-Хан-Шуре?!

— Да.

— Эту власть не вооружаю. Она временная! Вот мои сабли, Эльдар сын Уцуми. Прочти написанное на клинке...

Да, я прочел: «Достойный обнажит меня за дело народа!»

— Кто же достоин твоих сабель, Базалай?

— Мирза Харбукский и Али-Султан из Губдена!

Что было делать? Пришлось властью военного начальника конфисковать сабли для своих людей, а оружейни-

ка арестовать, привезти во дворец и запереть в винном погребе, где издевался надо мной Хамадар.

И прежде всего со своим отрядом направился я в Большой ореховый лес, чтоб захватить Хамадара с его шайкой. Жажда мести овладела мной, желание поставить этого негодяя на колени перед матерью и отцом, принудить молить о прощении.

Мои люди разведали: он часто ночевал у лесника Кахсура, доброго старика, что жил с осиротевшей внучкой лет четырнадцати.

И эту девочку Хамадар изнасиловал! Если память не изменяет, ее звали Меседу... Видел девочку у лесника: играла тряпичными куклами, но уже была с огромным животом. Людей пугалась, как лесных зверей. При посторонних и слова не произносила, а забивалась в темный угол и удивленными, большими глазами следила за происходящим в доме. Даже детское любопытство было в ней убито ранним столкновением с мужской грубостью и жестокостью.

Расставил я людей вокруг дома лесника и велел непременно взять Хамадара живым. Но мне не повезло: то ли девочка Меседу со странной привязанностью к этому злодею предупредила его в лесу о засаде, то ли он сам, как собака, издали почуял недоброе, но больше Хамадар у лесника не появлялся. Два месяца я тщетно ждал, а потом снял осаду. Позже появился в тех местах торговец-перс, передал маленькой Меседу подарки и рассказал, что не раз видел Хамадара в духанах Тебриза с подозрительными людьми. Да, далеко улетела эта хищная птица! Пришлось тушить жестокую жажду мести: не мог же я отправиться в Иран!

А тревог вокруг становилось все больше.

В горах Мугринских и за Губденом собирал отряды повстанцев Мирза Харбукский со своим тестем Али-Султаном.

А в лесах Табасарана, недалеко от моих владений, рыскал с отрядом Таймаз, сын лудильщика Арсланбека. И всюду встречались дозоры бекской полиции, конные патрули от «временных правителей», мюриды имама Нажмутдина из Гоцо, проповедники Комитета мусульман и большевистские агитаторы. И все враждовали друг с другом, хватались при встрече за оружие.

Но вот грянул Октябрь 1917 года, почтенные мугринцы, с которого начинается ваше летосчисление, день, что отмечается во всех странах, на всех континентах, день победы большевиков. Повсюду в Дагестане загорелись костры красных повстанцев.

В это самое время объявился в Дагестане человек, сразу привлекший сердца бедноты от Салатавских гор до снеговых вершин Южлага. То был хорошо известный вам, почтенные мугринцы, Уллубий из Буйнака, человек, который, как тогда говорили, был «обучен в Петрограде делать революцию», с чем и вернулся на родину. Тупым людям вечно мерещится коварная «рука извне»! Да, хилый, худой человек в пенсне скоро стал вождем горской бедноты, создал дисциплинированные, сильные воинские части, чтоб захватить власть. О, это был грозный враг! Его не могли ни переубедить, ни переманить ни хитрый шамхал Тарковский, ни сам имам. В жизни и нуждах людей Дагестана он разбирался не хуже, чем в жизни собственной семьи. С верующими горцами был осторожен, терпелив, умел говорить просто и убедительно; Уллубий привлек на свою сторону даже духовных вождей, слыхали, наверное, об Али-Гаджи из Акуша, за которым шли все даргинские мусульмане? И он сделался сторонником Уллубия. А сам Уллубий, ничем не пренебрегая, даже вошел в Комитет мусульман. Чтоб не пугать темных горцев, которые поверили сказкам мулл и думали, что большевики — рогатые шайтаны с хвостами да копытами, его агитаторы ходили в фесках и с четками в руках. Один такой появился и в Кайтаге. Пришлось запереть и его в погреб, где сидел оружейник Базалай. Да, твой отец, почтенный Хамзат! А горцы удивительно слушались Уллубия и его соратников. Наверное, потому, что комиссары были из таких же бедняков, вроде сына конюха Мирзы Харбукского, про которого в горах пели:

Сталь хрипит на жерновах —
Это горцы точат шашки.
В бой поднялись за Мирзой
От Хунзаха до Хабдашки.

Так и получилось, как я боялся: пока мы, офицеры и князья, сводили личные счеты и болтали о близкой гибели большевиков, они победили. В столице Дагестана

власть взял Военно-революционный комитет, в который вошел и Мирза Харбукский. Всюду стали возникать местные ревкомы... Однако еще немалые силы были у имама и князей, что вошли в Горское правительство. Жестокие бои еще были впереди...

Бедный и суровый край мой, Дагестан, испокон веков был перепутьем для бродяг и завоевателей: через него текли полчища воинов и стада пастухов-кочевников, что искали новых пастбищ. И селились на плодородных землях по отрогам гор, а прежних поселенцев с боями теснили дальше и выше в горы. А там, наверху, свыкнувшись с гостеприимным поднебесьем, остатки большого народа спаялись в маленькую общину и пребывали впредь неизменными долгие века, неизменными, как скалы, на которых лепились их сакли. Эх, край суровый, родной Дагестан! Природа здесь такая же многообразная, как многообразны, многоязычны, многонациональны обитатели Страны гор.

О, сколько претерпела эта маленькая страна, маленькая, но гордая и отважная!.. Простите, почтенные, что отвлекся... В ту пору новая волна хлынула в Дагестан: в наши горы поспешили на лакомый и, казалось бы, легко доступный кусок и английские, и турецкие эмиссары, немцы, разгромленные в России офицеры его величества — все бросились сюда, как собаки на кость, рыча и дерясь друг с другом. А тем временем в самые глухие закоулки Дагестана уже проникал советский дух, и выбить его оттуда было невозможно никакими силами: разве только отрубить «зараженные головы»...

В ту пору прискакал гонец и передал приказ Горского правительства во что бы то ни стало не дать большевикам продвинуться в степи, к железной дороге, по которой из Баку двигался со своим бронепоездом полковник Бичерахов, ставленник англичан. Если б к приказу не была приложена записка шамхала Тарковского (в которой, между прочим, он обещал прислать подкрепление), я бы еще поколебался. Но шамхалу наша семья была многим обязана... Кажется, я уже говорил об этом. В тот же день принесли и письмо Мирзы Харбукского; он приказывал мне распустить отряд, беспрепятственно открыть маджалисский проход — Ворота гор, освободить оружейника Базалая и других арестованных, покинуть дворец и

земли, которые отныне будут, мол, принадлежать народу... В бешенстве я порвал в клочья письмо, а своим людям приказал вывести из подвала арестованных и расстрелять...

Да, почтенный Хамзат, твой отец Базалай считал себя большевиком, хотя все время молился: «Аллах, будь справедлив, дай победу большевикам, хоть раз должны победить они!»

И перед расстрелом повторял: «Все равно мы победим. Не может быть, чтоб аллах не услышал моих молитв, молитв большевика! Вот увидите, аллах еще даст добрую встряску вам, нечестивцы!» И представьте, только Базалай это крикнул, как под нашими ногами заколебалась земля: у нас землетрясения хоть и редки, но случаются. «Вот видите, видите! — обрадовался Базалай.— Аллах услышал меня! Теперь берегитесь!» Это были последние слова оружейника.

— Хватит! — крикнул, подымаясь, Хамзат.— Довольно! Старый седой шайтан, ты издеваешься над нами. Ты рассказываешь сыновьям, как убивал их отцов. Зачем? Думаешь, мы забыли свое горькое, сиротское детство? А ты, ты...

— Успокойся, Хамзат! — Осман взял его за руку и принудил сесть.— Не прерывай последнее слово осужденного.

— Кем осужденного?!

— Болезнью, Хамзат,— сказал Сурхай.— Мстить все равно уже поздно, да и недостойно коммуниста.

— И он живет до сих пор среди нас...— возмутился и Кара-Алибек.

— Юридическая давность...— прервал Осман.

— Да, да, понимаю... Но почему я должен слушать этого дьявола?!

— И все же очень прошу дослушать, почтенный Хамзат,— тихо сказал больной.— Вот ты спрашиваешь, зачем рассказываю... В самом деле, зачем? Мог бы промолчать и в тихом благополучии завершить жизнь, не возмущая ничьего спокойствия. Мог бы... Но это была бы мышиная смерть, уважаемые. Смерть под полом вашего общества. А я все-таки не мышь, не крыса, а человек. И теперь,

когда больше ни в чем не нуждаюсь, ничего не ищу, не требую, не хочу, именно теперь должен честно рассказать людям, среди которых жил, обо всем, не кривя душой, не утаивая, не притворяясь. Просеять свои поступки и поглядеть, что останется в решете: зерно или одна пустая полова? Думаю, не плохо было бы, если б каждый человек перед смертью, как говорят бухгалтеры, публично подводил дебет-кредит своей жизни. Глядишь, кто-нибудь со стороны и увидел бы в жизни исповедующегося что-нибудь свое, понял бы, научился и смог не оступиться там, где он оступился. Так сказать, публичный урок жития человеческого.

— Ладно, старик! Продолжай рассказ,— негромко произнес Осман, а Хамзат налил рюмку коньяку, выпил одним глотком, выдохнул шумно воздух и закурил.

— ...Так вот,— продолжал больной,— когда произошло то землетрясение, даже мой отец, князь Уцуми, смутился, сказал: «Ты еще больше озлобишь народ! Не делай этого...» И добавил свою любимую поговорку: «Я уже понял, что сыр сам создает себе червей».— «До коих пор будем смиренно ждать своей участи, отец?! — возразил я.— Если мы не станем действовать, станут действовать они. И прошу, отец, больше не вмешивайся. Я уже не ребенок...» — «Ну что ж, — ответил князь,— быть может, ты и прав...» — «А вам с матерью надо пока переехать к шамхалу; сегодня же, прошу вас. Скажите шамхалу, что жду подкрепления в долине Конгожи. Через три дня дам бой!» Мать заплакала: «Да сбережет тебя аллах, сынок! Знаю: если придется, достойно примешь смерть. Прощай!»

Ну, а Мирзе Харбукскому я ответил, что готов через три дня сразиться с ним в долине Конгожи за Маджалисом. Жарко там летом! Ровное плато, окруженное крутыми отрогами гор... Недаром еще в древности пилигрим Аль-Максуди писал, что в этой долине, где над родником ледяной воды построена аркада, можно прямо на камне без огня сжарить яичницу.

— Братья! — обратился я к воинам своего отряда.— Кажется, я вас не обижал, был щедрым и за верность платил верностью. Предстоит жаркая схватка, и если у

кого трясется душа, как хвост козы, тот может сегодня же уйти домой. Пусть останутся смелые, готовые отдать жизнь за наше дело!

— Князь, тут многие хотят знать, за какое «наше дело» мы должны отдать жизнь? — спросил один из всадников.

— Разве вы еще не поняли? За честь и славу Дагестана! — ответил я и вдруг почувствовал, что повторяю чужие слова. И повторяю плохо.— Что скажете, горцы?

— А с кем предстоит горячая схватка, князь?

— С теми, кто хочет обмануть вас, кто обещает землю и свободу, но отнимает веру. А без веры как жить человеку?

— Выходит, мы идем против гяуров?

— Да, против тех, кто хочет предать наш край!.. Я плачу вам хорошо, и вы поклялись...

— Клятву мы дали, да. Что ж, веди нас!

А человек десять тут же скинули оружие. «Прости нас, князь,— сказали они.— Мы должны кормить семьи; если умрем, что будет с ними?»

— Трусов не беру! — побагровел я. И обратился к остальным: — Будьте готовы на рассвете третьего дня. Молитесь, чтоб аллах помог нам в ратном труде.

— Аминь! — ответили воины.— Да будет удача!

И настал день третий.

Вряд ли когда в долине Конгожи было так жарко... Едва забрезжило и подул через ущелье соленый теплый морской ветер, я появился там с отрядом. Выслал дозор в сторону горных отрогов. Вскоре дозорные прискакали, сообщили: от Конгожского моста надвигается отряд, примерно сабель в двести. Нас было больше, и я обрадовался. Кони плясали и били копытами, будто от нетерпения. За нашими спинами поднималось солнце, и только озарило поросшие редким кустарником отроги, опоясанные извилистыми тропинками, как на равнину рысью выехал отряд и развернулся веером, словно для атаки. Мгновенно я бросил вперед коня и услышал за собой слитный, мощный, повторенный горным эхом топот сотен коней. И в ту минуту, когда солнце коснулось долины, мы с гиком, воплями, бранью врезались в неизвестный отряд. Искра-

ми с точильного колеса заблистали на солнце клинки. Ошеломленный внезапным нападением, противник на мгновение растерялся — и проиграл схватку! Лязг металла, треск выстрелов, ржание коней, истошные крики раненых, ужасные проклятия погибающих, запах лошадиного пота, разбитой копытами земли и, главное, человеческой крови... Люди ожесточились, озверели...

Потеряв почти половину отряда, противник обратился в паническое бегство, и тут навстречу мне с искаженным лицом, крича: «Измена, нас предали!», понесся на чубаром коне командир отряда. Я узнал его: то был Хасан из Хасавюрта. Пьяный от победы, от боя, я заорал: «Берегись, Хасан!» — и взмахнул саблей. «Эльдар, опомнись!» — успел крикнуть Хасан, попытался уклониться от сабли, удар пришелся по правой руке, мешком рухнул он наземь. Я сдержал коня, обернулся и — вздрогнул: правая рука Хасана лежала, как чужая, неестественно выгнутая, но что это на ней?! Спешился, подошел и увидел надетый на палец перстень. Перстень, как две капли росы похожий на тот, что прислал мне шамхал Тарковский. Страшная догадка ошеломила: я уничтожил посланное мне подкрепление!

Приказал прекратить бой, но он и так прекратился: остатки отряда Хасана рассеялись и скрылись за увалами. Говорят: вывих хуже перелома, а срам хуже смерти.

— Откуда у тебя перстень? Говори! — крикнул я в ужасе.

— От шамхала Тарковского, будь ты проклят...— отозвался, изнемогая, Хасан.

А тут вдруг заговорили толпившиеся вокруг воины моего отряда:

— Мирза! Мирза со своим полком! О, смотрите, смотрите — сколько их! И там! И здесь! И с тыла идут к нам! Еще и на склонах пешие и всадники...

Я огляделся и понял, что попал в капкан: пока я уничтожал свое подкрепление, хитрый комиссар окружил своими войсками все плато. «Что будем делать?» — спросил я верных людей. Решили попытаться пробиться. Но и это оказалось невозможным — в своей привычной кожанке навстречу скакал сам Мирза. Даже я позавидовал его бесстрашию. Он подъехал один и, сдерживая встающего на дыбы коня и словно не замечая меня, крикнул:

— Храбрые сыны Кайтага! Вы знаете меня: я Мирза Харбукский, член Военно-революционного комитета, а в этот час я еще и военный комиссар этого округа. Данной мне властью и уверенный в своей силе...— он улыбнулся и поглядел вокруг, как бы приглашая полюбоваться своим конным полком и отрядами повстанцев, что бесконечным потоком спускались по склонам,— говорю вам, да вы и сами понимаете, что всякое сопротивление бесполезно. Я предупреждал князя, но он высокомерно отверг предупреждение и повел вас на братоубийство. Да, вы храбро дрались и легко победили отряд Хасана, таких же, как вы, обманутых людей, что спешили вам же на помощь...

Он знал все! В ярости я выхватил наган, но мои же люди вынули оружие из моих рук, сказав: «Не мешай, князь. Дай послушать человека».

А Мирза продолжал:

— Храбрые сыны Кайтага! Вы, я знаю, верны слову и дали клятву служить князю. Но сегодня вы убедились, что вас натравливают друг на друга, из вас хотят сделать послушных баранов, вас дурачат, вами играют. Чем слабее будете вы, тем сильнее станут они! — и показал на меня плетью.— А теперь решайте: с кем вы? С народом или с князьями? Кто хочет прислуживать князю в его злобных поступках, тот может разоружиться и следовать за князем. А кто хочет бороться за советскую власть, за свободу народа, того обнимем, как брата, и примем в наши ряды. Это князья и шамхалы кричат, что они «за честь и славу Дагестана», а сами продают и честь его и славу чужестранцам. Пора понять: ломает ноги не тот, кто советует прыгать, а кто прыгает на самом деле. Честь и славу истерзанного Дагестана спасать народу, нам с вами. Решайте же — с кем вы!

Он быстро спешился, подошел к Хасану, который безучастно смотрел на окружающее, приподнял и приказал:

— Помогите перевязать ему руку! Что ж это ты, брат? А?

— Ошибся, Мирза. Прости.

— Эх, дурья голова! Кому поверил...

— Поверил, промахнулся. Теперь князь вышиб из меня дурь. Я с тобою, Мирза.

— Ты сейчас не вояка. Выздоровеешь, приму... А те-

бе, князь, дарую твою молодую жизнь. Говорят, понимающему котлу достаточно издали показать огонь. Но больше не попадайся на моем пути! — Он вскочил на коня.— Ну, как решили, храбрецы из Кайтага?

— Веди нас, Мирза! — воины отвернулись от меня.

— Тогда по коням! Хасана возьмите с собой... Спасибо за доверие, горцы!

И я остался с десятью верными, разоруженными людьми; стоял оскорбленный, униженный, позорно принял милость врага. Лучше б Мирза велел расстрелять! Конечно, я отпустил по домам своих людей, а сам отправился куда глаза глядят, лишь бы подальше от места своего позора, своего падения.

Не наскучили вам, уважаемые мугринцы, рассказы о моих неудачах? Как видите, не раз я был подобен глупому боевому барану... Простите, что подробно вдаюсь в дела тех далеких лет; просто хочется, чтоб вы знали обстановку, в которой я барахтался, плохо разбираясь в бурлящем водовороте жизни, стараясь пробиться к тому радостному для меня будущему, что обещали отцу разные предсказатели. Но тогда все уходило из-под ног... Говорят, уносимый бурей за куст хватается; но только колючки вонзались в руки, сердце рвалось от досады...

Простите, люди добрые! Кажется, я немного устал лежать на этом боку. Нет, нет, не беспокойтесь, мне поможет Зулейха: у нее ласковые, ловкие руки. Прошу тебя, перенеси подушки на эту сторону тахты, а я повернусь... Так. Вот так, спасибо! А теперь немного переведу дух... Оказывается, и от разговора человек устает, вроде косаря на сенокосе.

А вы будьте так милостивы: наполните свои рюмки.

5

Ехал я, помню, заросшими травой тропинками и вовсе по бездорожью, ехал предгорьями, не спускаясь в кумыкские степи, и даже ночь провел в седле: днем ездить здесь было небезопасно. Всюду рыскали дозоры и конные разъезды, и трудно было определить, чьи они — красные, зе-

леные, белые, наряд местной милиции или просто головорезы, что жизнь человека ценят не больше заячьей и куропаточьей. Тут одинокому путнику требовались глаза и на затылке. На рассвете я сорвал погоны со своей белой черкески и швырнул в кусты терна...

Помню, солнце вставало из-за моря и небо было чистое, как в моем беззаботном детстве. Шло лето восемнадцатого года.

Никогда я не умел говорить складно, логично... И так много наговорил о разных сражениях и схватках, что вы, молодые, можете предположить, будто в ту пору горцы только рубились, гонялись друг за другом, ловили, убивали, грабили... Нет! Немало все же оставалось в горах людей, которые хотели тихо и просто жить в мире. И они жили: рожали и растили детей, сеяли да убирали урожай, пасли баранту, болели и лечились, как могли; плясали, пели, любили и страдали... Вы и сами, почтенные мугринцы, можете представить себе, какой ералаш воцарился б в Дагестане, если б все от мала до велика, бросив привычные дела, занялись войной...

Гражданская война в наших горах напоминала грандиозную кровную месть в масштабах всей страны; всюду ходили слухи о разрыве куначества, связей, родства, о вражде между тукумами, отцами и братьями... Поди разберись в этой всеобщей сумятице!

За ночь проехал я немало километров и теперь, оказывается, спускался к Талгинской долине, где ныне устроен знаменитый санаторий с лечебной грязью и серной водой, а тогда было пустынно и дико. Переехал мост через речушку Талгинку и вскоре оказался у белокаменной аркады, прикрывающей родник. Потянуло отдохнуть и напиться свежей воды. Только теперь я заметил, что конь весь в мыле — от шеи до крупа. Сжалился над ним, отпустил попастись на лужайку, а сам залез на поросшую травой крышу над родником и лег, стараясь отвлечься, забыть о своих бедах. Вижу: по тропинке к роднику спускается молодая смуглянка с медным блестящим кувшином. И вдруг остановилась, застыла, наверное, увидела меня. Хотелось сказать: «Не бойся, козочка; я не страшен и одинок...» И чем больше глядел на милое личико, встревоженные глаза под четко очерченными бровями вразлет, сжатые в раздумье губы, похожие на

розовые лепестки шиповника, что рос прямо на крыше родника, тем больше хотелось подойти, спросить, чья она и откуда, расположить к себе ее душу, полюбить и стать любимым... Девушка глядела на меня исподтишка, будто стараясь угадать мои мысли, а затем украдкой улыбнулась, краем черного платка полузакрыла лицо и, медленно ступая по камням, подошла к роднику и не спеша наполнила узкогорлый кувшин студеной водой. От волнения у меня язык онемел, не мог вымолвить ни слова, а девушка спокойно пошла по тропинке прочь и исчезла за холмом в той стороне, где у подножия Тарки-Тау лежит Порт-Петровск, город, если можно назвать городом четыре грязные улицы приземистых мазанок. И названы они были будто в насмешку: Грязная улица, Глухая, Косая, Тюремная... Разве мог кто-нибудь предположить, что именно здесь будет столица нынешнего Дагестана с прекрасной набережной, парками, зелеными улицами, город шести институтов, университета, множества техникумов для горцев... А над Порт-Петровском на горе, среди скал, притаился аул Тарки — с древних времен резиденция тарковских шамхалов. Когда-то здесь у шамхала Адил-Герея гостил царь Петр... В этот аул с мечетью из резного камня я и направил коня.

Шамхал в тот вечер был странно возбужден. В гостиной светло горели газовые лампы (редкость по тем временам), шумно беседовали, спорили, чокались многочисленные гости, стол ломился от стряпни прославленных шамхальских поваров-армян. За столом сидели командующий войсками и флотом Кавказа, как он себя называл, полковник Бичерахов, затянутый в заграничный френч с большими карманами; турецкие эмиссары во главе с Азиз-беем, самоуверенным штабным офицером, смахивающим на краснощекую сирагинку; офицеры войск Горского правительства; друзья шамхала Тарковского. Советская Россия подписала с Турцией мирный договор, в котором между прочим говорилось, что все кавказские мусульманские народности со своими землями могут в случае их желания отойти к Турции. Казалось бы, чтоб выяснить мнение горцев, достаточно нескольких векилов — полномочных представителей. Однако на Кавказ прибыла целая миссия, и в Дагестане появились турецкие войска... Такие бывают в жизни преврат-

ности, почтенные! Давно ли мы оккупировали Эрзерумский вилайет? А теперь турки чувствовали себя чуть ли не хозяевами Дагестана.

Трудно было говорить при шамхале, особенно после моего поражения в долине Конгожи, но, попросив разрешения и с каждым словом все больше возгораясь, я кончил словами: «Черт возьми! Дайте нам самим без всякого вмешательства разобраться в том, что происходит в Дагестане. Доколе будем играть в прятки? Пора собрать воедино наши силы. Надо действовать, пока советская власть не упрочилась».

Меня прервал шамхал:

— Слышали, господа, о чем думают мои офицеры? — Он нервно провел рукой по бритой голове, испещренной бородавками, как чурек изюмом.— И они правы! То же самое думаю и я.— Он сказал это внушительно, как и подобало потомку могущественных шамхалов.— Большевики нас рубят поодиночке, то возле Сулака, то в долине Конгожи. А чего мы ждем? Вернее, ждали... Вашей помощи, господа. Но ее нет. И не такой корыстной помощи мы требовали... Довольно ждать и медлить! Завтра же двину верные мне войска на Темир-Хан-Шуру.

— Хочу спросить господина Азиз-бея, согласен ли он на совместные действия? — произнес полковник Бичерахов, глотнув доброго вина из хрустального бокала.

— Такие действия не входят в мои полномочия,— холодно возразил Азиз-бей и добавил: — Хочу, чтоб вам были ясны наши цели... Так вот, аллаху выгодно вернуть горцев Дагестана под луну единоверцев.

— Даже если Дагестан будет красным?!

— А мне все равно каким! Было бы только стабильное, полновластное правительство, с которым я мог бы вести переговоры о турецком протекторате. А там видно будет... Вы же, господин полковник, не желаете турецкого влияния здесь.

— Да, не желаю. У меня иные цели.

— И если станете настаивать на этих целях, мы будем воевать с вами, господин полковник,— насмешливо и высокомерно сказал Азиз-бей.

— Тогда мы раздавим вас! — раздраженно вскричал полковник, и его сросшиеся, жирные, как пиявки, брови дернулись, глаза злобно блеснули.

— Итак, господин Азиз-бей,— вмешался шамхал,— вы избираете роль того равнодушного зрителя на бое баранов, который говорит: «Кто б ни победил, а победитель все равно мой...»

— Я не равнодушен, уважаемый шамхал! Но я уполномочен заявить: английское влияние на этой земле нежелательно для моей страны,— ответил Азиз-бей с турецким упрямством.

— А турецкому протекторату не бывать! — возразил полковник, с трудом сдерживаясь.

— При таких обстоятельствах я склонен заключить союз с большевиками,— спокойно сказал Азиз-бей.— Помоему, это единственная сила в Дагестане, способная твердо заявить о себе.

— Есть другая сила! — перебил шамхал Тарковский.

— Какая сила?

— Верные мне и моим друзьям,— шамхал показал на сидящих поодаль беков,— войска. И я не нахожу возможным больше рассчитывать на вас. Помощи просят у сильных. А вы, господин полковник, вот уже два месяца топчетесь у Петровска со своим хваленым бронепоездом, а город все у большевиков.

— Город будет взят!

— Будьте осторожны, господин полковник, не испытывайте моего терпения,— молвил Азиз-бей, даже не взглянув на Бичерахова.

— Не ссорьтесь, господа,— прервал хозяин.— Я понял, что рассчитывать следует только на свои силы. Уверен, смогу навести порядок в моей стране. Что скажут мои офицеры?

— Честь и слава Дагестана превыше всего! — ответили офицеры.

— Военная диктатура — вот моя цель. Через месяц, господин офицер,— обратился хозяин к Азиз-бею,— буду рад принять вас в столице Дагестана как мирного векила и устроить в вашу честь парад победителей. Только прошу: тогда не говорите, что в моей бороде есть и ваш волос,— улыбнулся шамхал.— А теперь оставим этот разговор, чтоб не раздражать друг друга. Прошу спуститься в нижний этаж и посмотреть, как танцуют горянки.

Полковник попросил извинить его и ушел в сопровождении адъютантов. Он хорошо понимал, что если даже и

возьмет Петровск,— долго там продержаться все равно не сможет, а подкрепления не было... О, как хотел бы он проучить этого наглого турка! Но турок был силен и оттого высокомерен.

Признаться, я не очень поверил обещанию шамхала... Но хоть и не на следующий день, а через неделю шамхал все же сдержал слово и взял штурмом столицу Дагестана Темир-Хан-Шуру, объявил себя военным диктатором, устроил торжественный прием в честь турецкого эмиссара Азиз-бея. Впрочем, Азиз-бей тоже сдержал слово и помог большевикам разгромить воинство Бичерахова у Петровска; остатки бичераховских войск на пароходах бежали к берегам Ирана... Однако и Азиз-бей недолго торжествовал победу: тревожные события в Османской империи заставили в том же месяце турецкие войска покинуть Дагестан; остались лишь те офицеры, которые изъявили желание сотрудничать с шамхалом. Остался и Азиз-бей. Теперь я часто встречался с Азиз-беем, подружился, и однажды он рассказал мне с восхищением, как под Эрзерумом некий «горец из русских войск» в единоборстве одолел взбесившегося быка: «Это была храбрость, граничившая с безумием; ему могли позавидовать искусные тореро!» И поразился, узнав, что невольным тореро был я. Не раз мы в дружеском кругу пели памятную еще со времен Эрзерума грустную турецкую песню, что начиналась словами «Ахшам болду, лампа янды»:

Вечер наступил, и загорелась лампа,
и зовет кого-то милая девица...
Но зовет другого, ей не до меня:
я чужой здесь, негде приютиться...

Простите, люди добрые! Кажется, собака залаяла... Милая Зулейха, выйди, пожалуйста, погляди: может, все-таки дочь приехала с зятем?! Хотелось бы повидать напоследок... Как-никак я был неплохим отцом... А что твой сын, почтенный Осман, не думает остаться в ауле? Впрочем, что ему делать здесь с дипломом инженера-строителя? Моя дочь педагог, и то упорхнула в город...

— Почему же? Конечно, останется в ауле,— возразил Осман, разрезая сочный персик.

— А разве у нас что-нибудь большое строится?

— Не у нас, в районном центре. А туда же рукой подать.

— Да-а! Не сомневаюсь, жизнь с каждым днем будет все интересней...

— Там никого нет,— сказала, входя, Зулейха.— И за ворота вышла — никого... Дождь перестал. Проясняет...

— А чего же проклятый пес?!

— Он не лает, он воет на луну...

— Примета известная... Но я и без него знаю, что меня ждет.

Ну что ж, продолжим, как говорится, разбирать свои отяжелевшие на долгом пути хурджины...

6

Власть большевиков, которая еще не успела срастись корнями с землей и укрепиться в горах, пала... Вернее сказать, ценой неимоверных усилий, напрасных жертв, жестоких шариатских мер шамхалу удалось на год отсрочить наше падение... Он лихорадочно старался выбить из мозга горцев «большевистский дух», но обычно выбивал мозги, а не дух! А я был у него верным солдатом, поклявшимся на коране.

Нам удалось даже захватить членов подпольного большевистского обкома во главе с Уллубием. Скажу откровенно: если б раньше повстречался с этим человеком, иначе сложилась бы моя судьба... Впервые в жизни я позавидовал другому человеку — мужеству, стойкости, ясной убежденности, верности делу и своим соратникам. Могу сознаться, в нарушение клятвы я даже хотел устроить ему побег с единственным условием, чтоб покинул Дагестан. Но Уллубий наотрез отказался бежать и потребовал освободить всех, кто был арестован вместе с ним. И, с прозорливой ясностью видя наступающие для маленькой страны тяжелые испытания, он требовал распустить управление военного диктатора и парламент Горского правительства, ибо только советская власть, как он сказал, могла отстоять Страну гор от наиболее опасного врага — озверевших полчищ белоказаков... Но мы были охвачены азартом расправ... Только не подумайте, что я пытаюсь вызвать у вас снисхождение ко мне. Теперь в

этом уже не нуждаюсь и говорю о белом, что это белое, а о черном — черное...

Не раз красные повстанцы пытались освободить своих руководителей, но все тщетно. Шамхал доверил мне конный полк в пятьсот сабель из своего личного резерва. Последнюю попытку отбить заключенных совершил Мирза Харбукский, когда их везли на поезде из Темир-Хан-Шуры. Нападение было совершено у полустанка Кумтор-Кала, и здесь я разгромил его полк в жестоком бою у песчаного холма Сары-Кум: о намерениях Мирзы мы узнали заранее. В разгар сражения я приказал верным людям взять Мирзу живым. Не пытаюсь объяснить даже самому себе, кто виноват, что моя нареченная избрала его; меня просто жгли гнев и обида, была задета мужская честь...

Должен сказать, Мирза дрался яростно, долго не сдавался, отбиваясь от наседающих со всех сторон моих всадников. Но его все-таки схватили...

И он предстал передо мной, раненый, в крови, но непокоренный.

Вот он — друг моего детства и враг моих убеждений... Странное это слово «убеждения»! А какие у меня были убеждения? Я долго думал об этом и тогда и позже. Хотелось объяснить хотя бы самому себе, чего я желал в жизни, какие идеалы воодушевляли и побуждали действовать... И в результате раздумий пришел к выводу, что не было у меня никаких убеждений, кроме желания жить, как жили мои предки,— в богатстве, почете, власти! И всех, кто в том мне отказывал, считал своими кровными врагами. А рассуждения о «чести и славе Дагестана», о «независимом Дагестане» — все это только декорации, фиговый листок для себялюбца.

Передо мной стоял Мирза, потерпевший тяжелую неудачу. Лицо его в ссадинах и кровоподтеках казалось выкованным из старого железа, тронутого кое-где ржавчиной. Он готов был встретить смерть так же достойно и стойко, как достойно и стойко служил своим убеждениям.

А я готовился с наслаждением сокрушить его, отомстить.

— Хотел видеть меня живым? — спросил он, тщетно пытаясь вырваться из цепких рук моих воинов.

— Отпустите его! — повелел я.

— Ну что ж, предоставлю тебе такое удовольствие. Гляди! Как, сам застрелишь или прикажешь своим новым холуям?

— Как видишь, комиссар, времена меняются. Теперь моя власть пришла! — усмехнулся я.

— Ты прав, князь, времена меняются,— сказал Мирза и громко добавил: — Можете утешаться этой победой, но все равно вы обречены!

— Зачем кричать?! Бой кончился, ты разгромлен. Вокруг тихо.

— Что ж, на этот раз твоя взяла, Эльдар сын князя Уцуми. Что, думаешь, стану на колени и буду просить милости? Зря! Это вам надо просить прощения у наших гор за тех истинных сынов Дагестана, что пали здесь во имя революции и свободы. А между прочим, среди павших немало людей, которые когда-то под твоим командованием сражались в долине Конгожи...

— Теперь чувствую себя отмщенным! — прервал я и захохотал, но почему-то вспомнил наглый смех Хамадара, стало стыдно, я умолк. И тут нахлынули воспоминания о детстве. Невольно вырвалось: — А ведь мы были друзьями, Мирза!

— Барсук ястребу не друг,— усмехнулся комиссар в разорванной кожаной куртке.— Зачем вспоминать?

— Просто пытался понять тебя...

— Кончай, Эльдар сын князя Уцуми. Торжествуй нынче!

— Не думаешь ли, что смалодушничаю и отпущу тебя? — спросил я в смутном недоумении: «Неужели этому человеку не страшна смерть?»

— Милости не жду! А хотелось бы проститься с сыном, маленьким моим Омаром! — И тут глаза у этого храбреца увлажнились, засветились беспомощным жгучим желанием. Но свет сразу исчез, глаза снова стали холодными.— Есть у меня такая слабость: люблю сына... Но умру спокойно: знаю, что ему жить будет лучше!

— А все-таки, Мирза, жалко семью...

— Ничего! О моей семье позаботятся.

— Кто же это?

— Советская власть!

— Нет советской власти! Мы задушили ее...

— Смешно! Ты же сам не веришь этому! В муках, в

борьбе, но она рождается. И вам не скрыться от гнева народа.

— Ты уверен?!

— Сам убедишься. Ну что ж: стреляй! Пощады просить не буду. Трус!

Не знаю, почему в это мгновение мне представились разграбленный отцовский дом, винный погреб, где надо мной и отцом издевались бывшие райаты — рабы во главе с Хамадаром; предстали передо мной все неудачи и промахи, и в каком-то исступлении я выхватил наган и разрядил в комиссара. Он рухнул к моим ногам, промолвив:

— Будь проклят! Помни, буду являться к тебе живым... Прощай, Омар! Прощай, Амина...

В тот же день по приговору военно-шариатского суда был расстрелян и Уллубий в местечке Темиргое.

Казалось, эти выстрелы разбудили горное эхо... Как говорится, пиала не разбивается без звона. Красные повстанцы в горах стали объединяться в полки. На место Мирзы стал Таймаз... Правление шамхала Тарковского, казавшееся таким прочным, вдруг треснуло, из стен стали выпадать камни. Появилось ощущение, что здание стоит на пороховом погребе, в который подброшен зажженный фитиль... Восстал один полк шамхала, другой, третий... Горцы стали отзывать своих сыновей со службы «кровавому диктатору», как прозвали в горах Тарковского. А тут еще деникинский штаб потребовал распустить управление диктатора и Горский парламент и передать власть белоказакам, которые тогда уже хозяйничали на всем побережье от Хасавюрта до Дербента. Словом, неспроста сказано, что пошатнувшийся зуб не удержишь!

Шамхал с удовольствием отдал власть белым, ибо боялся, что власть захватят красные, а сам собрал чемоданы, взял семью и уехал в Иран, причем не счел нужным даже предупредить моего отца с матерью, что жили у него во дворце... Сейчас шамхал глубоким стариком доживает век в Тегеране и, говорят, мечтает вернуться в Дагестан, чтоб умереть на родной земле, но не решается: видно, мучают его воспоминания не меньше, чем меня; а на совести у шамхала немало пятен...

В Тарках, в опустевшем дворце, я нашел растерянного отца, брошенного на произвол судьбы невежливым хо-

зяином. Князь Уцуми пожимал плечами: «Горец, шамхал — и вдруг бросить гостя, кунака, как изношенную обувь...» Со мной приехали несколько оставшихся верными солдат и турецкий офицер Азиз-бей. Оставаться в Тарках нам всем было небезопасно: в горах, в Левашах, уже вышли из подполья большевики и крупные отряды красных двигались с гор на равнину. Азиз-бей спешил убраться восвояси на родину, и мой отец договорился ехать с ним. Я даже поссорился из-за того с князем Уцуми: пытался отговорить, убеждал остаться в Дагестане. Но князь был упрям...

Ночью выехали из аула Тарки маленьким отрядом, двинулись по предгорьям к югу. На рассвете оказались у холмов Урцехи недалеко от Губдена, и князь-отец вдруг решил заехать к Али-Султану, помириться и попрощаться; может, когда-нибудь доведется постучаться в эту дверь! Я не противился, не возражал и Азиз-бей, который всю дорогу соблазнял отца рассказами о Турции и обещал предоставить моим старикам половину своего дворца в Эрзеруме.

Мы ехали, а навстречу нескончаемой вереницей тянулись беженцы; на арбах, на ишаках, на вьючных мулах везли жалкий скарб, угрюмые, испуганные, дико озирающиеся... Это горцы бежали от новой беды — от белоказаков.

Да, почтенные мугринцы, время было ужасное... Несмотря на молодость, я тогда уже повидал и убийства в сражении, погибающих от ран, от болезней, от голода, но все это было просто детскими шутками перед жестокостями, которые творили белоказаки в непокорных горских аулах! Они превзошли даже полчища персидских шахов. Горели аулы, сотнями гибли старики и дети, казни самые изощренные: мы видели повешенных вверх ногами, головы, насаженные на колья изгороди, четвертованных, которых еще не успели похоронить горцы... Запах крови и гари преследовал нас до самого Губдена. И этот аул был охвачен пламенем; казалось, даже камни горят. Так некогда в этих местах арабы сожгли городище Шам-Шахар, и до сих пор под слоем земли находят почерневшие в огне камни. Дым окутывал все, будто туманом. Казалось, белоказаки уже расправились с отрядом непокорного Али-Султана, а сейчас врывались в сак-

ли, убивали, насиловали. Кричали женщины и дети, то там, то здесь слышались выстрелы, мелькали пьяные фигуры в казачьей форме, конные и пешие... Вот один ударил шашкой старика, что выбежал навстречу с лопатой в руках... А вот и сакля Али-Султана, объятая огнем... Из-за этой сакли выбежала женщина, прижимая к груди ребенка; она отчаянно кричала, молила о помощи, с ее головы слетел платок... Она бежала в нашу сторону. И я узнал: это была жена Мирзы Харбукского, младшая дочь Али-Султана, бывшая моя нареченная Амина с сыном! За ней гнался белый офицер, размахивая над головой обнаженной шашкой.

— Амина! — крикнул я и пришпорил коня, чтоб преградить путь офицеру, но меня опередил выстрел. Офицер будто наткнулся на что-то, выронил шашку и рухнул. Я быстро обернулся и увидел: то стрелял мой старик отец.

— Лучше умереть здесь,— крикнул он,— чем видеть такое!

— Не надо, отец! — тщетно кричал я.— Лучше поскорее убраться отсюда, отец!

Он был неудержим.

— Убирайся один, если боишься испачкать саблю! — И, выхватив саблю, отец поскакал на белоказаков. Верные нам всадники бросились за ним.— Береги мать!

Увы, я не сумел ее сберечь: пуля сразила мать; тяжело раненную, я снял ее с коня.

— Мама, мама! Что с тобой, мама?!

— Вот и все, сын... Так даже лучше: я не хотела уезжать... Хотела умереть на родине... Аллах услышал...

— Мама! — Я обернулся, подошла Амина и склонилась, не выпуская ребенка, над моей матерью.

— Помоги отцу! — слабеющим голосом произнесла мать.

И, оставив ее с Аминой, я вскочил на коня. Больше я ничего не видел, кроме шарахающихся от моих ударов пеших казаков и всадников, которых рубил неистово, яростно, без пощады. Нас было всего человек семь, считая и меня, и отца, и турка, и вдруг мы оказались в кольце наседающих казаков. Кто-то из наших спутников рухнул с коня, сраженный казаком. Никогда я не дрался с таким ожесточением. Казалось, мы обречены и сложим

здесь головы, но это больше не пугало. И тут внезапно с гиком из трех переулков выскочили всадники, и я увидел впереди них Али-Султана и его сына Гаруна. От радости я вздохнул всей грудью и невольно замешкался...

— Берегись, Эльдар! — услышал я крик Гаруна и выстрел: ему удалось из пистолета поразить казака, что пытался достать меня шашкой.

— Рад вас видеть, князь! — крикнул отцу Али-Султан.

Радостно улыбаясь, пробивался ко мне белозубый красавец и лихой рубака Гарун. Но и его настигла вражеская шашка: рухнул с разрубленной головой.

— Гаруна убили! — закричали горцы. И с утроенной яростью бросились на казаков.

Впервые я увидел плачущего горца. Али-Султан спрыгнул с коня и подошел к сыну. Гарун был мертв, хотя не потухли еще ясные открытые глаза, не исчезла еще улыбка. По лицу Али-Султана катились слезы. А когда он поднял голову и молча вскочил на коня, все поняли: это уже не Али-Султан, не старик, а снежный барс, не знающий смерти.

Теперь мы теснили казаков к стенам и рубили с размаху. Часть карателей бросилась туда, где путь оказался свободным: к горке, на которой стояли остатки древней крепостной стены и башни. Они поняли беду, лишь когда взбежали на горку и увидели за ней пропасть; отступать было некуда!

— Ни один не должен уйти живым! — кричал Али-Султан.— Рубите, бейте белых зверей!

Мы окружили, порубили и сбросили в пропасть остатки белоказаков. Возмездие совершилось! Но разве оттого меньше стало горе людей, в семьи которых белоказаки принесли смерть и беду? Разве меньше горевал я, когда хоронил мать на губденском кладбище?

Все тела врагов были выкинуты в пропасть. «Пусть вороны выклюют им глаза! Пусть шакалы растерзают их тела! Пусть змеи высосут их кости!» — причитали горянки.

Целый день горцы хоронили погибших от рук карателей.

С почестями похоронили Гаруна.

А потом Али-Султан велел всем жителям аула уходить с его отрядом в горы, в леса: оставаться было опасно, белоказаки не успокоились бы, обнаружив исчезновение карательного отряда. И жители подчинились. Только один старик все время бормотал: «Ну, зачем, зачем, я вас спрашиваю, нужна эта война? Что, плохо было жить в своих саклях, да? А теперь ни сакли, ни скота, ни жены — старухи моей...» — «Неверно, неверно ты говоришь, старик! Дело не в том, что они русские, а мы горцы. Они враги и русской и горской бедноте; общие наши враги!» — возразил Али-Султан.

Той же ночью отец попрощался с Али-Султаном, который тщетно уговаривал не покидать Дагестан, и с турком и еще с одним верным каракайтагцем отправился в неведомый чужой край.

А я поневоле оказался в отряде красных повстанцев. Судьба снова свела с Али-Султаном. К счастью, он многого не знал обо мне... С тех пор не раз участвовал в боях под красным знаменем и в этих сражениях впервые почувствовал сокрушающую силу народа и его великую веру в лучшее будущее, которая труса делала храбрецом, а храбреца героем.

Весной двадцатого года в Дагестане снова и уже навечно установилась советская власть. Сбылось предсказание Мирзы! Теперь Амина с сыном снова жила в отцовской сакле. Не раз я хотел подойти, заговорить... Но она всегда была с сыном Омаром, а он так напоминал Мирзу Харбукского...

Все было бы, возможно, хорошо, если б советская власть позабыла о своих героях и о моем прошлом. Но она не забыла!

Полк красных повстанцев во главе с Али-Султаном готовился выступить в горы, чтобы добить остатки войск аварского барановода Нажмутдина из Гоцо, отцовского кунака. Я колебался: одно дело — рубиться с белоказаками, а другое — снова убивать братьев-горцев... Перед самым выступлением Али-Султан вызвал меня. Он получил письмо от ревкома, в котором предписывалось, если удастся встретить, арестовать нижеследующих лиц... В списке значились шамхал Тарковский, турецкий офицер Азиз-бей, я и другие. Нас надлежало под усиленной охраной отправить в Темир-Хан-Шуру.

Али-Султан говорил: «Нет причины тревожиться. Наверное, пустая формальность, проверка... Как-никак ты сын князя Уцуми из Кайтага, личность заметная, представитель свергнутого класса... А в этом конверте лежит мой отзыв о тебе». В отзыве добрый, великодушный Али-Султан писал, что я немало содействовал победе в сражении в ущелье Ая, губденской схватке и других боях с белоказаками... Все это было правдой, но как мало в сравнении с другими фактами, о которых Али-Султан не знал!

Два губденца, что сопровождали меня, знали отношение Али-Султана, были уверены, что, как говорится, дело выеденного яйца не стоит. И потому были опрометчивы, а я постарался спокойствием и веселостью отвлечь мысли в иную сторону, чтоб не брать еще один грех на душу. И без труда затерялся в садах Дженгутая. Уже скрываясь в лесах и горах, как бездомный пес, как абрек, узнал от случайных путников, что Али-Султан погиб в Араканах в схватке с остатками отрядов Нажмутдина из Гоцо. Не скажу, что обрадовался вести, но все же стало спокойнее: скверно было думать, как поразит старика мое бегство...

Вот так, почтенные мугринцы, скрывался я несколько лет в лесах Табасарана и Закаталы; добродушные горцы, исполняя закон гостеприимства, в зимнюю стужу не отказывали в ночлеге и всегда делились куском хлеба. Лишь одиночество доводило порой до беспросветной тоски. Она и заставила спуститься в Большой ореховый лес, свела с человеком, который был когда-то правой рукой Хамадара, а теперь разбойничал: грабил путников, женщин, вечерами у костра похвалялся своими похождениями. Звали его Мутай из Чихруги, и был он странно похож на меня: такого же роста, так же сложен и даже, пожалуй, немного схож лицом... В долгие ночи у костра поведал он многое о себе: родственников не осталось, кроме слепого от рождения дяди, с трудом существующего на подаяния; еще маленьким покинул свой аул; никогда не признавал никакой власти, но и не боролся ни с властью, ни за власть. И его пока никто не преследовал. А меня повсюду искали чекисты: однажды я подслушал разговор милиционеров на полустанке Берикей... И пришла мне мысль странная и страшная, но спасительная;

если б она осуществилась, я мог бы вернуться к людям, не скитаться, как зверь, по лесным чащам...

Однажды я извлек из тайника свою старую форму поручика Дагестанского конного полка, именное оружие и стал при Мутае из Чихруги мерять. Мутай аж затрясся.

— Тебе это не подойдет! — закричал он.— Дай-ка сюда!

А когда нарядился, вскричал в удивлении и восторге:

— Это ж на меня сшито! Даю что угодно взамен...

Я притворился, что обижен и не хочу отдавать, он стал настаивать, и, хмурясь, я уступил.. Вскоре он где-то раздобыл хорошего коня с английским седлом и в полном упоении щеголял в чужой шкуре.

Я же вновь появился на полустанке Берикей, разговорился с милиционерами, сказал, что им нечего и думать изловить князя Эльдара, а вот я знаю его близко... Милиционеры вцепились как клещи, просили указать, даже пригрозили арестом...

Мутай из Чихруги отстреливался бешено, но был ранен и взят. Такой оборот дела меня не устраивал, и, пока милиционеры готовили лошадь, чтоб перевезти раненого, я выхватил наган Мутая и пристрелил его. А милиционерам объяснил, что не мог иначе, ибо этот проклятый князь изнасиловал мою невесту, убил брата... Словом, нарассказал столько, что мне поверили. Но и мертвым повезли его в столицу... И в тот год, когда в Кайтаге саранча уничтожила урожай, а служители веры распространили слух, будто на ее крыльях было по-арабски написано: «Причина бедствия в дружбе с гяурами и ячейках безбожников, да покарает их аллах!» — в газете «Даргинец» сообщили, что при содействии местного населения (то есть моем) чекистам удалось обезвредить злейшего врага советской власти, бывшего офицера царской армии князя Эльдара сына князя Уцуми из Кайтага. При аресте князь Эльдар оказал бешеное сопротивление, в перестрелке был убит и опознан. «Еще одним врагом стало меньше на нашей земле!»

Вот так, почтенные мугринцы, завершилась жизнь, когда я существовал еще под именем, которое дали родители... Но я обманул людей и украл у аллаха вторую

жизнь, жизнь Мутая из Чихруги, в надежде испытать хотя бы простые радости обыкновенного человека... Но что-то мало увидел и этих радостей! Хоть шкура была другая, в душе я оставался тем же заблудившимся, одиноким, обманутым самим собой...

Кажется, и хинкал готов! Добрая у меня хозяйка, исполнительная. Еще тяжелее было б жить, если б не она...

Сейчас она накроет стол, почтенные, а я, если позволите, немного помолчу, чтоб не портить аппетита. Отдохну... Вкусно пахнет вареное мясо! Знаете, осенью и весной рекомендуется есть мясо черной овцы... Где-то об этом читал. Только не помню — почему... Зулейха, и мне, пожалуйста, немного мяса и бульона. Не знаю почему, мне даже немного легче стало...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МУТАЙ ИЗ ЧИХРУГИ

1

Знаю, в душе ворочаете камни гнева, как горный поток, переполненный дождями... И все же спасибо, почтенные мугринцы, что слушаете с завидным терпением. Да, вы великодушны...

С вашего позволения, продолжу рассказ...

Чего же я достиг в жизни, что совершил? Все потерял, даже имя свое... И представьте, когда избавился от всего, пришло странное чувство облегчения. Выходит, не зря придумана поговорка: «И среди потерь бывает потеря, которая снимает с плеч тяжелый груз!»

Чтоб окончательно срастись с новой кожей и проверить — не подстерегает ли, притаившись в норе, какая-нибудь беда, отправился в неизвестный мне, но родной для Мутая аул Чихруги. Для этого, должен сказать, требовалось дерзости не меньше, чем для боя с быком под Эрзерумом. К душевному моему успокоению, покойный Мутай не лгал, да откроются перед ним пошире врата рая! Родных в ауле не оказалось, кроме слепого от рождения дяди Шапи, худого, как обглоданная кость, старика с лицом,

искаженным ранней беззубостью; когда он ел или разговаривал, казалось, будто старик глотает губы: зрелище жуткое и неприятное. Слепой Шапи радостно признал во мне своего племянника, когда в те трудные годы на сирагинском базаре я купил ему два мешка ячменной муки, вяленую баранью тушу и ураринский бурдюк с горской брынзой. При почтенных людях аула, что приходили благословить возвращение блудного сына, дядя Шапи бурно выражал радость, что вот нашелся племянник, не забыл родного аула и своего единственного, обиженного судьбой дядю, который никогда не видал, какое оно, голубое небо, зеленые листья и трава, что такое «белый снег» и «многоцветная радуга», представлял все в черном цвете и лишь на ощупь знал стены саклей и предметы обихода: баранью потертую шкурку, что служила ему намазлыком — ковриком для молитв, таз да кумган для омовений, ложку для похлебки, хлеб...

Аул этот казался часовней посреди кладбища, и не проходило дня, чтоб не хоронили человека, погибшего от голода или от болезни. Все недуги горцы делили на три рода: желтая болезнь, когда больного поразил дурной ветер; человек умер, задыхаясь от астмы,— значит, во сне его придавил шайтан; о больных чахоткой говорили, что у них излишек крови внутри и чем больше ее отхаркают, тем лучше; и вправду, больному наконец становилось лучше — кончались страдания, он умирал... От грязи и убогой одежды распространялись накожные болезни: парша, чесотка, наросты лишаев, которые тщетно лечили травами. Не тут ли родилась горская брань: «ты, червяк чахоточный!», «мешок зла и болезней», «овца паршивая», «лучше чеши языком свою чесотку». Откуда было горцам знать тогда, что такое «белье»? Спали на овечьих шкурах, и сшить новую шубу считалось великой удачей.

Суровый край мой! До этого я не представлял, насколько он нищ, ведь горец умирал, но не протягивал руку за подаянием!

И вот советская власть взялась строить здесь новую жизнь.

Казалось жестокой насмешкой, несбыточной мечтой в таких условиях говорить о просвещении народа, школах и больницах, домах для беспризорных, строительст-

ве дорог, каналах и тракторах, о швейных машинах, которые шьют одежду, о телефоне и радио, что передают людские слова... И это тогда, когда ревком был вынужден по всем аулам дать приказ, чтоб горцы до обеденного намаза не выходили на улицы, дабы горянки, которым нечем было прикрыть наготу, могли принести воду, выгнать скот в стадо... А тут еще на древних камнях саклей писали известью лозунги, зовущие в светлое будущее, обещавшие счастье для всех. И люди даже в той неописуемой нищете и убожестве взялись за алип — алфавит и пошли — и дети и старики — на зов куда-нибудь в полуразваленную, с давно потухшим очагом саклю или в старую мечеть, где зияют выбитые окна, а крыша протекает, как решето, садились на глиняный пол и на черной бумаге обломком мела выводили странные закорючки. И тот, у кого получалось похоже на букву, восхищался, словно открыл для себя мир. А если кто научился из букв складывать свое имя — о нем начинали говорить так, будто он совершил подвиг, и к его сакле стекались люди расспросить, как это ему удалось... Вместо классных досок в таких школах нередко пользовались медными подносами, повешенными на стену, а учительствовали люди, которые сами с трудом, утирая пот со лба, складывали слова из букв.

Нет, не мог я не считать тогда большевиков фантазерами, чудаками, обманывающими народ для каких-то неведомых целей.

А народ слушал их, как слушают горцы чудесную сказку, где бедняцкий сын совершает чудеса, побеждает богатырей и добивается руки прекрасной дочери какого-нибудь талхана — царя. Хотя и знал, что теперь не осталось ни царей, ни ханов, ни князей, ни беков и, значит, даже эта исконная мечта-сказка стала неосуществимой...

Удивило меня и другое: как в этих немыслимых условиях горцы не теряли ни совести, ни мужества, не забывали о чести! Несмотря на самую жалкую бедность, горцы хранили, как святыню, радушие и гостеприимство, делились всем, что было: и чурек последний пополам, и горсть муки, и горе, и радости, такие редкие, что улыбающихся лиц не видно, даже дети и те грустны и задумчивы; из цветов, что весной усыпают альпийские луга, они знали только съедобные. Взрослые наивностью напоми-

нали детей, а дети походили на взрослых озабоченностью... Правду сказать, от такой жизни можно было прийти в ужас, обезуметь, биться головой о камни. Но, к моему удивлению, в жителях аула еще теплилась надежда, люди не теряли веры в лучшее будущее. Впрочем, многие ничего не смыслили ни в революции, ни в новой власти, говорили, махнув рукой:

— А что нам до новой власти? Был царь, его скинули; будет теперь новый царь... Испокон веку так...

— Нет! Больше не будет царя! — возражал выехавший некогда на заработки в город и там присоединившийся к восставшим рабочим и прозванный за это в ауле Итин-Али — Красный Али; кстати, он безвозмездно обучал желающих грамоте,— как умел, конечно.

— Так не бывает! Какая же страна без царя?

— Но говорю же: нет царя!

— А кто правит?

— Народ.

— Как это «народ»?! Все вместе, что ли?

— Народ выбирает людей и доверяет им править. Вы же избрали меня в ауле сельсоветом...

— А если так, почему меня не спросили? Разве я не народ? — оскорбился какой-то старик и просунул руку под шубу, почесал бок.

Итин-Али растерялся, обещал непременно выяснить, народ или не народ этот старик, и поспешно заговорил о другом:

— Скоро наступят хорошие времена, дайте справиться с трудностями, люди добрые!

— Сперва надо справиться с голодом,— упрямо возразил старик.

— Мне поручили сказать вам, что надо засеять поля...

— Будто сами не знаем! А чем засевать? Вшами, что ли?

— Обещали помочь, но много не могут. Надо собрать свое зерно.

— А детей голодом морить?

— Поймите, люди добрые: чем больше посеете, тем больше будет зерна. Вам же лучше! А теперь весна, много съедобных трав: крапива, щавель, подорожник, мята, заячья капуста, лесной лук, скоро будут земляные яблоки, разные ягоды...

«Сельсовет» Итин-Али почти умолял жителей аула; да и какой он был, в сущности, «сельсовет» — ни двора, ни конторы, ни печати в кармане...

— От зелени, дорогой, мы уже позеленели; чего доброго, осенью пожелтеем и опадем, как листья.

— Землю надо вспахать!

— Для чего?

— Посеять зерно, вырастить урожай.

— Ты, дорогой, дай зерно, а мы знаем, что с ним делать. Дай, покажи, что пришла новая власть!

— Обещали, а пока нет у меня... Но у вас же есть хоть немного.

— У кого?!

— Я видел, вчера твоя жена молола на ручных жерновах...

— А знаешь, сколько аллах дал мне детей?

— Не знаю.

— Шесть птенцов ждут с раскрытыми клювами, есть просят!

— И все-таки прошу: не оставляйте землю пустой! Она теперь ваша, будьте ж хозяевами: земля отблагодарит сторицей... Вот спросите Мутая, я же правду говорю, земля ваша,— так обратилась ко мне за помощью советская власть в ауле Чихруги.

— Наша, говоришь? А как поспеет зерно, потребуют одну мерку на выкуп земли, другую мерку для мечети, третью мерку — тебе, а что мне останется?

— Да не надо мне ничего! И на выкуп земли не надо платить, и мечети не надо платить дань. Скажи же им, Мутай, убеди!

Не раз я слышал такие разговоры на сельских сходках, где от людей пахло протухшим курдюком и прелой овчиной.

Не знаю, удалось ли в ту весну засеять поля в Чихруги; я не мог больше выдержать и, пообещав дяде Шапи скоро вернуться, с радостью убрался оттуда...

После скитался из аула в аул высоко в горах, не решаясь спуститься в предгорья, но нигде не нашел пристанища: и там жизнь была не лучше.

Так вот однажды я появился в ваших горах, почтенные мугринцы, и в местности Апраку, когда сгустились сумерки, пошел на видневшийся возле леса огонек: горел

одинокий костер доброго человека; недобрые, я знал по опыту, разжигают костры в местах затаенных, в чаще леса, а не на опушке.

Хриплым лаем встретили меня два волкодава из тех, что охраняют отару. Их остановил хозяйский окрик:

— Чего вскинулись, волчья сыть? Человека не видели? А ну, на место! А ты смелее иди! Собаки чуют трусость и не прощают даже человеку.

— Ассаламу-алейкум! — сказал я, подходя. Он не ответил, а показал рукой место у костра. Я сел, и в нос ударил аппетитный запах жареной горской колбасы: на вертеле над огнем исходили жиром и паром большие ее куски. Поодаль виднелся приземистый шалаш из зеленых веток и сена, а дальше — загон для овец с плетенной из молодого орешника изгородью; там лежали, тесно прижавшись друг к другу, овцы. Баранта была невелика и, видимо, принадлежала этому угрюмому человеку с жилистой шеей, худым, обросшим щетиной лицом, в надвинутой на глаза лохматой папахе. А черная бурка стояла невдалеке, похожая в сумерках на обезглавленного человека.

Хозяин неторопливо повернул вертел и сел, скрестив ноги, на которых, как ни странно, были не чарыки из сыромятной кожи, а хромовые сапоги на толстой подошве.

— Ну, что скажешь? — спросил он металлическим голосом, в котором звучали самодовольство и наглость.

— Скажу, что вкусно пахнет колбаса! — ответил я тоже нагло.

— Думаешь попробовать?

— Почему бы и не попробовать, раз я голоден.

— Считаешь, что я должен кормить всех голодных?

— Советская власть говорит: делите добро поровну! — улыбнулся я.

— Что ты смыслишь в этой власти?! Это я завоевал ее своим кинжалом! — вознегодовал угрюмый.

— И эту баранту тоже?

— Да — и эту баранту, и этот лес, и это пастбище достались мне.

— А многим достались такие лакомые куски?

— Что мне до многих? Я воевал, а за что? Прежде не было у меня даже своего угла, а теперь есть, и никто не смеет упрекнуть — заслужил честно! Слава аллаху,

семья небольшая: жена и дочь. Из этих двухсот овец выращу большую отару. Дай срок!

— А чабан тебе не нужен? — вдруг спросил я.

— Еще как нужен! Но где его взять?! Ведь нанимать запрещено. Впрочем, я двоих нанял, но они заняты другим...

— Возьмешь меня чабаном?

— Шутишь?

— Нет, просто ищу хозяина, у которого мог бы работать за кусок хлеба...

— Что хлеб! Обещаю хлеб с сыром и в неделю раз добрый хинкал со свежим мясом! — Наглого тона как не бывало.— Только работай!

— Овцы будут целы и сыты, это обещаю. Договорились?

— Хорошо. А ты мне сразу понравился,— он впервые улыбнулся.— Люблю в человеке самоуверенность. Меня зовут Казанби из аула Мугри.

— А я Мутай из Чихруги.

Так я, Эльдар сын князя Уцуми из Кара-Кайтага, стал батраком у бывшего батрака. От советской власти Казанби ухватил добрый кусок, и у него проснулось желание накопить, умножить, нажить еще. Бывший красный повстанец, он храбро сражался, даже награжден за сражение в ущелье Ая, где был сломлен хребет белоказакам. Его уважали в ауле и даже прощали непонимание целей новой власти. Он сделал свое дело, помог установить новую власть и теперь как бы требовал: оставьте меня в покое, дальше обойдусь сам, покажу, что богатство идет к богатству. Ему теперь было не до других людей, не до общественных дел, он сделался вдруг индивидуалистом, единоличником, кулаком, что гнездились подобно омеле на яблонях-дичках.

Вы-то не помните, но Мугри пострадал от войны и белых карателей не меньше, чем Губден. И не случайно здесь родилась песня о матери, которая ждет своего единственного сына... Вот едут издалека всадники на черкесских конях. «Поведайте матери, где бывали, где сражались и почему нет среди вас моего сына? Солнца луч на рассвете заглянет в окно: выхожу, думая, что он возвращается; дверь от ветра заскрипит: спешу к воро-

там, думаю, что сокол мой стучится...» И отвечают всадники: «В краях дальних сражались, копытами коней землю пахали, кровью своей поливали, саблями острыми рубили врага, чтоб солнца луч тепло сиял на земле, чтоб ветер на свободе стучался к людям... И немало братьев оставили на полях сражений, и сын твой, храбрый как лев, могучим дубом свалился в неравном бою, и мы похоронили его в наших сердцах...» Да, чудесная песня, славная песня, до сих пор не могу слушать без дрожи в сердце и обиды, что не обо мне поется в ней...

Тебя, Сурхай, молодой мой друг, тогда и в помине не было, а вам, почтенные, наверное, исполнилось лет девять-десять. Еще босиком шлепали по лужам, рукавом утирали носы, чесали, засунув руки под папахи, вшивые головы, хныкая, провожали матерей, идущих за водой, Летом на вас были одни штанишки, залатанные так, что нельзя понять, из какой материи сшиты. Зимой — сыромятная обувь — качалайти, овчинная шуба, подпоясанная веревкой, и неразлучная папаха. И тогда-то вам вручили бумагу и карандаш, сказали: пора стать грамотными! Наверное, не помните, что бумага была черная, а карандаши белые, меловые и писали, как на классной доске, а потом стирали...

Странно было мне, что советская власть, как добрый кунак, стучалась в каждую саклю, входила и спрашивала: «Ну, как поживаете? Трудно? Да, трудно, знаем, а вы не унывайте: завтра станет легче, гораздо легче. Камень положите на камень — выйдет стена, четыре стены — дом, школа, больница, баня, изба-читальня. Все в ваших руках».

И люди слушали, люди понимали, что надо строить не только сакли для себя... В ауле Мугри построили школу, больницу, баню, магазин: сами добывали камень, сами клали стены — без корысти, без вознаграждения. Не буду врать: меня это радовало, но больно было сознавать, что прежде боролся против всего этого, хотя, по-своему, тоже желал добра горцам. На моих глазах осуществлялось то, чему я не верил, что считал бредом, обманом ради захвата власти... Прекрасной лживой сказкой ради агитации.

А моментами вскипала вдруг жгучая ненависть ко всему, бессильная ярость, обида, что ошибся, что я —

человек, потерявший все на свете — и мечты, и надежды, и отца, и мать, и все имущество, и даже имя,— не мог разобраться, быть дальновидным, как эти простые, неграмотные, невежественные горцы, что поняли смысл революции раньше, чем научились грамоте. И в душе в такие минуты, становясь на молитву, я просил аллаха, чтоб он покарал виновных в моей беде, в моей неудаче, в моем падении; где-то в глубине сердца еще таилась надежда, что пробьет и мой час: сброшу позорную маску и стану вновь законным наследником князя Уцуми, владетеля Кара-Кайтага. Клянусь, я мечтал, что буду делать для горцев все, как делает советская власть, только бы это исходило от меня. Во мне кипели гордость, радость, зависть и зло одновременно; становилось жутко при мысли, что обманут не людьми, а самим собой... Я гнал такие мысли, но они были навязчивы, словно оводы на лугу, где я пас овец новоявленного хозяина. То были овцы местной курдючной породы, которая, к сожалению, исчезает сейчас в горах: все гонятся за тонкорунностью! Казанби получил их при разделе отар крупного уркарахского овцевода Ибрахима, который бежал в Стамбул и там, говорят, ему улыбнулась судьба: из тысячи одному выпадает такое счастье на чужбине, если благополучие вдали от родины можно считать счастьем. Не та страна дорога, где наелся досыта, а та, где родился... Ибрахим вырастил, поставил, как говорится, на ноги, сделал турками, вопреки голосу крови, двух сыновей... Думаю, что и до вас доходили хабары о «сладкой жизни» на чужбине от тех, кто, измаявшись, предпочел склонить повинную голову перед саклей, перед аулом, перед горами родины, перед людьми, чем влачить жизнь бездомных и презираемых бродяг, гонимых ветром невзгод. Горцы говорят: лучше умерший на родине пес, чем лев, подохший на чужбине...

Не повезло в Турции и моему отцу: наобещавший золотые горы Азиз-бей просто обобрал его, за маясу (все наличное, что есть у человека с собой) моего отца построил в Эрзеруме небольшое предприятие, стал там полным хозяином, а князя выжил. И бывший князь Кара-Кайтага Уцуми нашел безвременный конец в печальных песках Аравии, когда брел с паломниками поклониться черному камню Каабы.

А у «Ибрахима-удачника» один сын стал летчиком,

а другой цирковым борцом, женились на нежных, покорных турчанках, и в их детях осталась только половина даргинской крови. Отуречились.

Должен прямо сказать: рад, что умираю на родной земле, что над могильным холмиком будет звучать родная речь, будут играть ребятишки односельчан, а вокруг останутся прекрасные горы из Страны моего детства... О, я знаю, что отдали б многие мои соотечественники за рубежом ради счастья умереть на родине!

В обществе овец у меня было вдоволь времени для размышлений. Хозяин не перегонял овец на зимние пастбища в прикаспийские степи, а запасал корма и держал в той же местности Апраку. Я жил в так называемом зеленом чатире — шалаше наедине с природой, перед которой всегда чувствуешь свое ничтожество. Изредка навещал Казанби, когда собирался гнать несколько овец на базар; чаще приезжал батрак, который очень хвалил хозяина, говорил, что обязан ему жизнью; Казанби спас от голодной смерти: одел, обул и еду дает! За это человек готов был кланяться в ноги! Иногда жена хозяина привозила муку, мясо, сыр и другие продукты по уговору. Нередко на огонек заглядывали путники, и в беседе у костра я узнавал, что делается на свете. О Казанби они говорили как о крепком, богатом хозяйчике; он единственный отказался посещать ликбез, сказал: «Зачем мне грамота, я и так умею сосчитать овец и деньги и торговать могу лучше другого». Да, на глазах преображался этот человек. Невежественный, он теперь стал заносчивым, подчеркивал свое превосходство, словом, как говорится, «смеялся козел, когда у барана курдюк поднялся»...

— Будешь исправно работать, помогу тебе построить саклю и женю на мугринской красавице! — говорил Казанби.— А станешь за моей спиной разбазаривать овец, отдам под суд, сгною в тюрьме. Советская власть — это моя власть!

— Этак и я скажу, что советская власть — моя власть!

— Да ты кто такой?

— Человек.

— Ты батрак, ты мой работник!

— Так ведь и ты был батраком.

— Да, был. И хозяин обращался со мной, как со скотом, досыта не кормил никогда...

— Могу уйти от тебя.

— Уйдешь, другого найду. Ишь ты, напугал! — усмехался Казанби, хлопая плетью по голенищу; он приобрел доброго коня с хорошим седлом, с уздечкой, украшенной серебряными бляхами, да и плеть была с ручкой из слоновой кости. Каждый раз он являлся в обновке — то новая черкеска, то папаха серого каракуля, то серебряные карманные часы с цепочкой, то кисет, вышитый кораллами. Но всякий раз, когда я раздражался, он начинал говорить мягче:

— Ну, чего обижаешься? Я тебя одел?

— Одел.

— Я тебя обул?

— Обул.

— Я тебя кормлю?

— Да.

— И что тебе еще надо? Я знаю, собака хорошо служит, если она сыта. Вот я и стараюсь, чтоб не мерзли, не голодали...

— Разве я плохо работаю?

— Я этого не говорю: баранта у меня увеличивается... Хочу еще подпаска нанять, чтоб ты не скучал. Как думаешь?

— Неплохо бы,— я обрадовался: одному и впрямь становилось трудно.

Однако вместо подпаска прислал того самого батрака, что прежде восхвалял хозяина. Но его подстерегла беда, когда вез в город продавать хозяйское зерно: на трисанчинском склоне арба с зерном и быками сорвалась в пропасть. Казанби нещадно избил несчастного Чанку и сослал ко мне в подпаски. До этого веселый, Чанка стал угрюмым, неразговорчивым...

В обществе веселых овец и мрачного Чанки весна сменилась летом, осень зимой, а у меня все не было ни своего угла, ни подруги, ни даже друга — разговоры с Чанкой не получались, ответит «да» или «нет» и снова молчит, будто камень-валун. И все же я трижды слыхал, как бормотал Чанка: «Ну, ничего! Еще не родился храбрец, который меня стреножит...»

Лишь однажды он разговорился.

— Скажи, Мутай, разве это справедливо?! — неожиданно спросил он.— Вот говорят: пришла справедливая власть... А чем я хуже Казанби?

— Ничем.

— Власть дала мне такие же права, как ему. Правда?

— Правда.

— Так разве он имеет право бить меня?!

— Не имеет права. Пусть только попробует замахнуться на меня!

— Слушай, давай вдвоем сделаем ему революцию!

Я от души рассмеялся; поймите меня, это было не так наивно, как вымучено долгими размышлениями обо всем, что творилось в его убогой жизни; многое он не мог объяснить и обозначил емким словом «революция»!

— Тебе смешно...— он усмехнулся; так ученик говорит с мудрым, всеведущим учителем.

— Нет, нет! — поспешил я успокоить.— Просто вспомнился случай.

Не хотелось обижать Чанку; к тому ж видел, что всякого обидчика он считал кровным врагом.

— Ладно, я ему еще припомню! Пусть этот разговор умрет меж нами...— И снова умолк, больше ни о чем не спрашивал, а все мои попытки рассеять его недовольство остались тщетны.

2

Дорога, что пробегала невдалеке, вдруг сделалась оживленной: теперь она связывала верхне-сирагинские аулы с новым районным центром. К тому же прохожие и проезжие считали долгом испить воды из родника Мурмуч, которая издревле считалась целебной. Кажется, я уже говорил, что Апраку — место живописное, богатое пастбищами, лесами, родниками, а в глубине ущелья шумит река, и в ней водится форель. Однажды Чанка самодельной сетью наловил нежных, вкусных рыб с красными крапинками на спинах...

Порой начинало казаться, что я уже свыкся со своим положением. Что мне еще нужно? Вроде бы ничего... Человек может ограничиться и таким существованием. Вряд ли следует ждать существенных перемен...

Хозяйская дочь повзрослела, исполнилось ей шестнадцать лет. Я видел ее несколько раз мельком в сакле, когда бывал у Казанби дома, и не обращал на девушку внимания... Как-то летом она приехала к нам с Чанкой, привезла в хурджинах продукты: мать приболела, и девушке пришлось сесть на коня... Не скажу, что была она писаной красавицей, как в книгах и сказках, не скажу, что была хотя б такой хорошенькой, как моя сестра и Амина. Или та девушка, которую встретил у родника, спускаясь в Талгинскую долину. Но молодость искупала в ней все — толстые губы, к которым не прикасались мужские усы, и пышущие здоровьем румяные щеки, и непонятного цвета глаза, очень подвижные, исполненные любопытства, взгляд которых говорил о желании раскрыть для себя великую тайну жизни на земле; страстно дышала уже пышная грудь. На нежный лоб ровным рядом ниспадала челка, волосы были зачесаны назад и заплетены в тугие косы. Во всем облике было столько вечно женского, таинственного, столько волнений и тревог, столько жизни! И, глядя на это существо, невольно ощущал волнение и трепет. Глядел и каждый миг открывал новое и удивительное. Легкое цветастое платье от теплого ветерка прилегало к стройному, чуть полненькому телу... Белая шея, пышная грудь, как и у всех горянок не знавшая тогда лифчика, украшены бусами и монистами из серебряных монет. Из-под цветастого платья видны голубые шальвары мусульманки, окаймленные вышивкой из золотых нитей, выполненной самой девицей. Простой наряд завершали легкие губденские мачайти — туфельки. Да, она показалась мне тогда необыкновенно милой. Не знаю, то ли притупилась во мне восприимчивость к тонкой женской красоте, то ли огрубела душа, то ли простая красота стала заметнее среди прелестной природы, то ли, утомленный одиночеством, возжаждал я любить и быть любимым, но до сих пор помню — вызвала она волнение и радость... Но как ее полюбить, если месяца два назад слышал, что родители подыскивают достойного жениха, а на их языке это означало — состоятельного.

К тому же перед ее свежестью я выглядел стариком.

— Скажите, дядя, это вы пасете наших овец? — спросила она, стыдливо полузакрыв лицо легким платком.

— Чьих это «наших», красавица?! — я притворился удивленным.

— Мой отец — Казанби...— Она потупилась от моего назойливого взгляда.

— Если уважаемый Казанби твой отец, девушка, то я и вправду его пастух,— ласково ответил я.— Но никогда не думал, что в наших горах рождаются такие царевны!

— Отец прислал в хурджинах мясо для хинкала и муку. Но мука была только кукурузная. Отец просил не обижаться. В следующий раз будет пшеничная...

— Из твоих рук, девушка, готов принять камень и даже испечь из него чурек.

— Снимите, пожалуйста, хурджин.— Казалось, она не слышала моих слов, но брови так удивительно двигались, что понял: мои речи пролились благодатным дождем.— Там есть еще какая-то бутылка,— она исподлобья взглянула.— Лекарство, что ли...

— Бутылка? Для одинокого человека такое лекарство необходимо. Спасибо, красавица! Но отныне лучшим лекарством в моей безутешной жизни станут твои появления...

— Мне пора уезжать!

— Буду ждать. А как твое имя?

— Зачем это? Больше не приеду.— Она легко взобралась на лошадь и ускакала. Глядя вслед, провел рукой по щетинистой бороде и подумал, что, к великому сожалению, жизнь все ускользает от меня, а годы идут...

Видимо, долгое и грустное одиночество сделало меня таким впечатлительным. Погода стояла пригожая, солнечная; мне казалось, что даже это лучистое, теплое солнце привезла в хурджине она, девушка, дочь Казанби. Неведомое дотоле чувство переполняло меня, дыхание сделалось свободнее, все вокруг преобразилось и зацвело, далеко стало видно очертания гор в голубом небе, и даже рука невольно потянулась к цветам. Такого еще не испытывал. Неужели она больше не приедет?! Я тревожился, как мальчишка, хотя мне тогда уже перевалило за тридцать. Поздно пришло это чувство! Может быть, оттого было таким острым и беспокойным. Пугало, что она исполнит сказанное на прощание и не приедет больше на пастбище...

К великой своей радости, я понял, что в женщине са-

мое привлекательное — непостоянство и небрежное отношение к своим словам. Сказала решительно, что больше на пастбище не появится, но позабыла и через две недели вновь предстала перед моим чатиром — шалашом... Чанка пас баранту где-то далеко... Надо ли говорить, что я был побрит, опрятно одет: стал следить за своей внешностью.

Вот стоит она передо мной, долгожданная, чудесное видение, я даже оробел, сам не свой, зачарован, как мальчишка. Под моим взглядом она отвела глаза, смутилась, зарделась, а глаза засветились снисходительной и ласковой улыбкой. Казалось, на этот раз девушка была еще краше. Полные губы, словно бы в утренней росе, влажны; в глазах, сегодня необыкновенно ясных, вспыхивает и пропадает непонятный огонь. Она проговорила что-то, перебирая пальцами косу.

— Ты же сказала, что больше не приедешь?! — прервал я, не слушая, безотчетно, будто желая ее уколоть.

— Не думаешь ли, дядя, что приехала тебя повидать? — ответила она с обидой и побледнела.

— А зачем же?

— Вот привезла, что прислали. Мать еще больна. Дома столько дел: у отца все время гостят кунаки. Мне надо спешить. Снимите хурджины: они тяжелые...

— Скажи все-таки, как тебя звать?

Честно говоря, я уже знал имя: Чанка сказал. Ее звали Зулейха — чудесное имя! Так звали и мою покойную мать. На русский лад Зулейха звучит, как Золушка...

— Мне не велено ни с кем разговаривать! — с напускной надменностью молвила она.

— А кто не велел?

— Отец.

— Да, отец у тебя строгий... Ты права, красавица, разве можно тебе снизойти и добрым словом согреть душу бездомного батрака...— говорил, а сам думал: «Эх, знала б ты, краснощекая мугринка, кто на самом деле стоит перед тобой!» Но тут же перебила иная мысль: «Тогда ты не увидел бы ее совсем. Благодари аллаха, что ты — простой батрак...»

— А что же я могу сделать?!

Видно, ее все же смягчили мои слова.

— Ты? Ты можешь все! Ты уже перевернула для меня весь мир: в твоих глазах я вижу мир сказочно прекрасным, заветным.

— Ну, я поехала. Спешу, надо еще и в школу успеть...— Девушка отвела глаза, и щеки ее вновь вспыхнули.

— Как, ты учишься?!

— Все учатся. И я хочу научиться писать.

— Зачем?

— Вы, конечно, не знаете, но это так интересно! Понимаете: можно, оказывается, написать на бумаге, о чем думаешь, и твои мысли прочитает другой,— сказала она с увлечением и повернулась к коню.

— Погоди, прекрасная мугринка! Ты — как солнышко, дающее свет и тепло, ты — как видение, сладостное и зовущее, ты — чистое небесное создание... Не покидай так быстро мое убогое пристанище. Дай полюбоваться тобой!

— Никогда не слышала такого! И не думала, что пастух может говорить так красиво... Но все равно: не верю этим словам. Мне они непонятны...

— Я, девушка, так одинок и несчастен, что аллах смилостивился и послал тебя, чтоб утешить мою израненную душу. Не надо, не спеши!

— Удивляюсь! К чему все это? Не пойму...— смеясь, сказала она и, возбужденно сверкнув глазами, вскочила на лошадь.— Приятно слышать все это, но напрасно...

— Почему? Ты любишь кого-нибудь?

— У нас гости...

— Кто приехал?

— Из Москвы один человек приехал: там учится на военного командира...

И она ускакала.

А меня вдруг охватило негодование. О, если б все это слышал кто из прежних друзей, офицеров Дагестанского конного полка! Вот подняли бы на смех! Ко мне подошел Чанка: оказывается, вернулся и кое-что слышал.

— А ты, выходит, можешь здорово говорить! Только чего-то в твоих словах не хватало... Для наших девиц такие речи в диковинку...

— А как же надо?

— Просто надо, без разговоров. Одним взглядом надо говорить,— объяснил Чанка и добавил:— А она не в отца, добрая.

— Что-то не заметил!

— Только ничего у тебя не выйдет, хоть и заманчиво...

— Почему?

— Разве Казанби отдаст дочь за пастуха?

— А разве пастух не человек?! — вдруг вырвалось у меня; впервые я всем сердцем понял бедняков, совершивших революцию, и сейчас с воодушевлением присоединился бы к ним. Позабыл обо всем: и кем был, что совершил, за что боролся и за что пал, забыл о былых тщетных надеждах, забыл, что я враг этой власти, избежавший кары и живущий под чужим именем. Единственной целью моей жизни вдруг сделалась смуглянка с медовыми глазами,— да, да, я обнаружил их цвет!

Кончалось лето, но еще не было той прощальной грозы, по которой горцы определяют наступление осени, только на вершинах деревьев стали появляться желтые листья, как ранняя седина на мужских висках. Я зарезал барана, который вправду побывал в волчьих зубах, но Чанка его отбил,— и теперь, засучив рукава, снимал шкуру под дикой грушей, когда издали заметил приближающуюся всадницу. Она подъехала и, не сходя с коня, дружелюбно-игриво сказала:

— Может быть, дядя, опять спросишь, зачем приехала?!

И брови ее озорно взметнулись.

— Нет, нет, Зулейха! Очень рад, что приехала... Ты так мила, когда улыбаешься.

— Отец велел, чтоб сегодня к вечеру пригнали домой двенадцать баранов на убой...

— Зачем столько, красавица? Что, будет пир на весь мир?

— Да... Не смейте так смотреть на меня!

— Для чего же я родился зрячим, если нельзя даже глядеть на светлую луну, что взошла в моей темной ночи? Тогда лучше быть слепым! Если хочешь, сам себе выколю глаза...

— А как же будешь пасти овец? Волки всю баранту растащат,— рассмеялась Зулейха, и я почувствовал:

сегодня она рада и возбуждена, словно козленок, у которого только что пробились рожки.

Где-то в глубине души я ощущал, что она задевает мое самолюбие да излишне дразнит любопытство. И все-таки говорил ласково и смиренно:

— Краса небесная, зачем так жестоко ранишь мое сердце? Скажи хоть доброе слово, я так соскучился по людской ласке...

— Нельзя разговаривать с чужим мужчиной. А я нарушила запрет...— и она смущенно опустила голову.

— Почему же нельзя?!

— Я помолвлена.

— Что?!

— Да. И на днях придут сваты...

— Что?! Да лучше б меня громом поразило! — Я подбежал, схватил коня за узду.— Неужели правда?

— Правда.

— Кто же он, решивший отнять мою радость, единственную радость в жизни?

— Что ты говоришь? Я не должна слушать таких слов... Одумайся. Не надо. Отпусти уздечку, дядя!

— Скажи, кто он?

— И это тебя успокоит?

— Я хочу знать, кто он!

— Ты его не знаешь. Он вернулся из Москвы, с военных курсов. Командир.

В бессильной злобе я отпустил узду, отошел к бараньей туше, которую свежевал, повесив на сучок. В ярости всадил в тушу кинжал по самую рукоять...

Признаться, я думал, что Зулейха уехала, но оглянулся и увидал, что она неподвижно сидит на лошади и наблюдает.

— Ты видела его? — спросил я.

— Да, он бывал у нас.

— Красивый? — невольно вырвалось у меня.

— А зачем ты спрашиваешь?

— Так просто... Конечно, он молод, в военном мундире, стройный... Вероятно, начитан и вежлив.

— Да. Он много знает. И рассказывает...

— Ты говорила с ним?

— Нет. Он со мной не говорил. Только когда встречает, уступает дорогу, приветствует, называет по имени...

— Проклятье!

— А ты будешь на свадьбе?

— Что?! — на мгновение я потерялся.— Не будет этой свадьбы! Не будет! Не будет! Я люблю тебя!

Она удивилась, насторожилась и, не говоря больше ни слова, повернула коня и ускакала.

Мысли, одна нелепее и страшнее другой, лезли в голову. Что делать? Похитить? Новая власть карает за похищения и отнимает похищенную... Пойти объясниться с Казанби? Нет. Кто я для него? И когда вечером Чанка пригнал баранту, рука моя потянулась к нагану, который хранил на всякий случай. Вынул патроны из барабана, почистил наган, вложил новые патроны и, проверяя, дважды выстрелил в сторону леса. Эхо выстрелов долго и глухо катилось в горах.

— Недобрые, вижу, у тебя мысли, раз взялся за оружие! — заметил Чанка.

— Оружие, друг мой, не всегда совершает зло. Иногда может помочь и доброму...

— Дай мне револьвер! — он вдруг протянул руку.

— Зачем?!

— Сделаю и я доброе дело.

— Какое?

— Убью Казанби!

Видно, желание отомстить ныло в нем, как больной зуб.

— Лучше отбери двенадцать отменных баранов и гони их к дому Казанби.

— Для чего?!

— Хозяин приказал. Хочет зарезать...

— Пусть будут зарезаны ему на поминки! — в сердцах молвил Чанка, но послушно пошел исполнять веление хозяина.

Пламенный шар солнца золотой короной осенил, опускаясь, вершину горы со странным названием Табу-Табу, когда Чанка погнал в Мугри баранов с козлом-предводителем. Подул прохладный ветер из ущелья Совы. Я сумерничал в унылом размышлении, лежа на бурке, без конца пытался решить: как расстроить свадьбу Зулейхи? Внезапно подъехал всадник на разгоряченном коне. Я поднялся: передо мной снова была Зулейха. Казалось, явилась на зов моего сердца!

— Почему не пригнаны бараны, как велел отец? — стараясь казаться суровой, спросила она.— Отец ждет.

— Чанка уже погнал,— я подошел к всаднице.

— Почему же не встретила?

— Потому что, красавица, у коня одна дорога, а у барана другая... Не сойдешь ли с коня, добрая? Могу угостить хинкалом...

— Нет. Надо возвращаться...

Внезапно подумалось: вот она перед тобой, сама пришла... Чего ты ждешь?

Если не сейчас, то никогда не поймаешь куропаточку, никогда! Будь смелым! Такова жизнь: не мешкай, а то упустишь! Отчаянно заколотилось сердце. Схватил коня за узду, другой рукой держал стремя. И девушка словно поняла мое настроение; видно, правду говорят, что женское чутье опережает мужские мысли! Попыталась освободиться, я не отпускал, стал уговаривать. Зулейха насторожилась, отказалась сойти с коня. Тогда я схватил и стащил ее с седла. Она закричала:

— Не надо! Не подходи!

Но я уже ничего не слышал, нес на руках в шалаш, бьющуюся, как вынутая из воды рыба. Впервые в жизни я чувствовал в руках девичье нежное, трепетное тело и без памяти целовал, говорил, вернее, шептал:

— Люблю тебя! Люблю! Ты моя, ты не будешь принадлежать другому. Ты будешь моей, только моей, добрая, хорошая, славная девочка моя!

— Нет, нет! Отпусти! Мне страшно...

Теперь она не кричала, говорила тихо; в грубых мужских руках делалась мягче воска: ведь ее раньше не касались мужские руки! Я чувствовал, что сопротивление девушки угасает, что пробуждается в ней желание.

— Ты моя, моя и только моя! И ты будешь моей женой!

В беспамятстве я осыпал поцелуями лицо, губы, шею, разорвал платье и покрыл поцелуями груди. И девушка перестала отбиваться, притихла и только шептала еле слышно:

— Ой, что же будет? Что же будет? Мне больше не жить... Как же это так? Ой, отец убьет меня!

— Я женюсь на тебе. Женюсь!

— Разве не знаешь отца? Он не снесет такого позора...

— Люблю тебя! Нас защитит новая власть!

Я, смертный враг новой власти, готов был просить у нее защиты во имя любви! Даже тогда, помню, стало стыдно за эти слова, хотя слышала их только Зулейха.

И смуглая мугринка покорилась ласке, обвила мою шею руками и зашептала слова, которые повергли меня в удивление и еще раз доказали, как плохо понимаю движения человеческой души, как недогадлив, как поглощен самим собой. Она шептала: «А я почему-то тянулась к тебе, тянулась, и это отгоняло страх!» Так Зулейха призналась в любви. Вот высший, счастливый миг, за который не жалко отдать жизнь!.. И в сладостном томлении подумалось, что больше всего на земле нужно человеку любить и быть любимым, за это стоит бороться! И поймал себя на мысли, что все прежнее было суетой сует, а жизнь начинается только теперь... И незачем мне бороться с властью, да и много ли сможет сделать человек, если он одинок? Советская власть крепла, а не рушилась. А вот то, что эта девушка стала моей,— разве это не победа, хоть и малая?

И я почувствовал себя утешенным.

Увлеченный жгучими ласками молодой сладостной мугринки, я забыл, что существует мир и вне моего шалаша, что есть на земле другие люди, что где-то живет и действует отец девушки, который не простит нам с ней такого поступка, а законы гор тогда были безжалостны: опозоренную девицу сажали в арбу, которую влачил облезлый ишак, возили по аулу, забрасывали грязью и камнями, и обычно несчастная убивала себя или навсегда исчезала из родных мест. Я забыл в объятиях девушки, что существует зло и может в любой миг застать нас врасплох...

Между тем ее отец, Казанби, взбешенный, что пастухи не исполнили приказания, и встревоженный отсутствием дочери, сам поскакал в Апраку. Мог ли я в ту пору допустить мысль, что Чанка, жаждущий отомстить Казанби за побои, бесследно скрылся со всеми двенадцатью баранами и козлом-предводителем? И тем навлек грозу на меня...

3

Какая была ночь! На небывало ясной луне отчетливо виднелись те пятна и тени, что породили столько разных легенд: один народ увидел там кузнеца, кующего серп, другой — пастушонка, играющего на свирели... Было тепло и светло, как днем. Серебристый, будто искрящийся свет проникал и в шалаш, отчего Зулейха стыдливо прикрывала свою наготу, прячась от упоенного, любопытно-возбужденного моего взгляда, от моих поцелуев. И помню, с огорчением я подумал, что горцы Дагестана обычно умирают, ни разу не увидев обнаженной женщины, не созерцая этой дивной красоты, что тысячелетиями вдохновляла всех мастеров резца и кисти. И объяснялось все, мне думается, чрезмерной стыдливостью и целомудрием горцев...

Отрешенное от мира, сладостное состояние было нарушено бешеным топотом скачущего коня. Топот оборвался у самого шалаша. Кто-то грузно спрыгнул на землю, и раздался окрик Казанби:

— Эй, Мутай, выходи!

Зулейха задрожала, вскочила... О, как ей хотелось сделаться птицей и вылететь из шалаша или даже червяком, чтоб уползти во тьму и хаос листьев!

— Я здесь, Казанби! — сказал я и, положив за пазуху наган, осторожно выбрался из шалаша; к счастью, он еще не знал, что Зулейха здесь.— Что случилось, хозяин?!

— Я велел пригнать баранов, почему не пригнали?

— Чанка погнал еще на закате.

— Куда погнал?

— К тебе домой.

— Негодяи!

И тут стоявшая невдалеке оседланная лошадь Зулейхи заржала и вышла из густой тени деревьев. Казанби обернулся и на миг застыл, пораженный; его рука потянулась к поясу, но я опередил: подставил подножку, толкнул, он упал, я навалился, вытащил тапанчу — однозарядный пистолет, какие в ту пору мастерили харбукские кузнецы, вынул кинжал из ножен, сорвал с его руки плеть и отступил на три шага.

Казанби, объятый ужасом, повторял:

— Где моя дочь?!

От обиды, гнева, ненависти лицо его перекосилось и в лунном свете казалось страшным.

— Давай поговорим спокойно, Казанби.

— Где моя дочь?!

— Здесь.

— Что-о?!

— Осторожно! Клянусь, это кончится недобрым! — и я вынул наган.— Будь сдержан и выслушай. Если сделаешь движение — я за себя не ручаюсь. Я, Мутай из Чихруги, бывший бандит в Большом ореховом лесу, умею бить наповал.

— Что она здесь делает?!

— Об этом и хочу поговорить с тобой.

— Ты врешь, ее здесь нет.

— Она здесь, она невредима, Казанби. Я ее люблю, Казанби, и хочу на ней жениться.

— Что-о?! Видно, не зря сказано: посади нищего на круп своего коня, так он тебя выкинет из седла!

Только дуло нагана удерживало его от прыжка. С каким наслаждением схватил бы Казанби своими твердыми руками мою бедную шею и задушил бы с превеликим умением. Прежде я еще не видал такого страшного лица, таких ужасных глаз, сверкающих от бессильной ярости.

— А давно ли ты сам перестал быть нищим, чтоб так говорить? Я б не мешкая пристрелил тебя и выбросил в ущелье шакалам, но ты уже мой тесть...

— Нет! Лучше убей!

— Еще одно движение — и я не пожалею пули даже для тестя! Сдержи гнев, Казанби, и постарайся понять, что скажу... Слышал о таком решении большевиков — коллективизация, коммуна, артель, колхоз? Слышал?

— Да, слышал.

— А слышал, что коллективизации сопротивляются кулаки?.. Слово «кулак» ты слышал?

— Что ты хочешь сказать?

— Плохи твои дела, Казанби! И ты это знаешь не хуже меня. Не потому ли поспешил выдать дочь за со-

ветского командира? Хитро задумано! С таким зятем, пожалуй, отнеслись бы к тебе снисходительно. Да и зять постарался бы оградить семью... Правильно я думаю или нет?

— И все это ты разрушил, Мутай из Чихруги...

Казанби остыл: понял, что имеет дело не с простым пастухом, которому трудно дается истолкование чужих поступков, понимание чужих решений и замыслов.

Перед ним стоял человек, каким-то нюхом чувствующий обстановку.

— Поверь, я не хотел расстроить или оскорбить тебя, Казанби. Но я люблю твою дочь!

— А что ты можешь дать взамен всего, разрушенного тобой?

— Ничего. Но думаю, власть учтет, что ты бескорыстно выдал дочь за батрака.

Мои слова показались Казанби злой насмешкой.

— Велика честь! — процедил он сквозь зубы.

— Казанби, я жду твоего слова.

— Хочу видеть дочь, потаскуху, что оскорбила мою папаху.

— Только прошу ее не оскорблять!

— Где она?

И я окликнул Зулейху. Она вышла из шалаша, опустив полные слез глаза, понурившись, стараясь дрожащими руками прикрыть грудь, всхлипывая. Она пыталась что-то сказать отцу, но не смогла. Да и что было ей говорить?

— Какое бесстыдство! Какой позор! Будь проклята вместе с породившей тебя!

Казанби повернул к лошади.

— Стой, Казанби! — крикнул я. — Жду твоего слова.

— Нет у меня слов!

— Я требую! Знай, я не люблю шуток.

— Живите как хотите, но моего порога не переступите, пока я жив!

И Казанби уехал удрученный, полный неугасимой злобы против меня. И все-таки — я победил.

Весь остаток ночи Зулейха рыдала. Я не утешал, ибо знал: женщине надо выплакаться; когда высохнут наконец слезы, она успокоится.

Так и было.

Вы, конечно, уже догадались, почтенные мугринцы, о какой Зулейхе говорю: она встретила у ворот, приготовила хинкал, подала угощение... Не скажу, что наша жизнь всегда шла ладно и складно, но между собой мы всегда были в добром согласии, вместе сбрасывали толщу снега с плоской кровли, вместе слушали, как по крыше барабанит град, вместе встречали первые солнечные лучи на рассвете...

Были разлуки, были встречи...

Мать Зулейхи, потрясенная поступком дочери и доведенная до отчаяния злыми попреками мужа, облила себя керосином и подожгла; пытались спасти, но не сумели... Даже Казанби, говорят, расстроился, сжалился, спросил умирающую:

— Очень больно тебе?

И услышал горькие слова:

— Что эта боль перед той, какую ты причинял своими упреками!

Самосожжение — во все времена редкость и необыкновенное событие. Заинтересовались происшествием не только районные хакимы — начальники, но даже в столице Дагестана, а Казанби в ту пору как раз хотелось быть ниже травы, тише воды...

На похоронах побывали и мы с Зулейхой, но порог отцовского дома она не переступила, да и я тоже...

Беда постучалась в дом Казанби, а говорят, что у беды семь ударов... Первым была страшная смерть жены... Нет, нет: первым ударом было, так сказать, похищение дочери, вторым — смерть жены, а следующих не пришлось долго ждать; время настало беспокойное, суровое для пытавшихся разбогатеть, нажиться на чужом труде.

Холодные ветры срывали с веток последние осенние листья, ветры подметали улицы, собирая в укромные места мусор; ветры словно прибирали перед тем, как застелить землю зимним белым одеялом. Все мугринцы — мужчины и женщины — собрались по зову глашатая,— да, да, до прошлой войны людей по старинке сзывали глашатаи, тогда еще не было сельских радиостанций,— на сход, на широкую площадь перед новой двухэтажной, с широкими окнами, школой. Тогда эта

школа казалась сказочным дворцом, а ныне — старенькое, обветшавшее строеньице.

Человек из района объявил, что разговор будет о кулаках, и предложил жителям аула самим высказаться, назвать фамилии.

Наступило долгое, глухое молчание, тревожное. Никто не осмеливался заговорить: «Вдруг меня не поддержат, а кулак потом отомстит»... Наконец выступил вперед безрукий Билал, раненный в битве с белоказаками в ущелье Ая, первый коммунист в ауле Мугри. Как сейчас, вижу его лицо со смешными усами — две черточки под самым носом! Билал заговорил легко, свободно, горячо, что, мол, мы боролись против мироедов не для того, чтобы выросли они снова; что советская власть сметет каждого, кто преградит ей путь, кто будет теснить арбу к краю пропасти, распространять клевету, мешать движению вперед. И назвал три имени. Но среди них не было имени Казанби. А после — как плотину прорвало, стали говорить один за другим и уже прямо нападали на моего тестя, казалось, даже забыли о его заслугах перед советской властью; кричали, что Казанби держал батраков, их трудом создавал свое благополучие, довел жену до самосожжения. Один из ораторов вдруг обратил внимание толпы на меня, сказал, что здесь, мол, присутствует зять и батрак Казанби, который пасет баранту, как бывало прежде у крупных барановодов. Пришлось и мне просить слова. И когда выбирался из толпы на камень, куда, как на трибуну, поднимались ораторы, поймал взгляд Казанби: смотрел он не злобно, не с обидой, а вроде бы с надеждой. Но я не оправдал надежд.

— Уважаемые мугринцы! — сказал я.— Вы знаете, кто я такой. И мой дед, и мой отец в непосильном труде заработали только мозоли. И в старое время с отчаяния я сделался разбойником. Но теперь новая власть видит во мне человека, вернула мне веру в справедливость. Раньше, вы знаете, горцы говорили: хочешь сказать правду — держи ногу в стремени. Теперь иные времена, правду, даже самую горькую, надо говорить прямо. Не скрою, Казанби сейчас мой тесть, но из-за этого не могу лицемерить. И потому говорю: нет разницы между тем классом, который мы скинули в борьбе за свои пра-

ва, и этими людьми! И предлагаю конфисковать все их имущество в пользу организуемой у нас сельскохозяйственной артели, а их самих изгнать...— Договорить не успел: что-то прожгло плечо, а выстрела не услышал, потерял сознание.

Очнулся под утро. В большое трехрамное окно смотрело восходящее солнце. Я лежал в светлой больничной палате, впервые за многие годы в белой, чистой, обыкновенной постели. Правое плечо, что нестерпимо ныло, было тщательно перевязано марлевыми бинтами. Остальные койки в палате еще ждали больных. Признаться, с невольным уважением подумал, что даже у князя, моего отца, начальника большого округа, не было такой больницы...

Пытаясь припомнить, что случилось, предположил было, что стрелял в меня Казанби. И ошибся. Казанби не посмел выстрелить. Выстрелил другой, более ожесточенный кулак Азнаур. «Что было! Что было! — рассказывала нянька, первой зашедшая в палату.— Люди чуть не расправились с Азнауром самосудом, власти с трудом его отбили. Азнаура арестовали, а весь их скот пригнали в сельские загоны. Много шуму было, хакимы понаехали из района: говорят, один едет даже из столицы...»

Я думал, дочь Казанби, оскорбленная, что я обличал отца, больше не придет и не простит... Все же Зулейха пришла, села у изголовья, долго молчала и наконец спросила:

— Зачем ты это сделал?

— Что, моя желанная?

— Тебя же могли убить.

— Могли.

— А обо мне подумал?

— Да. Потому и сказал обо всем. А разве меня осуждают?

— Тебя нет, а меня осуждают.

— Не обращай внимания.

— Легко сказать: люби человека, который унижает твоего отца!

— Он говорил с тобой?

— Нет его в ауле, бросил все и уехал.

— Куда?

— Не знаю. А баранту из Апраку пригнали в артель и со двора выгнали весь скот, оставили только корову с теленком и одного коня.

— Нам хватит.

— А что будем делать?

— Я буду работать, ты — хозяйничать дома.

— Очень болит?

— Нет, пустяки. Пройдет, родная. Говорят, у достойного на теле должно быть семь рубцов от ран. Это как раз седьмой! — пошутил я, хотя боль жгла нестерпимо.

— Хочешь сказать, что у меня достойный муж?

— А как же!

— Мне говорят: «Сакля теперь ваша, живите!»

— Кто сказал?

— Наш сельсовет Амир-Чупан.

— Ну что ж: живи и жди меня, начнем новую жизнь. А что зла не хранишь — спасибо. И любить тебя буду еще сильнее...

И невольно подумал, что постепенно врастаю в шкуру Мутая из Чихруги даже перед любимой женой.

Моя речь на сходе, оказывается, имела успех, и мугринцы прониклись ко мне уважением. Меня посещали люди, хвалили хакимы, а я прикидывался скромным, отнекивался: мол, ничего особенного не совершил, любой другой мугринец сказал бы то же самое!

Неожиданно больницу посетил приехавший из столицы Дагестана человек. Когда он вошел в палату, я невольно приподнялся в крайнем волнении и глупо подумал: «Я же его убил! Разве может мертвый вернуться с того света?!» Да, у моей постели стоял Мирза: то же угловатое, будто неаккуратно обтесанное мастером лицо; живые глаза, в которых светится больше ума, чем настороженности и недоверия; стройный юный крепыш, легкий и ловкий, почти подросток. Я понял: это сын Мирзы Харбукского! И невольно возблагодарил аллаха, что не приехала его мать Амина, бывшая моя нареченная. От одной мысли об Амине словно покачнулась земля. От волнения и боль в плече будто притихла.

— Ну, как дела, пострадавший? — спросил он, пожимая мне руку.

— Идут на поправку, — настороженно отозвался я,

ожидая, что вот-вот скажет то имя, которое я сам начал забывать.

— Поправляйтесь! Нам нужны твердые, верные люди! Да, я забыл, как вас звать? — вдруг спросил он.

Почувствовал, что кровь бросилась в лицо: «Вот оно, настало!»...

— Вы из Чихруги, кажется?

— Да, Мутай из Чихруги...

— Мутай, Мутай... Да, редкое имя! Кажется, где-то уже слышал это имя... Будьте здоровы! Надеюсь, пуля не отбила интереса к общественным делам? Поактивнее надо, поактивнее. Прощайте!

— Прощай...

Он ушел, оставив меня в смятении: зачем посетил и что хотел сказать, когда заявил, будто слышал раньше мое имя? Но, может быть, просто навестил пострадавшего, чтоб подбодрить и поддержать? Догадки сменялись догадками, долго не покидало смятение, и всегда, когда думал о своей судьбе, передо мной вставал во весь рост, как тогда у песков Сары-Кума, в изодранной кожанке, непокоренный, уверенный в своей правоте комиссар Мирза; чудилось, что, в усмешке показывая ослепительные зубы, он говорит: «Как поживаешь, Эльдар сын князя Уцуми из Кара-Кайтага? Я ведь не умер, нет, ты не смог меня убить. А пока я жив, тебя не покинет страх. Ты в чужой шкуре, а душа все та же, не меняется, ты сам боишься ее изменить. Нет, не дам тебе покоя! Буду навещать не как привидение, а как живой; являться и не узнавать тебя, считать Мутаем из Чихруги, но сам-то знаешь, кто ты. От себя не скроешься! Ты боишься даже доверия, внимания людей: они предложили тебе работать в районе, ты отказался. Не хочешь быть на виду. И никогда теперь не сможешь подняться...»

Да, почтенные мугринцы, Мирза говорил со мной взрывами в скалах, когда горцы сами прокладывали к своим аулам широкие дороги для новой жизни; говорил новостройками больниц, школ, бань в аулах; его голос звучал в неслыханном энтузиазме горцев, которые без чужой помощи строили заводы и растили урожай, меняли облик страны, облик аулов и людей. Народ, прежде казавшийся обреченным, теперь ковал счастье под сенью не зеленого с полумесяцем, а пламенно-красного знаме-

ни со скрещенными молотом и серпом. Говорил Мирза и голосом первых машин, что, удивляя горцев, все больше и чаще являлись в аулы и на поля, и беззвучной речью газет и книг на родных языках, за которыми горцы просто охотились... Когда вышел первый сборник стихов и песен даргинцев,— через два дня его невозможно было найти... Любой был готов перекупить эту книгу за барана или десять метров ситца! Говорил он со мной языком учебников в школах, смехом и радостью детей, смышленых и увлеченных; правом каждого учиться и в высших учебных заведениях, которые были созданы в столице республики...

Зачем далеко ходить за примером: аул Чухруги,— да, да, тот аул, где видел я нищету и убожество, тоску и обреченность,— первым стал аулом сплошной грамотности, и там же была создана первая сельскохозяйственная артель. И все это народ получил от власти, которую я считал обреченной и гибели которой ожидал!

Но, как бы там ни было, поверьте одному: в глубине души я все-таки радовался, как ребенок, всему, что сделано на благо горцам.

Да, я боялся доверия и внимания людей, как больная овца, что боится идти в отаре и норовит плестись где-нибудь с краю или позади. Рана моя заживала, я выписался из больницы и жил теперь в доме, покинутом Казанби, где меня долечивала Зулейха. Об ее отце шли смутные слухи,— то, мол, видели его в чеченском ауле Ведено, то в Гудермесе на вокзале, то далеко в Ногайской степи на Черном Рынке, то говорили, что он стал главарем банды раскулаченных лесных людей. Жил я теперь не в шалаше на лесной опушке, а в ауле и среди людей, но чувство одиночества угнетало меня. А есть ли на свете бóльшая беда, чем быть одиноким среди людей?! Особенно если окружающие почему-то прониклись к тебе уважением и симпатией, верят, обращаются за советом...

Ох, каким я старался быть осторожным!

Однажды, когда я шел в Чихруги навестить своего слепого дядю Шапи, у родника Мурмуч, что в Апраку, нагнали меня два путника и здесь, за нехитрой трапезой, стали в беседе хвалить советскую власть, которая каждое

утро по-новому заглядывает к ним в саклю и приветствует добрыми пожеланиями.

— А вот скажи-ка, Мутай,— сказал один, раскуривая цигарку,— с чем бы ты сравнил эту власть?

— Как это «с чем»?!

— Ну, вот поэты сравнивают девушек с газелями, с бутонами на розовом кусте. Звезды сравнивают с бисером на синем бархате... А с чем можно сравнить нашу советскую власть?

— Ну, как бы это сказать... — призадумался я.

В наступившей тишине стало слышно глухой шум реки, что течет в ущелье, и я подумал: какая это благодать — река, что несет влагу и богатство земле, прохладу и утоление жажды людям.

— Пожалуй, я могу сравнить советскую власть вот с этой рекой...

— Что-о?! С рекой?! — насторожились оба. — Неужели наша власть такая мутная?

Откуда мне было знать, что, переходя мост, они увидели, как река помутнела после дождей, которые прошли в Мугринских горах?

— Вы просто не поняли меня, я хотел сказать...

— Что ты хотел сказать?

— Ну вот — сходите попробуйте к истоку этой реки, посмотрите, какая она там чистая, светлая под арками радуг. А вот пока до нас доходит, мутят эту реку...

— Кто мутит реку?

— Я же говорю: разные проходимцы, кулаки, националисты...

— Это ты правильно сказал. Но все-таки твое сравнение нам не нравится. Сколько бы ни было разных проходимцев и недругов, не могут они, не в силах замутить нашу власть, потому что нас — море!

— Я понимаю. Могу найти другое сравнение... — перебил я.

И мы помирились на том, что советская власть подобна утреннему солнцу, что несет свет и пробуждение всему живому и радость цветения...

Но после этого случая я остерегался запросто сидеть и болтать с людьми, особенно за бокалом вина, не приглашал никого к себе и сам отказывался от приглашений. Помнил поговорку: вино раскрывает ржавчину души.

А мугринцы принимали это за странную нелюдимость моего характера и прозвали «прячущийся за подол жены» — «хуна падала вархибси».

Позорное прозвище для горца! А что делать? Приходилось терпеть, почтенные.

Уже говорил, что в ту пору хакимы — начальники обратили на меня внимание. Вызывали в район, предлагали работу в сельхозотделе исполкома или в райпо, обещали послать на курсы... Но я отказался, попросил, если можно, оставить в ауле, дать работу учителя, что и сделали с полным удовольствием. А в автобиографии я написал, что, мол, с детских лет в Кизляре общался с русскими детьми и одна добрая русская семья снизошла и вместе со своим сыном послала учиться в школу... Потому, мол, так хорошо знаю русский язык!

Так я стал учителем русского языка в мугринской школе, а учителей тогда все еще не хватало, и не потому, что их было мало, но потому, что много было желающих учиться.

Подумайте, как швыряла меня судьба! Я, княжий сын, стал учить детей горцев грамоте и, главное, не так, как хотел бы, а как велела советская власть... Трудно было свыкнуться, но что же делать? Я учил детей тех, которые отняли у меня все, осквернили мое будущее... Учил русскому языку, который становился жизненно необходимым, ибо невозможно вести дела в республике на всех языках Дагестана. Кроме того, русский язык становился межплеменным мостом, по которому переходили мысли и чувства от одного народа к другому. На первых порах трудно давался нашим детям этот язык, но чем дальше, тем больше становилось говорящих по-русски, тем больше приезжало русских учителей. Шли тридцатые годы...

Вместе с бумагой в горы проникло не только просвещение, но и неведомые прежде недостатки. Раньше, если горец обиделся, он шел к обидчику и говорил все ему в глаза, положив руку на рукоять кинжала. Когда горец влюблялся, он искал случая встретить девушку и если не словами, то хотя бы взглядами сообщить о своих чувствах. Теперь же влюбленный без всякого смущения писал девушке на бумаге свои хабкуби (слова любви); как известно, бумага не краснеет и не теряет дара ре-

чи, как человек, от смущения. Обиженный кем-либо или просто недовольный хакимом горец брал теперь бумагу и писал жалобу более высокому хакиму, а то и просто анонимку. А власть указала, что жалобы трудящихся надлежит разбирать внимательно и не оставлять без ответа. Конечно, обидчивые и горячие горцы теперь реже стали хвататься за кинжалы, но зато уверились, будто можно сводить счеты с недругами пером да бумагой... А начальники тоже бывали разные: одни решали все дела и жалобы по собственному усмотрению, как вздумается; но были начальники — хакимы, что не кривили душой даже для родных и приятелей, люди редкой чистоты и откровенности. Они-то и были для горцев светлыми маяками...

На планете уже бесновались фашисты, уже загорались костры пока еще разрозненных войн. И большевики, ожидавшие всякого вероломства со стороны тех, кто, вроде меня, притаился под камнем, выжидая и надеясь невесть на что, принимали меры, чтоб очистить страну от явных и тайных нарывов и болячек, от тайной «пятой колонны» фашизма.

Должен сказать, не без интереса я следил за ростом грозной силы фашизма, но, признаюсь, мне и в голову не приходило, что они посмеют напасть на главный очаг коммунизма на земле — на Страну Советов. Как и многие, я почему-то уверился в незыблемости и необоримости советской власти. Нет, я не собирался греть руки на военном пожаре...

Простите, очень заныло под лопаткой, вот здесь, мой молодой друг,— и больной показал дрожащей рукой на левое плечо. — Что это может быть? И руки дрожат пуще прежнего...

Сурхай подошел и стал выслушивать больного. И было на его лице выражение, как у часовщика, что слушает неисправные часы, которые тикают через силу и неравномерно и вот-вот могут остановиться. Потом молодой врач проверил пульс, осторожно приподнял пальцами веко, посмотрел глаз больного.

— Нервы, нервы, дядя Мутай, — молвил он. — Перенапряг ты себя...

— Да, мой друг, долго я играл на этих струнах... Видно, не годятся они уже даже для простого «далалая» — припева... А может, смерть спешит прервать мою болтовню?

— Как можно говорить о смерти, старик, возле такого хинкала?! — воскликнул, осуждая, Осман, который в душе никак не хотел поверить, что рассказчик скоро умрет.— От одного запаха чеснока с орехом убежит без памяти ангел смерти Азраил со своими изъеденными молью хурджинами!

— Да, хинкал, кажется, удался...— отозвался больной, не возражая Осману.— Как ты находишь, почтенный Хамзат?

— Я не привык хвалить доброе, оно и без похвалы хорошо,— многозначительно молвил Хамзат и взял кусок мяса с мозговой костью... — Эх, до чего ж люблю выковыривать ножом мозг из костей. Может ли что быть вкуснее?!

— Да, Хамзат, по тебе это сразу видно! — усмехнулся Алибек и протянул хозяйке свою тарелку с тонкими белыми галушками, сваренными в мясном бульоне. — Если можно, положите мне, пожалуйста, еще немного подливки с орехами...

— С удовольствием! — услужливо захлопотала Зулейха.— Очень рада, что вам понравилось...

— Княжеская еда!— заметил Хамзат и тут же поправился: — Говорю в том смысле, что хинкал издревле украшал стол любого горца.

— Намек понятен, Хамзат, но я не обижаюсь, — улыбнулся хозяин.— Прошу, оросите это сочное мясо заграничным напитком... Я знаю, теперь по-иному стали угощать гостей, не как прежде. Хоть быка подай кунаку, но если не поставишь бутылку,— сочтет это почти оскорблением. Не подумайте, что говорю в упрек вам,— пить горцы стали много...

— Есть, значит, за что выпить! — сказал Осман. — Деды наши не пили, отцы не пили... Вот теперь и хотят наверстать упущенное. Кроме того, правоверные нашли в коране слова, что пророк разрешает употреблять это зелье в качестве дармана — лекарства. Нашли упоминание и о том, что правоверным не возбраняется есть свинину, но только одну сторону свиньи. Вот только

не сказано—какую. Поэтому, чтоб не ошибиться, едят и ту и эту половину!

Шутка вызвала смех.

— Эти новые открытия в коране наверняка сделал наш слепой кадий! — вставил Хамзат. И все засмеялись, ибо знали слепого кадия как беспробудного кутилу. Его называли «слепым», но был он не слеп, просто от старости ослабело зрение, иначе как смог бы сделать такие открытия в святой книге?

Впрочем, по-арабски ни писать, ни читать он не умеет...

— Я, кажется, вспотел...— сказал больной, поев хинкала.

— Это хорошо! Значит, твой организм еще восприимчив к приятному, старик! — заметил Хамзат.

— Зулейха, будь добра,— обратился к хозяйке больной,— собери кости и брось нашей собаке, пусть не воет так протяжно и уныло... А я пока передохну немного...

4

Ну что ж, раз мой молодой друг говорит, что пока нет ничего страшного,— поверим ему. Надеюсь, он не даст раньше времени постучаться смерти, да и я стараюсь не покориться болезни и выдержать до конца, как тот скакун, что, загнанный, падает замертво перед самыми воротами...

С вашего разрешения, продолжу рассказ...

Настало в Дагестане время, когда горцы в доверительной беседе говорили:

— Люди живут неплохо, я вот по себе сужу и по своим односельчанам. Есть хлеб, есть во что одеться, есть работа, есть заботы, в семью приходишь, не стыдясь, что, мол, хурджины пустые, как бывало; дети учатся, жена дома хозяйничает, а ты не скитаешься, как прежде, а работаешь в своем ауле, не тревожась о куске хлеба для детей. А завтра, если все будет благополучно,— дай, аллах, чтоб все было спокойно,— жизнь станет еще лучше. Ни дед, ни отец не знали, что бывает нижнее белье, что такое белая постель, не было у них лишней комнаты, а вот я перестроил саклю, правда, не так, как хоте-

лось бы, силенок не хватило... Но ничего, придет еще время... Только б не было войны!

Как я не раз замечал, даже большая радость почему-то настораживает горца: то ли еще не выветрился из него дым суеверий, то ли привык народ к переменам да лишениям и стал сомневаться в постоянстве счастья.

Необычайно начался тот год: щедрой, многообещающей улыбкой. Не помню другой такой яркой, теплой весны. Не могу позабыть День первой борозды — кубахруми,— давно позабытый и возрожденный обычай. Мугринцы достали из сундуков самое нарядное и яркое, что накопили. Уроки в школе отменили. Все, взрослые и дети, собрались в Долине горячего родника, что некогда принадлежала все тому же Ибрахиму из Уркараха. Запряженные в деревянный древний плуг с железным наконечником быки с красными бантами на рогах и хвостах ждали на краю поля пахаря, которому народ доверил провести первую борозду этой весны. И эта честь выпала самому старому жителю Мугри, которому уже перевалило за сто лет. Сам он, конечно, не помнил уже, когда родился, и возраст его определили по рассказам старика о знаменитом алиме — ученом из Мугри, по имени Хаджи-Саид, что уехал в чужедальнюю страну Мисри (в Египет) и оттуда присылал землякам весточки с перелетными ласточками... В тот день колхоз пожертвовал двадцать три барана на общее угощение и детям и взрослым.

Так же нарядно и щедро в ту весну отпраздновали встречу чабанов, что пригнали отары с зимовки в Ногайских степях.

Любовно возделанная земля обещала в том году обильный урожай. И погода стояла отличная: казалось, даже аллах был в добром настроении. Пышно цвели плодовые сады. Да что там: цвели леса диких плодовых деревьев и кустов — груша, яблоня, смородина, малина. Обильно цвел даже орешник, что по старому поверью предвещает беду. Небывалые были травы на лугах и пастбищах, чабаны радовались приплоду. Даже курица у нашей соседки целую неделю сносила по два яйца в день. Всему радовались горцы, но и говорили со страхом, что, наверное, надвигается беда...

И беда постучалась в сакли горцев в самый нежелан-

ный час, когда все наливалось соком, все румянилось и зрело под щедрым солнцем и дожди шли будто по заказу...

Прогудела по проводам, пронеслась черной тучей по горам весть о войне. И все вокруг словно бы притихло, как утихают лес и поле перед грозой, люди призадумались, подобрались. «Да,— говорили они,— некстати! Потерпел бы этот изверг до зимы, дал бы собрать дары щедрой осени...»

Первое время я думал, что явно промахнулся немец и будет легко уничтожен: видно, передалась и мне уверенность большевиков в своей силе, которой были полны даже дети.

И еще думал я по старой привычке: какое, мол, дело горцам до того, что немец стал воевать с Россией? До наших гор все равно не дойдет... И с великим удивлением понял, что ошибся. Годы новой власти изменили душу горца. Прежде он называл «родиной» свою саклю, свой аул, а уж если широкой была его натура, то — дагестанские горы. А теперь понятие родины необъятно разрослось для горца: и добрый урожай пшеницы на полях Украины для него часть родины, и бои под Хасаном для него бои за родину, и метро Москвы, и хлопок Узбекистана тоже родные... Горец понял, что раз так необъятно выросла его родина, то возвеличен и его долг. Теперь он чувствовал себя ответственным не только перед семьей и саклей, перед аулом, перед своей маленькой республикой, но перед всем огромным Советским Союзом.

Когда я понял это, мне, признаться, стало неуютно: ведь изредка я еще грелся у догорающих углей костра юношеской мечты, мечты о «самостоятельном Дагестане». И вот теперь воочию увидел, какой ребяческой и жалкой была моя мечта перед действительностью. Еще недавно повторяемые ежедневно, как молитва, слова о дружбе народов казались мне пустым разговором. Но теперь внезапно, как бы подтверждая поговорку, что друг познается в беде, люди сомкнулись. Не было надобности говорить о дружбе: перед лицом врага вдруг исчезли все грани и границы народностей и наций, все это вобрало в себя одно слово — советский.

И тут я снова ощутил холодную дрожь испуга. Еще

тлела где-то подспудно во мне слабая искра надежды, что смогу сбросить с себя чужую шкуру и воскреснуть из могилы снова Эльдаром, княжеским сыном. Ведь обиднее всего было мне погибнуть, исчезнуть с родной земли Дагестана под чужим именем. И в минуты тоски я ловил себя на сожалении, что и в самом деле не погиб, убитый в Большом ореховом лесу. Разве мог я надеяться на тех редких скряг и невежд, на тех заплесневелых обывателей, которые все еще хранили под потолком или замурованными в стене сакли пачки царских кредиток, керенок и казачьих билетов, в тщетной надежде, что воскреснет старое, уничтоженное и разгромленное навсегда. К тому же они сами были не способны и не хотели ничего делать, ждали, что кто-то другой станет бороться и погибать ради их призрачного, полуистлевшего богатства. Да и таких людишек было ничтожно мало. Все остальные, трезвые и разумные, были едины и решительны в готовности отразить врага...

Горцы шли на войну чаще всего добровольно, покидая аулы, молодых жен, детей, покидая нецелованных невест.

В старину, когда горца брали в «гяурскую армию», отец, провожая, просил сына не подставлять голову под пулю и под саблю, а мать молила именем аллаха во что бы то ни стало возвратиться живым... А теперь отцы говорили сыновьям: «Будьте достойны легендарных имен, что начертали на граните истории ваши предки!» А матери добавляли: «Родина — наша общая мать, и священна смерть за нее. Не дайте никому осквернить родину-мать!» ...Впрочем, откровенности ради, скажу, что попадались изредка и такие, которые старались любой ценой отсидеться дома... Как говорится, даже на здоровой руке пальцы не одинаковы...

А между тем немецкая армия продвигалась, хотя и с жестокими боями. Гитлер обещал добыть для германской нации хлеб насущный, германскому плугу — землю, а германской расе — господство над миром. И во имя этих невысоких целей гитлеровцы с варварской жестокостью, зверски расправлялись даже с мирным населением... Признаться, первое время такие сообщения я читал, скептически улыбаясь: мол, знаем, что такое пропаганда! Вообще, скептицизм очень удобная штука — надо

только пожимать плечами да усмехаться, а чувствуешь себя умнее окружающих, проницательнее...

В разговорах нет-нет да стали прорываться горькие недоумения.

— Как же так?! — удивлялся горец.— Что же это делается?! Там у меня трое сыновей. Когда растил, клал под подушку шамасскую (дамасскую) саблю. Неужели и они показали врагу спину?! Неужели мы в радостях труда и строительства могли позабыть, что порох надо держать сухим?

Ну, а обыватели, которые даже у меня вызывали отвращение,— да, да, сейчас мне уже незачем лгать,— тайком злорадствовали: «А большевики-то, мол, отступают, рушится советская власть, скоро можно будет и лавочку открыть!» Притаившись, словно тараканы, ждали они захода солнца, темноты, ночи, чтоб выползти... Слухи, что гитлеровцы расстреливают всех большевиков и комсомольцев, пугали даже некоторых хакимов. Помните, был у нас в районе прокурор Хажи-Ражаб? Да, тот самый, колченогий, с придавленной, как тыква, головой, словно мать клала ему на голову в колыбели тяжелую дубовую доску... Он еще учил новобранцев скакать на коне и рубить лозу. Но сам так и держался в тылу...

Все меньше становилось мужчин в аулах.

Вам, почтенные, так и не довелось стать первыми выпускниками первой средней школы в нашем районе: все вы добровольно ушли на фронт из десятого класса. Ты, Хамзат, был тогда комсоргом школы и, выступая на прощальном митинге, удивил даже меня: говорил откровенно, горячо, от сердца, и многие, даже старики, смахивали слезу, слушая. Ты поднял дух матерей, вдохновил тех, кто шел с тобой, рассеял сомнения и страх, хотя враг приближался к нашим горам и фюрер рассылал приказы не ссориться с кавказцами, обещать независимость каждой национальности, чтоб облегчить захват труднодоступных для военной техники и солдат местностей... Глядя тогда на вас, почтенный Хамзат, я думал: вот что делает пропаганда! Идут на верную смерть, но не допускают даже мысли о поражении... И мне тогда почудилось, что передо мной стоишь не ты, а опять все тот же неистребимый, бессмертный комиссар в кожанке — Мирза Харбукский.

Вы можете спросить: «Но ведь и ты тогда выступал и говорил о защите отчизны; неужели ты лгал?!» Да, мой язык тогда лгал. В ту пору как раз с неожиданной, с яростной силой возгорелась давняя моя надежда на поражение советской власти и возможность воскреснуть вновь, подобно гяурскому Христу, сыну божьему... Вероятно, я все-таки был похож на тех обывателей, которых презирал. Но в отличие от них...

В ту самую пору стали появляться в горах листовки, которые, по слухам, гитлеровцы рассеивали с самолетов, как семена сорняков, или распространяли заброшенные врагом в горы диверсанты из сформированного фашистами батальона эмигрантов-кавказцев «Бергманн», что в переводе значит «Горец».

Листовки призывали горцев не помогать большевикам, объединяться, чтоб, как только гитлеровцы вступят на землю Дагестана, объявить его суверенным, независимым государством... Чекисты тщетно рыскали в поисках диверсантов... И рождались слухи, один страшней другого, будто враг уже где-то рядом, что в горах высажен десант молодых солдат — сыновей тех, кто скрылся от карающей руки большевиков в гражданскую войну, а с ними и горцы, что попали в плен, прошли у немцев особую подготовку и теперь взяли в руки фашистское оружие.

А немец и в самом деле был близко... Дагестан готовился к обороне. У Хасавюрта строили противотанковые рубежи. Ветер доносил туда запах гари и сажу от подожженных гитлеровскими бомбами нефтепромыслов Малгобека и Грозного. Бомбили немцы и Махачкалу, но бомбы отчего-то не взрывались, и поговаривали, что они начинены не взрывчаткой, а песком и в песке лежат записки: «Привет от немецких рабочих». Много было слухов и россказней, самых странных и противоречивых.

Примерно через год после начала войны меня почти насильно перевели из школьных учителей в районо инспектором. Теперь я разъезжал по аулам.

Однажды — если не изменяет память, летом сорок второго года — возвращался я из аула Чихруги, где умер слепой «дядя» Шапи, домой, в Мугри. И в местности Апраку, где когда-то пас баранту моего тестя Казанби, у

самой опушки леса мне преградили дорогу какие-то вооруженные люди, одетые кто во что горазд.

«Неужели истребители?! — внутренне ахнул я.— Выследили! Попасться так глупо...»

По телу пробежали мурашки, будто от укола камфоры, когда разливается неприятно жгучее тепло. Но что делать? Пришпорить, огреть коня плетью, вырваться? Но впереди открытая дорога, меня легко подстрелят... Повернуть назад? Пока колебался, один уже схватил узду моего коня.

— Что, вырваться думал? Не выйдет! Слезай, приехали! Поговорить надо.

— Не о чем мне с вами говорить.

— Отставить разговоры! Спешиться, быстро!

— Я инспектор районо. Мне нужно срочно в район. Я буду жаловаться.

— Ха-ха-ха! Он будет жаловаться! Слышишь, Махамад: он будет жаловаться! — захохотал он, обращаясь к тому, кто держал коня.— Кому же будешь жаловаться, инспектор?

— Кому следует.

— На нас?

— Да.

— Ой-ой, до чего ж напугал! Прямо ноги трясутся...— Он смеялся, показывая желтые, мелкие, щербатые зубы; наверное, ел еще незрелые грецкие орехи.— А ну, слезай, пока не стащили, как мешок с мусором!

— Чего вам нужно от меня? Вот документы!

Зубоскал взял мои бумаги и стал просматривать их с наглым безразличием. Тут подошло еще несколько человек, и меня просто стащили с седла, хоть я сопротивлялся, угрожал, возмущался. Меня поволокли к лесу, в ту сторону, где поднимался столб дыма. Это на поляне в глубине леса горел большой костер, вокруг которого сидели люди в самой разношерстной одежде... Не скрою, впервые я ощутил страх — я испугался такого бесславного конца. Но, оказывается, еще не то ожидало меня...

Разглядывая людей у костра, вдруг увидал я бывшего районного прокурора Хажи-Ражаба,— да, да, того самого, колченогого и с головой, будто примятой в колыбели.

— Вот наша добыча! — подтолкнул меня тот, что по-

хожим на нож штыком колол в руке орехи.— Много болтает, язык длинный. Может, прикажете укоротить?..

— Кто такой? — грозно нахмурил брови Хажи-Ражаб и выпятил, как утиный клюв, толстые губы.

— Я бывший батрак, работал учителем, сейчас инспектор по школам в районо. Я — Мутай из Чихруги.

— Коммунист?

— К сожалению, пока сочувствующий.

— «Сочувствующий»,— с иронией повторил Хажи-Ражаб.— У кого батрачил?

— У бывшего партизана Казанби из Мугри.

— Мутай из Чихруги, говоришь?

— Да, это я.

— А-а, что-то припоминаю... Погоди, это не ты женат на дочери Казанби?

— Да, я.

— Помню. А не ты ли на сходке обличал своего тестя?

— Да, да, это был я. Это в меня тогда стреляли.

— Всыпать этому сукину сыну, да так, чтоб месяц не мог сидеть. Пусть знает, крыса конторская, кто мы такие! — крикнул бывший прокурор.

— Какое имеете право так поступать?! Я честный человек.

— За честность добавьте ему еще. Да погорячее! Ха-ха-ха!

Мои протесты, мои крики о помощи потонули в хохоте этих людей, что с таким аппетитом жрали огромные куски вареного мяса; от одного запаха у меня закружилась голова: ведь утром, на поминках Шапи, я только выпил полкувшина айрана и съел кусок лепешки. И хотя жил я в достатке, но давно не видел столько мяса, как перед ними.

Меня повалили и, будто резвясь, стали со смехом стаскивать штаны. Неужели я, князь, сын владетеля всего Кара-Кайтага, позволю себя высечь?! Нет, это немыслимо! Даже покойный Мутай из Чихруги не допустил бы, чтоб выдрали, как мальчишку. Нет! Я молил, проклинал, рвался из рук, боролся, кричал: «Лучше убейте, убейте! Сволочи!» Кое-кому изрядно помял бока, и они перестали поганенько ухмыляться, а у того, желтозубого, брызнула кровь из носа. Все же меня повалили,

пинали сапогами, нещадно били палками и кулаками, пока я не потерял сознания. Очнулся, когда все-таки стянули штаны, от жгучих ударов плетьми по голому телу. И тут услышал голос Хажи-Ражаба:

— Хватит! А то испустит дух этот инспектор, потом возись — копай могилу. Бумажная душа! Сколько завела канцелярских крыс советская власть! Все у них на бумаге: и совесть, и честь, и даже любовь. Еще и детей тому же учат. Ничего, недолго осталось...

Я слушал, пытаясь поймать хоть нотку актерского лицедейства: трудно было поверить в искренность таких слов бывшего хакима. И ничего не поймал... Но кто же тогда эти люди?..

— Отпустите, пусть идет на все четыре стороны. А коня конфисковать!

— Конь не мой, не имеете права...— протестовал я, поправляя штаны.

— О каких правах скулишь? Все права теперь в наших руках.

— А кто вы такие?

— Свободные горцы, которые решили сами распоряжаться своей судьбой.

— С какой целью?

— Со священной целью служить Дагестану, и только Дагестану. Ни России, ни немцам, никому... Честь и слава Дагестану! — крикнул Хажи-Ражаб.

— Честь и слава Дагестану! — отозвались остальные.

Это меня еще больше насторожило. Кто они? Шайка разбойников, которые грабят, отбирают почту, убивают партийцев, насилуют женщин? Или их объединило желание бороться с советской властью за восстановление прошлой жизни?

«Эй, не спеши, Эльдар! — сказал я себе.— Проверь-ка еще раз... Чтоб не ошибиться, надо раскалить их до полной ярости: риск так уж риск!»

Я подтянул ремень, подошел к толстяку с мясистой рожей, что звался Хажи-Ражабом, и с размаху ударил кулаком по красной, жирной морде. Ударил так, что он отлетел. На меня бросились люди, но, охваченный азартом и уверенностью в своей силе, стал я отбиваться яростно, смело, гневно.

— Сволочи, трусы! — кричал я.— Отцы ваши не показывали спины врагу, а вы шкуры спасаете! Превратились в лесных зверей, красивые слова говорите о чести Дагестана, а сами грабите бедных людей. Бандиты! Жаль, нет оружия: перестрелял бы, как шакалов, что питаются падалью. Ну что, думали, поймали овечку, можно поиздеваться?!

Откуда и сила взялась: одного бросил через себя, и тот ударился головой о камень, другому подставил ногу, третьего ударил в живот, тот икнул и осел.

Но тут бывший прокурор успел выхватить из желтой кобуры, что висела прямо на животе, новенький блестящий пистолет, каких я еще и не видывал, и заорал:

— Отступите, ребята! Сейчас сделаю сито из этого инспекторишки. Да ты знаешь, на кого руку поднял? На Хажи-Ражаба!

Он был бледен от негодования, на грубых руках набухли жилы, ноздри шевелились, как у волка, почуявшего жертву, дико сверкнули глаза.

— Знаю, что ты предатель! По тебе давно скучает веревка,— я разорвал ворот, обнажил и выпятил грудь. Этот жест озадачил толстяка.

— Чего мешкаешь, Хажи-Ражаб? Только не пачкай наш куш, отведи подальше — вон, к обрыву,— и прямо в реку...— сказал только что подъехавший всадник. Голос прозвучал знакомо, и я оглянулся.

Вот это была встреча! На коне сидел Казанби, мой тесть, живехонький и даже для солидности отрастивший имамовскую бороду. Казалось, он где-то в тепленьком местечке бережно сохранялся до этих дней. Лишь позже я узнал, что вовсе не легко было и ему: немало порубил лесу в Сибири, мерз, хлебнул невзгод полной пригоршней...

— Что тут происходит? — спросил Казанби тоном начальника этих людей, что при его появлении поднялись и теперь стояли, будто ожидая приказа.

— Пытаемся укротить твоего зятя.

— Кого?!

— Твоего зятя,— повторил Хажи-Ражаб.

Казанби соскочил с коня и подошел поближе: видно, глазами слаб стал старик. На правой руке болталась плеть с дорогой рукоятью из слоновой кости, с серебря-

ными колечками. Были на нем синие диагоналевые галифе, коричневая гимнастерка, на поясе висел кинжал, а другое оружие скрывала андийская бурка.

— Неужели тот самый батрак? Смотри-ка, каким интеллигентом стал у советской власти. Далеко пойдет эта птичка, если крылья не обрубить...

— Здравствуй, Казанби! — сказал я.— А мы думали, что Азраил нашел тебе место в своем хурджине.

— Представь себе, то же самое я думал о тебе. Думал, что тебя убили.

— Нет, только продырявили плечо. Врачи вылечили, а твоя дочь вы́ходила...

— Вот и встретились, зятек! Ну что, дочь отхватил, меня перед народом обозвал буржуем, обокрал — и думал, все пройдет безнаказанно? Думал выслужиться? Хотел свое счастье построить на беде тестя? Впрочем, чего доброго ждать от головореза из Большого орехового леса, продавшего чекистам Эльдара сына князя Уцуми из Кара-Кайтага...

— Не может быть! — удивился Хажи-Ражаб. — Уцуми был кунаком моего рода. Нет, редкая добыча попалась в сеть! С удовольствием его продырявлю, испробую новенький пистолет. А он, сволочь, прикинулся здесь безобидным инспектором! Позволь, Казанби.

— Постой, не мешай объясниться с зятем. Я даже не знаю, как живет моя дочь...

— Скажу тебе, Казанби, живет лучше, чем жила бы с другим. Надеюсь, обрадую, хоть место не для радостных вестей: скоро ты станешь дедушкой.

— Что-о? Своими руками удушу этого щенка! — и он пробормотал ругательства на цудахарском диалекте, который сочнее и выразительнее звучит.

— Зачем так грубо? — поморщился я.— Как-никак родственники... Можем мирно договориться.

— «Мирно», говоришь? А ну, налево кругом, марш!.. Вот и прикончим дело «мирно»...

— Казанби, а Казанби! — заскулил Хажи-Ражаб.— Стоит ли тебе брать на душу грех, убивать родственничка... Отдай мне. Руки чешутся...

Тут я понял, что они не шутят и готовы в самом деле пристрелить. Они видели во мне преданного советской власти и даже готовы мстить за Эльдара сына князя

Уцуми из Кара-Кайтага,— кстати, к большому моему удовольствию... Но как бы то ни было, я не хотел объясняться среди глазеющих бандитов.

— Палачи всего мира,— сказал я,— обычно спрашивают о последнем желании осужденного. Надеюсь, исполните мою просьбу.

— Говори, какую?

— Хочу, чтоб стреляли вы оба. Одной пулей меня все равно не убить.

— Дельно! — заметил бывший прокурор.— Эту просьбу удовлетворим.

И повели меня к обрыву, под которым в скалах бушует, как привязанный к столбу бешеный буйвол, горный поток; с этого обрыва чабаны обычно бросают дохлых ишаков и собак. И здесь, поудобнее усаживаясь на камне, я заявил:

— Ну вот что, почтенные: разыграли комедию, и хватит. Представьте, я рад встрече...

— О чем это он, Казанби?! — растерялся Хажи-Ражаб.— Может, рехнулся со страху, а?

— Перед вами не Мутай из Чихруги! — крикнул я.

— А кто же? Может, ты имам Шамиль?

— Погодите с дурацкими шутками. Я не имам Шамиль... Но прежде скажите: вы слышали о листовках?

— О чем?! О каких листовках?

— «Честь и слава Дагестана».

— Ну, и что ж?

— А не хотели бы сами их распространять?

— Встать! Довольно водить нас за нос.

Ох и трудно ж было убедить этих тугодумов! Долго пришлось объяснять, что я — бывший царский офицер, герой Эрзерума, поручик Дагестанского конного полка, георгиевский кавалер... Только имени я не назвал. Не хотелось...

— Ну что ж, недобитый белый офицер, значит. Все равно расстреляем! — и Хажи-Ражаб повертел перед моим носом новеньким пистолетом.

— Погоди, Хажи-Ражаб. Если он не врет, то может пригодиться,— задумчиво проговорил Казанби.

— Что, родственные чувства заговорили? Болтовня все это... Так и я могу сказать, будто я комиссар Мирза Харбукский, которого собственноручно расстрелял в свое

время... Чего зубы скалишь?! — вызверился Хажи-Ражаб.

— Ну и врешь же, дорогой! Где ж ты этому научился? Уж не на страже ли законности? Ха-ха-ха! Ну и сказал...

— Позволяешь себе смеяться надо мной?!

— Да, позволяю! Потому что я — Эльдар сын князя Уцуми, владетеля Кара-Кайтага. Теперь надеюсь, не посмеешь утверждать, что ты убил Мирзу? А? Что, язык проглотил?

— Доказательства?! — крикнул Хажи-Ражаб.

Когда я наконец выложил все о себе, они вроде бы поверили, но все еще были настороже. Пришлось пообещать представить и вещественные доказательства.

— А чем вы рискуете? Приговор свой сможете выполнить когда вздумается. А кроме того, немцы уже стучатся в ворота, можете чувствовать себя хозяевами...

— Ты что?! — вскричали они.— За кого нас принимаешь? За безмозглых ишаков, что ли? Неужели пошли бы против советской власти, если б не были уверены, что немцев уже нельзя остановить, что большевики обречены...

Так нашлись вроде бы единомышленники.

Не раз потом Хажи-Ражаб говаривал Казанби:

— Вот какой оказался зятек! Думал, дочь вышла за батрака, а он, оказывается, князь. Воистину все перевернулось на земле...

Шайка Казанби и Хажи-Ражаба была, видимо, немногочисленна и слаба.

Они об этом старались не говорить, зато жадно ловили слухи о всяких случаях грабежа и нападений в горах, мечтали с кем-то объединиться, но, кажется, и объединяться было не с кем. На глазок считая, было в шайке не больше ста — ста пятидесяти человек.

Сегодня и для вас, почтенные мугринцы, да и для меня самого, конечно, эти жалкие потуги и надежды кажутся до нелепости наивными. На что можно было решиться с таким человеческим мусором, уголовным сбродом, трусами и невеждами? Даже если б пришли на время в Дагестан немцы, вряд ли такая шайка могла бы рассчитывать на их благосклонность. А кроме того, советская власть в Дагестане не пошатнулась, но, наоборот,

укрепилась, готовясь к отпору. Большевики, не привыкшие сдаваться, были уверены в победе, хоть мне и казались наивными их лозунги: «Наше дело правое — мы победим!», «Вперед к победе — она близка!» Но горцы свято верили лозунгам и отдавали фронту все, вплоть до последних теплых журабов — носков, полушубков, бурок, варежек...

Впрочем, для меня выбора не было: только с Казанби и Хажи-Ражабом я мог быть Эльдаром, княжьим сыном. Во всех иных местах я, как заколдованный злой силой, делался Мутаем из Чихруги.

Но в тот день я вернулся домой из Апраку преображенный, усмехаясь и подмигивая самому себе. Казалось, надвигаются значительные перемены в жизни, и я предвкушал возможность оказаться среди тех, кто будет по-своему строить будущее Страны гор.

То были дни, когда гитлеровцы взяли на Терском хребте холмы, на которых разбросан город нефти Малгобек.

5

Нет, я не лгал и не выдумывал, когда говорил Казанби, что он скоро станет дедушкой. Моя Зулейха на самом деле ждала ребенка. И когда, позабыв обо всем, что происходило за стенами сакли, мы увлеченно беседовали о будущем нашей маленькой семьи, я и подумать не мог, что родится девочка. Как-никак я горец, а горцы говорят, когда родится девочка: «Родился камень для чужой стены». А я хотел, чтоб родился столб, опора для моего рода: ведь я был последним человеком в папахе из княжеского рода Кара-Кайтага. Признаться, я сомневался: смогу ли дать сыну наше родовое имя, такое известное в Дагестане. Оставалось надеяться, что немцы придут раньше, чем у меня родится сын.

Чем ближе пробивались гитлеровцы, тем больше людей становилось в отряде Казанби, «друзей справедливости», как я называл их в листовках-воззваниях, что писал Эли для Хажи-Ражаба. При встречах в лесной глуши, ибо стоянки постоянно приходилось менять: все время по следам шайки шли истребительные отряды,— они называли меня «своим идеологом», и это мне

очень льстило. О многом мы говорили, составляли планы, обсуждали, как быть с землей, с частной собственностью. На словах мы были готовы, но слишком ничтожны были наши силы... Оставалось писать листовки, призывать горцев помогать «друзьям справедливости». Подписывал листовки псевдонимом «Урбас-Али»; подражал в этом большевикам гражданской войны, когда у них были партийные клички. И в то же время старался быть очень осторожным: даже Зулейха не знала, что я автор листовок.

Листовки люди находили в неожиданных местах: в бане, в уборных, на стенах саклей, на базарных прилавках.

А «друзья справедливости» на самом деле были простыми бандитами: обирали путников, насиловали на дорогах женщин, грабили мельницы, угоняли колхозную баранту, сводили старые счеты с советскими работниками. То и дело доходили слухи, что качаги — бандиты,— народ нас иначе и не называл,— того в ущелье Совы схватили и подковали, как лошадь, того ослепили, тому на спине вырезали звезду, того повесили у него же на веранде... Гнев и злобу рождали у горцев эти зверства. Тщетно я говорил Казанби и Хажи-Ражабу, что необходимо быть гибкими, терпеливыми и даже милосердными — хотя бы до тех пор, пока не захватим власть. Я помнил еще по временам шамхала Тарковского, какой гнев мы породили тогда в горцах излишней жестокостью. Впрочем, «друзья справедливости» не желали слушаться ни меня, ни Казанби. Мои слова были для них вроде табачного дыма: вдохнул и тут же выпустил в воздух. Не помогали даже наказания за грабеж и насилие, которые Хажи-Ражаб с удовольствием приводил в исполнение.

Иногда я казался самому себе малышом-несмышленышем, что старательно «печет пироги» из песка и гальки, а они рассыпаются от первого дуновения ветра.

Угрожающе возрастало противодействие горцев: все больше народу вступало в истребительные отряды. Все труднее становилось предупреждать Казанби о предстоящих рейдах истребителей, из которых особенно настойчивыми, упорными, смелыми оказались женщины-горянки.

И стала шайка у Казанби рассыпаться, как пирог из гальки.

Не побоялся я встретиться в ущелье Совы с одной группой головорезов, что откололись от Казанби и Хажи-Ражаба. На мои увещевания они ответили насмешкой:

— Мы не бараньи кишки, чтобы нас шпиговать!

— И мы носим папахи, не ты один! — нагло добавил их главарь Килич.

— Вы ожесточаете народ, а это не в наших интересах. Надо завоевать уважение населения, его симпатии, если хотите посвятить себя благородной цели...

— Нашел благородных!.. Мы бандиты — и баста. Отомстим за свои обиды на этом свете, а там пусть будет что угодно. У нас у каждого есть своя жертва на примете.

— Да вас же ощиплют, как кур! И так нас мало; вернитесь в отряд Казанби.

— А мы самостоятельные!

— Что же вы делаете?! Даже собаки разных пород объединяются, завидев волка. А вы...

— Эй, потише, чернильная душа! Мы не собаки, мы еще люди! — крикнул Килич.

— Чего вы хотите добиться? Где ваши идеи?

— И без идей обойдемся. Наша идея — месть!

— Вы губите общее дело!

— Ха-ха-ха! Общее дело? Вы, праведные разбойники, так же грабите и насилуете, как и мы, неправедные... Эй, Мутай из Чихруги, учитель, не нюхавший пороха, обучай сопливых детей, а нас оставь. Мы всё понимаем! Нечего ждать новых времен, о которых вы болтаете. Мы люди обреченные. Чего ж, смиренно сидеть под кустом, пока горянки из истреботрядов нас поубивают? Не-ет! Мы умрем, но и они поплачут!.. Немцы уже застряли. Слыхал про Сталинград? Выдохся немец, все! У русских это старый приемчик: отдать врагу половину своей земли, а потом кровью и телами противника ее удобрять... Думаем, и теперь так будет. А бороться с советской властью у нас нет ни сил, ни охоты.

Так рассуждал Килич, перематывая портянки и переобуваясь.

Я хотел возразить, но тут послышались выстрелы, прибежал дозорный и, запыхавшись, сообщил:

— Мы окружены, Килич. Нас предали!

— Кто предал?! — вскочил главарь и выхватил револьвер.— Уж не ты ли навел истребителей, Мутай из Чихруги? Ну, погоди же, чарык сыромятный... Привязать его к дереву! Мы еще вернемся сюда... И если это твоих рук дело,— клянусь, что освежую тебя, как барана, и шкуру натяну на барабан!

Бесцеремонно, грубо меня посадили под дикую яблоню и прикрутили жестким арканом так, что не мог пошевелиться. Не слушали ни просьб, ни угроз. Надвигался вечер, и я с ужасом подумал, что ущелье Совы издавна кишит зверьем.

— Ребята! — кричал Килич.— Попробуем вырваться. Неужели опять женщины? Нет хуже вооруженной горянки. Недаром говорят: если бык опоздает броситься, бросается корова. Ха-ха-ха!

— Это не женщины, а солдаты.

— Солдаты? Откуда они взялись?! И много?

— Хватит для нас...

— Вырваться, вырваться надо! — И Килич, как зверь, почуявший приближение смерти, растерянно оглянулся.— За мной! Выберемся по тому склону и через скалы. Только бы перевалить гору! А там, в пещере, и шайтан не найдет!

И они побежали.

Я видел, как на противоположном склоне их всех скосил пулеметный огонь, как, корчась, Килич схватился за ствол дерева, пытаясь удержаться на ногах, но не удержался и рухнул. И тогда я понял, что советская власть всерьез взялась за всех лесных недругов, «друзей справедливости» и прочие шайки и банды. Черт с ними, с этими Киличами да их подручными: были они обречены и погибли бесславно и бесцельно. Но что же будет с отрядом Казанби и Хажи-Ражаба? Неужели вновь, не успев взойти, закатилась моя звезда?

Попытался освободиться, чтоб добраться до Казанби и предупредить об опасности. Но аркан из конского волоса был слишком для меня прочен. Тут набежали солдаты, увидели меня, перерезали аркан и привели к сво-

ему командиру. И вновь я вздрогнул и похолодел от неожиданности: передо мной опять стоял комиссар Мирза Харбукский. Веки мои поднялись, зрачки расширились, руки одеревенели, я стоял полумертвый...

— Погодите, я вас знаю! — воскликнул Омар; конечно, это был он, сын Мирзы.

— Да, я Мутай из Чихруги.

— Да, да. Ну, что вы делали в этом зверином логове?

— Мы нашли его, товарищ капитан, привязанным к дереву! — опередил мой ответ один из солдат.

— Да, Омар, я обязан вам жизнью! — произнес я заплетающимся языком.— Они схватили меня на дороге и привели сюда... Эти мерзавцы, трусы! Нет предела их подлости. И это, когда враг у ворот Дагестана...

— Допустим, враг уже не у ворот Дагестана,— поправил меня Омар.— Немцы уже отброшены, Мутай из Чихруги, волна теперь катится обратно. А вот что такой трусости нельзя было ожидать от людей, вскормленных грудью горянки, ты прав.

— Никогда не забуду этого, Омар! Эти бездомные собаки не пожалели бы даже меня, простого инспектора по школам... Я обязан вам!

— Ничем вы мне не обязаны. Мы выполняем свой долг. Ступайте спокойно домой.

И я ушел.

Все время, почтенные мугринцы, я жаловался вам, что меня, как зайца собаки, травили неудачи. На этот раз меня, наоборот, постигла большая удача: не привяжи меня Килич к дереву, не пришлось бы теперь рассказывать о прошлом...

Пока я выбирался из ущелья Совы, особые отряды чекиста Омара, а с ними и местные истребители двинулись в сторону Апраку, верховые и пешие, с ручными и вьючными пулеметами. И я понял, что все погибло.

И не следовало снова попадаться сыну Мирзы Харбукского на глаза в подозрительном обществе.

От всех волнений, от нового и окончательного крушения надежд, от тревоги, от ожидания всяких бед, которые, как уже говорил, не ходят поодиночке, я заболел и провалялся в постели месяца три. В эти дни Зулейха и ро-

дила ребенка: девочку! Что будешь делать? Пришлось смириться...

От вояк Казанби и Хажи-Ражаба и следа не осталось: половину вместе с Казанби и Хажи-Ражабом перебили в бою, остальные бросили оружие и были арестованы. В горах с усмешкой рассказывали: остатки шайки захватили горянки из истребительного отряда, и два бандита, узнав, что они сдались женщинам, не перенесли такого оскорбления мужской чести и, когда их вели безоружных под конвоем, бросились с моста в бездну. Так же бесславно погибли и последние надежды, заставившие меня пойти на тщетный риск. Теперь беспокойство стояло за моей спиной: среди арестованных могли оказаться такие, что видели меня на лесных стоянках с Казанби и Хажи-Ражабом. И на работе, и дома я невольно ждал, что вот-вот постучатся и скажут: «А кто здесь называет себя Мутаем из Чихруги?!»

Ну, не в моем характере смиренно сидеть и ждать, когда захлопнется мышеловка. Не мышиный характер у Эльдара из Кара-Кайтага! Но что же можно сделать?

И я решился: немедленно записался добровольцем и попросил быстрее отправить на фронт.

Распрощался с женой и дочерью, что еще и говорить не могла, только улыбалась все время, большеглазая, с удивительно длинными ресницами. В ее улыбке мне все чудились будто бы произнесенные слова: «Эх, полно тебе, папа! Прошлого не вернешь, да и не надо. Живи, как все, и со всеми вместе радуйся доброму...» На прощание поцеловал ее в пухлую щечку: даже Зулейха удивилась такой небывалой ласковости и уронила слезу.

Из района нас, а было нас около двухсот человек моих лет и даже старше, до станции Берикей провели пешком, затем отвезли в теплушках в новую столицу республики Дагестан.

Много лет не приходилось бывать здесь...

Еще в домашней одежде, пестрые, разношерстные, выстраиваемся на привокзальной площади. Невольно озираюсь вокруг, оглядываю город... Вокзал старый,— говорили, что власть предполагала перенести железную дорогу за гору Тарки-Тау, чтоб не отделяла город от прекрасных берегов Каспия, да вот — война помешала... Поднимаемся строем на горку. Нет, бывший Порт-Пет-

ровск невозможно узнать. Прежде здесь самыми крупными строениями были казарма, тюрьма на горке Анджи-Арка, где стоит высокий маяк, и церковь с семью куполами-луковками. А теперь появились целые улицы многоэтажных домов с балконами и лоджиями, Дом кадров в мавританском стиле, здания техникумов, институтов, военного училища, выросшие на заболоченных пустырях. Да, теперь, это был живой, растущий город, воистину столица молодой нашей республики.

И вот здесь, на широких мощеных улицах, встретил я хваленых солдат немецкого «третьего рейха», покоривших Западную Европу. О, в каком виде были эти вояки! Безоружные, потрепанные, общипанные, залатанные, угрюмые, шли они в грязно-серых куртках с большими карманами, озадаченные, еще не понимающие, что с ними происходит, боясь глядеть по сторонам. Их конвоировали всадницы-горянки, наши дагестанские амазонки, на добрых конях и с автоматами на груди.

На момент почудилось, что кое-кто из пленных поглядел на меня с язвительной усмешкой: «Что же, мол, ты плохо встречаешь нас, княжий сын Эльдар?» И я отвернулся...

Несколько недель нас обучали в Хасавюрте верховой езде в строю, рубить и стрелять с коня на всем скаку. И тут командир нашего эскадрона Давди, герой еще гражданской войны, быстро заметил отличные способности Мутая из Чихруги. Был Давди маленький и юркий, несмотря на возраст, носил пышные пшеничные усы, завидно сидел на коне и лихо владел любым оружием. Невольно я проникся к нему уважением. А он не раз, бывало, говорил мне, показывая на две шеренги воткнутых в землю и увенчанных папахами лозин или ореховых прутьев:

— А ну-ка, Мутай, покажи людям, как надо владеть саблей! Чтоб сабля была вроде бы продолжением твоей руки...

И я мчался, горяча коня и слыша знакомый присвист своей сабли. С доброй завистью глядели однополчане. Если б знали они, что я рубил лозу еще в царском кавалерийском училище, что уже изведали мой удар турецкие аскеры под Эрзерумом!

По пути на фронт мы проезжали по земле, что побывала в гитлеровских лапах. Видели аулы, деревни, поселки, испепеленные дотла. Видели... И ужасались! Ну, чем виновата эта тринадцатилетняя девчонка с отрезанной грудью? Чем виновата эта мать, с ужасом глядящая мертвыми глазами в небо и прижимающая к себе мертвого младенца: их убила одна пуля с самолета. Чем виноват этот седобородый из Кызбуруна, которого сейчас освобождают от петли, чтобы предать земле? Чем виновата эта молодая учительница с безумными, остекленевшими глазами, что бросается ко всякому встречному и обнажается, невнятно выговаривая какие-то немецкие слова? Чем виновата вон та старуха, что рыдает и молится на могиле единственного внука, которого четвертовали гитлеровцы? Они виноваты, что были живыми людьми, любили свою землю, любили матерей и отцов, любили честных людей, ненавидели насильников и поработителей... Да, было отчего ужаснуться, и застонать, и воздеть руки к небу, и воскликнуть: какой шайтан мог вложить в душу человека такую жестокость?!

...Видел нагие трупы стариков и старух, сложенные поленницей вперемежку с дровами: фашисты не успели сжечь. Видел душегубки, где в страшных муках задохнулись, корчась, детдомовские ребятишки. Вдумайтесь в эти слова: «душегубка» и «детдом»! Видел я войны, много раз участвовал в боях, но это была не война, а педантично сработанная фабрика смерти. Ад не страшнее, нет! В аду мучаются те, кто в жизни вел себя подло и грязно,— даже аллах стремится быть справедливым... Сердце стучало в груди, как молот. И чудилось, что кто-то кричит (я даже оглядывался): «Смотри! Вот они, замученные, невинные! Запомни их тела, их лица, загляни в остановившиеся глаза! Они не простят, они требуют отмщения, если ты человек! Если ты человек...»

— Хвала тебе, аллах всемогущий! — пал я на колени, воздев руки к небу, на чужой земле чужой бедой пораженный, прозревший вдруг.— Благодарю, что пренебрег суетными молениями Эльдара и, будто ржавые листья, развеял лживые его листовки; что послал Азраила по души Казанби, Хажи-Ражаба и прочих, именовавшихся «друзья справедливости», хотя были друзьями предательства. Тысячи благодарений, аллах, от заблудшей души!

Истинно сказано: кто дует на огонь правды — бороду обожжет! Всеправедный, ты преградил путь извергам в Дагестан, в наши аулы, в наши горы. А если б они ворвались сюда и признали Эльдара князем,— лучше б мешать голой рукой горячую известь! Прими, аллах, в рай, кто пал и еще падет в бою с этим чудовищем. Погибший за правду героем умер! Рад быть мертвым Мутаем из Чихруги, но не опозоренным Эльдаром Кара-Кайтагским, что мог стать бессмертным в людских проклятиях!

Так я молился, почтенные, от переполненного сердца и великого раскаяния. Недаром помню все те слова. И так вторично умер Эльдар, княжий сын.

Все время мне казалось, что несу две гранаты: с такой силой сжимались кулаки.

— Эскадрон, по коням! — хрипло прокричал ординарец командира, и маленький усатый Давди повел нас лесными тропами в обход, в тыл противника, чтоб с тылу атаковать пехоту, что в лесной полосе прикрывала отход основных войск. Командир выслал дозорных, и мы двинулись по их следам в сырую ночь леса. Ехали до света, а к утру обнаружили, что углубились далеко в тыл врага. Слева виднелась станица, там возле машин суетились солдаты, иные хаты уже загорелись, подожженные. Позади станицы ясно различалась и лесная полоса, в которой засела немецкая пехота. Давди посмотрел на часы. Он не любил выкрикивать команды, и кое-кто даже шутил, что Давди команд и не знает. Объяснялся с нами Давди жестами, и мы научились угадывать приказания. Вот и теперь он выхватил саблю, ткнул ею в сторону станицы, и его конь, а следом и весь эскадрон ринулся вперед. Враг растерялся от внезапной атаки, солдаты заметались, рассыпались, побросав награбленное барахло, машины, обозы... Вот передо мной с деловито засученными до локтей рукавами высокий рыжий немец тщетно пытается расстегнуть кобуру дрожащими руками. Удар сабли отдался в эфесе; не успев крикнуть, рухнул солдат. Впереди вижу второго: только что вышел из хаты с еще помятым от сна лицом. Он заметил меня слишком поздно, прикрылся руками, защищаясь от удара, и рухнул на покосившуюся изгородь уже мертвым...

Странные мысли плелись в голове: «И не такие уж они страшные, чтоб бояться; как ни странно, умирают, стонут, кричат, зовут своих матерей...» Они даже пытались сопротивляться, а это мне и нужно было, чтоб ожесточиться: велика ли честь бить лежачего?! Внезапность нашего появления очень помогла, но все же противник успел применить пулеметы и автоматы. Пришлось с горечью убедиться, что, как выражаются горцы, «появилось ружье, исчез Кёр-оглы»; появились автоматы, устарела конница. Много выбили у нас коней, немало пало и всадников... И я слетел с коня, сабля выпала, и я оказался лицом к лицу со здоровенным немцем, что прятался за еще не успевшей загореться кучей камыша. Рука моя потянулась к кинжалу, но солдат с кошачьей ловкостью бросился, схватил, и я ощутил его бычью силу. Ну, понимаете, я тоже был напряжен и тверд, как железный. Мы боролись, и я чувствовал его угарное с перепою дыхание. И все-таки удалось выскользнуть из его рук, я выхватил кинжал, а он даже не успел подняться с земли и теперь пятился на четвереньках, глядя расширенными, злыми и перепуганными глазами. Я настиг двумя шагами, ударил амузгинским кинжалом в грудь снизу, страшный вопль оглушил: последний крик убитого зверя. Я выдернул кинжал и вытер о куртку убитого.

Теперь можно и оглядеться...

В станице все было кончено. Оставшиеся на конях всадники во главе с Давди мчались в атаку на лесную полосу, где уже начался переполох...

К полудню сопротивление было сломлено, в пробитую брешь рванулись наши танки и пехота. В память об этом бое мне достался немецкий автомат: неплохое оружие, несложное в обращении — и вскоре я научился сшибать из него ветку за двадцать шагов.

А потом — уже в степях Запорожья — попрощался с лихим Давди и эскадроном, отдал одному из запорожских хлопцев, что там присоединились, как они говорили, к «батьке Давди», своего коня и саблю и перешел в роту автоматчиков.

С этой ротой воевал в чужих землях... И, наверное, неплохо воевал: наградили двумя орденами Славы...

Не буду рассказывать больше о боях: вы сами, по-

чтенные, прошли эту войну до последнего дня. И прошу: не подумайте, что помянул о наградах в надежде тем искупить свою вину. Нет, лучше, чем кто бы то ни было, знаю цену и вины своей, и своему боевому труду на фронте...

Вот так-то, почтенные мугринцы... Не раз, бывало, воображал, так сказать, древо своей жизни: росло оно на горке семи ветров, низкорослое, кряжистое, исковерканное, избитое ураганами и бурями, перекрученное, с шипами, что прозвали «не тронь меня!», «не подходи!»,— мол, я расту само по себе, в одиночку,— и листья шершавые, будто у крапивы, побитые градом и жгучие, цветы и те словно увяли, прежде чем распустились, и вихри легко обрывали их и крутили вместе со всяким гнильем и мусором. И росло это древо не ввысь, как тополь и кипарис, а вкривь и вкось, и не было на нем плодов. Жалкое, хилое дерево на опушке могучего леса и цветущего сада...

Кто ж виноват в его судьбе? Земля, что вскормила? Воздух гор, солнце, родное небо? Нет, конечно. Может, корни были больные и с гнильцой? Но разве могу в чем-нибудь упрекнуть своих предков? Разве не мои родители предсказывали мне блестящее будущее, хотели радоваться моим удачам?..

Не скрою, была пора, когда искал вражеской пули, когда хотел стать мертвым Мутаем из Чихруги, что пал за правду. Но рядом погибали люди, нужные народу и полезные в жизни, погибали интеллигенты в очках, что до войны работали над научными проблемами и получили ученые степени; умирали простые люди, оставив без отца большие семьи, умирали безусые, еще не испытавшие пьяной сладости любви... А меня так и не взяла пуля!

Впервые я ощущал себя живой, нераздельной частицей своего народа и, казалось, заглянул на мгновение в будущее, что готовили гитлеровцы для горцев. Заглянул и ужаснулся.

С тех пор сердце горело, как налитое расплавленным металлом, я задыхался от ненависти. Весь гнев, всю ярость прежних неудач, горечь тяжелой судьбы я обрушил на врага моего народа. Сражался, не щадя себя, не думая о жизни, готовый умереть, как умирали тысячи безымянных героев... Но бывает же так: чего хочешь, то

не сбывается, а чего меньше всего ждешь, то как раз и происходит...

Далеко от родных гор закончил я боевой путь — на Карпатах, в горячем бою за Дукельский перевал. Двое суток наша рота отбивалась от наседавшего противника, ожесточенного, как раненый зверь, верившего обещаниям Гитлера, что вот-вот появится новое, неслыханное оружие. К вечеру третьего дня от всей роты осталось двое: я и молодой русский парень из-под Курска, политрук. Мы перебегали по окопам и стреляли то из автомата, то из пулемета, чтобы стрелков казалось побольше. Тут враг обрушил на окопы шквальный огонь из минометов и даже пушек...

И я был убит.

Да, да, помню, что успел сказать «прощайте!» и канул в черное безмолвие.

Но вышло, что опять ошибся: очнулся на четвертый день в госпитале. Нас с политруком подобрали бойцы подоспевшего подкрепления...

Скитаясь по госпиталям из города в город, пролежал до конца войны. День Победы застал на госпитальной койке в Харькове. И тут внезапно пробудилось во мне желание выжить, выздороветь, вернуться в Мугри... Но и после войны еще долго штопали Мутая из Чихруги по госпиталям и лечебницам, а закончили — в санатории на Черноморском берегу...

Вы раньше вернулись, почтенные мугринцы, и помните, как встретили меня в ауле... Можно было подумать, что я Герой Советского Союза,— коврами и паласами устелили горцы дорогу, устроили митинг на перевале Хабкай. Ничего я не мог тогда сказать, слезы навертывались, мешали, да и горький комок стоял в горле и душил. Только и мог кланяться во все стороны и хрипло произносить: «Баркала!»[1] Да, народ сознавал, какого напряжения и жертв стоила эта война, и потому так радостно и так трепетно встречал каждого, кто возвращался. А возвращалось не так много. И тогда, глядя на восторженные, сияющие, благодарные лица людей, я вдруг впервые ощутил неодолимую потребность рассказать народу все без утайки... Удержала только мысль о неумест-

---

[1] Баркала — спасибо.

ности такой внезапной исповеди: зачем омрачать радость народа и славу тех солдат, что беззаветно служили родине и прославили себя на весь мир?!

Простите, ненадолго прерву рассказ... Что-то холодно... Зулейха, ноги замерзли, накрой, пожалуйста, потеплее. Или грелку положи...

Надеюсь, разрешите немного передохнуть? Впрочем, вам, наверное, уже надоело мое повествование; должно быть, думаете: неужели ты не мог подохнуть без исповеди? Кому она нужна?.. Прошу, будьте снисходительны... Теперь уже недолго...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДА, ЭТО Я, МИРЗА ХАРБУКСКИЙ

I

Кажется, мне следует поторопиться. Не правда ли, дорогой Сурхай? Не утешай, не нужно, по глазам вижу, что хочешь сказать... Лучше налей-ка мне еще рюмочку! Выпью, даже если станешь запрещать: что-то холодно ногам и рукам, будто натягивают шкуру овцы, подохшей в мороз. Бр-р!.. Будь добра, Зулейха, поправь дрова в камине, чтоб жарче горели... Всю жизнь люблю жаркое пламя. Спасибо, любезный друг. Пью за здоровье мугринцев!.. Ого-го! Даже вроде обожгло что-то внутри, а по телу разливается блаженное тепло...

Так на чем я прервал рассказ? Да, да, правильно: когда вернулся домой. Благодарю, что напомнили. Память что-то слабеет...

Когда возвращался, была встреча в поезде... Только простучали колеса через реку Аксай, что за Гудермесом, и охватил меня трепет: начиналась родная земля, край мой бедный и суровый, край желанный, который не раз снился в мучительно долгие ночи на госпитальных койках. И сразу

воздух в вагоне стал легким и свежим: привычным! Всматриваюсь через окно в бескрайние степи, в пустыри, земли, что веками терзает соль, жаждущие влаги и заботливого хозяина. И хозяин теперь нашелся: с предгорий двинулись в степь виноградники, сады, оросительные каналы. А вдали в прозрачной дымке синеют суровые скалистые горы, что подпирают небо... Мелькают на полустанках кирпичные строения, водонапорные башни, воздвигнутые с божьей помощью на костях правоверных еще белым царем в конце прошлого века... Дагестану ничего не досталось ни от могущественных предков, создавших некогда великие города Шам-Шахар, Урцеки, Семиндер, Дербент, позднее разрушенные иноземными нашествиями, ни от феодалов, ни от нарождавшегося капитализма: тут не было ни больших предприятий, ни богатых имений, ни дворцов с башнями и тайными переходами, ни банковских домов из железобетона, ни роскошных отелей на прекрасном песчаном берегу Каспия, ни старых санаториев, хотя здесь много лечебных грязей и горячих источников, ни игорных домов и казино, ни вилл, построенных принцами для своих любовниц...

Дагестан —это каменные сакли, тесно прижавшиеся друг к другу, будто в испуге, да саманные домики на равнине... Но вот появились за окном и новые станции, постепенно перерастающие в города с зелеными улицами, заводскими трубами, театрами и кино: вижу, мой край избавляется от нищеты, немощи и невежества. И радуюсь!

Надеюсь, почтенные мугринцы, вы поймете: говорю так не потому, что хочу вызвать сочувствие к своей судьбе. Никак нет! Хорошо ли, плохо ли, но жизнь прожил, и судить об этом — вам. Но представьте состояние человека, который всем существом своим ощутил, что молодость и зрелые годы израсходовал в бесплодных попытках восстановить оскорбленную честь и вернуть то, что ускользнуло безвозвратно. Понимать, что в этих попытках, подобно боевому барану, ты пытался лбом пробить гранитную стену. Сознавать, что простые, неграмотные горцы раньше поняли смысл инкилаба — революции, чем ты. С войны возвращаюсь с обновленной, омытой душой, хотя слаб и болен... Как говорится, не всегда жить в обиде и не всегда радоваться чужому горю: во мне ярко загорелся дух гражданина своей страны.

Стою у окна, вглядываюсь в людей, что суетятся на перронах и спешат поглядеть, нет ли среди возвращающихся родных и знакомых... Радость встреч, восторг,— да, да, я замечаю, что обычно скупые на проявления чувств горцы на этот раз не могут сдержаться.

— Да, большая радость у людей... А только многих недосчитаются,— сказал за спиной знакомый с детства голос, и холодок пробежал по спине. Я обернулся: да, это был он, Мирза Харбукский. Вернее, Омар, сын Мирзы. Но какое поразительное сходство! И рука невольно поднялась к козырьку: Омар был теперь полковником.

— Да,— отозвался я, стараясь не выдать волнения.— Многих, наверное, уже и не ждут...

— А тут вы неправы, солдат,— сказал он, вглядываясь в мое лицо.— Еще долго будут ждать и надеяться люди...

— Тщетные надежды.

— И все-таки надежда. Без нее было б тяжелее жить... Постойте, постойте, а ведь я вас знаю!

— Я вас тоже, полковник.

— Постойте, сейчас вспомню... Вы — Мутай из Чихруги!

— Вашей памяти можно позавидовать...

— Где мы последний раз встречались?.. Помню: в ущелье Совы за аулом Мугри. Мои ребята нашли вас привязанным к дереву.

— Было такое...

Силы покидали меня, кровь отхлынула от лица.

— Еще один из тех, которые тогда сдались в Апраку... Как же его звали? Странное было имя... Не то Курт-Саид, не то Курт-Хасан...

Ноги подкашивались. Я не выдержал, попросил Омара в свое купе, сказал, что после госпиталя еще не очень крепок...

— Да,— продолжал он, уже сидя в купе,— этот Курт-Хасан в чем-то подозревал, сказал, что не раз видел тебя в той банде. На самом деле бывал у них, или это он так, наговаривал?

— Да, не раз бывал, представьте себе...

— Зачем?!

— Это что же, полковник,— допрос? — я постарался улыбнуться.

— Нет, нет, что вы! Просто к слову пришлось.

— К слову или по привычке?

— Возможно, и то и другое.

— Ну, они-то меня не спрашивали... Я работал тогда инспектором, приходилось ездить по аулам, по школам Они хватали лошадь за узду, стаскивали меня с седла и волокли к атаманам...

— Если не ошибаюсь, один был твоим тестем?

— Да, Казанби. Я у него батрачил...

— Я и знал вас как батрака, пострадавшего от вражеской пули. Если помните, навестил в больнице... А потом нашли вас в лесу.

— Спасли от расправы!

— Возможно. А что вас видели вместе с тестем, с Казанби, конечно, вызвало подозрения. Но мы проверили. В районе хорошо отзывались о вас. А потом вы добровольно уехали на фронт... И вот, вижу, возвращаетесь с двумя орденами! Приятно не ошибиться в человеке! Нас порой обвиняют в жестокости... Да, уважаемый Мутай, мы жестоко карали и будем карать всех, кто враждебен, кто старается вредить и пакостить советской власти, за которую наши отцы отдали жизнь и то же завещали нам. Сам посуди, какой я был бы сын, если б не защищал идеи своего покойного отца, идеи, за которые он отдал жизнь?! Так и мой сын...

— У вас есть сын?! — прервал я; разговор становился невыносимым.

— Сын — богатырь! Пойдемте в наше купе, познакомлю с женой и сыном. Идемте!

Как мне хотелось избавиться от него, спрятаться, лечь и подумать!

Но я пошел за Омаром.

Его жена была миловидной, голубоглазой, с тугими каштановыми косами, а сын оказался семилетним упрямцем, что на все уговоры поесть отвечал матери: «Не хочу!»

— Вот встретил знакомого героя войны! — сказал полковник жене и обернулся ко мне: — А это мой богатырь. Ну-ка, поздоровайся с дядей!

— Здравствуй, дядя герой!

Мальчик звонко шлепнул ладошкой по протянутой ему руке.

— Молодец! А как тебя зовут?

— Мирза! — с гордостью ответил мальчик.— Да, да, я —Мирза Харбукский, герой гражданской войны. Правда же, папа?

— Да, сынок, да! — улыбнулся полковник.— Это о тебе поют в горах:

Он здоровался с орлом,
Он дружил с отважным львом.
Много трусов он вернул:
гнал искать следы в аул,
чтоб в отряде не мешали,
а в ауле ткали шали...

Как все сложно, запутанно и вместе с тем просто в жизни!

Вот стоит передо мной бессмертный Мирза Харбукский и снова улыбается и словно бы говорит: «Вот мы опять встретились, Эльдар сын князя Уцуми из Кайтага. Ведь ты не убил меня тогда, а теперь тем более не убьешь. Я жив, Эльдар, и буду не раз встречаться с тобой даже вопреки твоему желанию». ...А поезд как раз приближался к песчаной сопке Сары-Кум у Кумтор-Калы, немой свидетельнице далекого прошлого.

— Вам плохо? Вы что-то побледнели...— участливо сказала жена Омара, которая уже успела достать флягу и разложить на столе закуску.

— Да, после госпиталя что-то еще не совсем...

— Были ранены? — спросил полковник.

— Да, дошел до Карпат, а там будто в меня одного ударили из орудия... Врачи вновь собрали из кусочков и вот — сшили.

— Главное — жив... Ничего, сейчас станет полегче! — произнес полковник, разливая из фляги в походные стаканы.— Привык к солдатской фляге. Это — коньяк...

И мы выпили. Жена Омара и сын, чтоб не мешать, вышли из купе.

И правда, после первой же стопки стало легче. Хотелось говорить, но слов не находил, мысли ускользали, перескакивали, сыпались, как песок сквозь пальцы.

— Жена у тебя русская? — спросил, чтоб не казаться нелюдимым.

— Нет. Почему вы так подумали?

— Сейчас вошло в обычай: молодежь женится на русских.

— А какая разница? Лишь бы верная подруга... А у вас есть семья?

— Да, та самая Зулейха, дочь Казанби.

— Смазливая была девушка! А дети?

— Девочка. Сейчас ей три года. Поздно женился.

— Ну, будь здоров! Дерхаб, Мутай!

Так мы опустошили флягу, и я попрощался с ними на перроне Махачкалы, столицы Дагестана. А я сошел с поезда на полустанке Мамед-Кала и оттуда на попутной машине решил проехать через Маджалис, теми местами, где родился и вырос, где стоит дворец князя Уцуми...

Вот она — страна моего детства! Те же вокруг ущелья, те же горы, даже облака вроде бы те же самые. Пожалуй, дорога стала пошире. Ну, понятно: прежде здесь проезжали всадники да скрипели арбы, а теперь — грузовики, автобусы, тракторы... А вот и еще новость: у самого въезда в аул сияет в саду стеклянной стеной консервный завод. Вот и старый знакомый — арочный мост. Ох, как сердце забилось! Сейчас, за ним... За ним просто груда развалин, а прежде здесь был двухэтажный дворец князя Уцуми...

Сколько новых домов в ауле! Вон трехэтажный Дом Советов. Вот Дворец культуры. Это приземистое строение — интернат горянок. Дальше белеет школа... Сколько незнакомого, непривычного, нового ворвалось в страну моего детства, отстранило, затерло моих скромных старых приятелей. Широким половодьем разлились сады и виноградники.

Нет, мне нравились добрые перемены в Маджалисе. И все-таки стало горько, словно, как в сказке, собирался я возвратиться в детство, чтоб начать жить сначала и по-другому, но вдруг обнаружил, что и возвращаться-то некуда: больше не было страны моего детства!

Уже рассказывал,— да вы и сами видели, почтенные,— как встретили меня в Мугри: даже слеза прошибла старого солдата! И подумалось: какое блаженство после дорог ада и смерти вернуться к своему очагу, под крышу, к семье — к милой жене и дочери Эльмире, самое имя которой начинается так же, как мое тайное имя — Эльдар.

А вот и она — стоит на крылечке нашей сакли! Схватил ее, поднял, прижал к груди. Настороженно всматривается, не понимая, почему этот дядя обнимает ее и радуется.

— Эльмирочка, доченька, не узнаешь? Да, впрочем, как тебе узнать! Ты ж была совсем крохотной, когда я ушел на войну... Что, хорошая? Чего испугалась? Я же твой папа!

— Папа? — удивляется ребенок.— Такой старый?

— Ну что ты, доченька, разве я старый!

— С бородой...

— Вот побреюсь, переоденусь, тогда увидишь, какой у тебя хороший папа. Тебя мама не обижала?

— Мама? Нет. Это я ее обижала...

Девочка нахмурилась.

— А почему, хорошая, ты обижаешь маму?

— Я не хочу обижать, но так выходит...

— Умница ты у меня!

— А ты пойдешь гулять со мной?

— Обязательно. И в лесочек пойдем.

— За шишками?

Так я встретился, познакомился и объяснился с родной дочерью.

Эльмира росла ласковой, понятливой, доброй, и, право же, я быстро перестал жалеть, что у меня нет сына.

Один аллах знает, как они жили без меня. Зулейха работала в колхозе не разгибаясь: возила навоз, пахала землю, а чаще лопатой копала, дрова колола для школы, стирала белье в детском доме, шила, вязала теплые носки, чтоб в базарные дни обменять на кукурузную муку... Даже после моего возвращения Зулейха не оставила колхозной работы, несмотря на все просьбы и даже угрозы. Была она вроде того азартного борца, что легко положил на лопатки противника и, не зная, куда девать избыток энергии и силы, тут же побежал вокруг аула... «Не могу! — говорила Зулейха.— Не могу! Руки просят работы. Понимаю, что руки огрубели, что потеряла, наверное, женственность и нежность,— ведь работа нелегкая и не очень чистая, беречь себя не приходится, но зато оплата чистая и совесть спокойная... Очень прошу, не обижайся!»

Сами понимаете, мог ли я обижаться на единственного

человека, что искренне облегчает мое горькое одиночество, на мать моей дочери?! Горько было, что я постарел, обмяк, часто болею, ноги налились тяжестью, морщины стеснились на лбу, лучами просияли возле глаз... И вроде бы с удовлетворением, утешаясь, замечаю про себя, что вон и Зулейха хоть намного моложе меня, а тоже начинает поддаваться: пополнела, на лице бороздки морщин, руки шершавые.

— Постарел я, Зулейха, постарел...

— И вовсе нет! Просто устал и болен. Какая там старость!

— Даже дочка заметила...

Я ждал, что жена скажет: «Да и я сама постарела, дорогой!» Но, видно, все женщины одинаковы: нет у них сил признаться в этом.

— У тебя молодая любящая жена,— улыбнулась Зулейха.

— Спасибо! Ты добрая... Без тебя и трудно ж было б мне жить! Ничего, Зулейха! Вот поправлюсь, встряхнусь, устроюсь на работу, и заживем по-новому. Я теперь другим стал...

— Каким?!

— Разве не замечаешь?

А сам думаю: «Эх, знала б, что творится в моей душе!»

— Нет, не замечаю. Какой был, таким и остался.

— Как это не замечаешь? Вот разговорчивым сделался...

— Ну конечно, это я заметила! Бывало, клещами слова не вытянешь...

— Зачем уж так преувеличивать, Зулейха!

— Да, сильно изменила людей война, дорогой...

Она была права. Печаль и горе войны, радость победы как бы сделали советских людей побратимами. Люди научились ценить жизнь и думать о ней стали шире, понимать ее многообразие, сложность, неповторимую прелесть...

...Почти год пролежал в своей сакле. И хотя еще не окреп как следует, решил подняться с постели. Стало стыдно: ведь Зулейха с трудом сводила концы с концами, хоть и не признавалась.

Случайно обнаружил, что жена тайком опустошила

свой сундук: продала на сирагинском базаре свои наряды и украшения, лишь бы покупать для меня масло, баранину, сыр... Почти до слез тронула однажды и дочь: принесла из школы миску шурпы — похлебки и сказала: «Поешь, папа! Это очень-очень вкусно...» А ведь я заметил, что Эльмира и за обедом, дома, не ела досыта, старалась больше оставить для меня... Ну, мог ли я лежать в постели?! И, несмотря на просьбы Зулейхи не подниматься, оделся и на попутной арбе поехал в район.

Встретили там радушно, расспросили, посочувствовали: «Трудно живется? Да, да, дорогой, жизнь сейчас у всех еще нелегкая!» И предложили вернуться на прежнюю работу — инспектором районо. И тут же дали хлебные карточки на десять дней вперед.

Возвращался медленно, пешком, сияющий от радости: в хурджине лежали три испеченных в пекарне белых каравая, румяных, треснувших по краю, с хрустящей коркой. А какие вкусные! Не помню, когда еще ел хлеб с таким наслаждением. К стыду своему, по дороге сожрал полбуханки. Да, не всякий понимает, что такое хлеб и какова его цена. Недаром горцы относятся к хлебу, как к святыне, крошки не уронят на пол, не коснутся его ни ножом, ни кинжалом, а бережно разломят на ломти руками, оделят всех, кто присутствует, и обязательно помянут благодарным словом землепашца и добрую землю, на которой вырос этот хлеб. Радовались в тот день и Зулейха с Эльмирой, радовались и гордились мной... Жить семье стало гораздо легче. Да еще, разъезжая по аулам, я то и дело привозил в хурджинах масло, сыр, сушеные фрукты, орехи, муку — дары кунаков, у которых останавливался и которые старались поддержать беспомощного интеллигента, что не сеет и не жнет и в житницы не собирает, даже не имеет приусадебного участка, живет лишь по карточкам.

А вскоре карточки отменили. Жизнь налаживалась...

2

Абрикосовое дерево, посаженное по традиции Эльмирой возле школы, когда пришла она в первый класс, уже крепло, поднялось, приготовилось зацвести...

Моя девочка ходила уже в третий класс.

Я жил с вами, почтенные мугринцы, ел с вами хлеб свой насущный и не был, представьте, безразличен к тому, что за ветер и откуда продувает мою саклю, в каком месте протекает крыша над головой и где надо заделать щель. Да и народ вокруг стал иным, больше проверял на практике, думал, спорил, доказывал, смеялся. Словом, как говорится, понял: чтоб сделать масло, надо молоко трясти покрепче; ведь масло «сбивают»! И когда, укрупняя районы, соединили ваш животноводческий район с Кайтагским, садоводческим, мугринцы даже сочинили частушку:

Эх, хакимы вы, хакимы,
Разве можно быть такими?!
Разве можно мудрецу
дать за яблоко — овцу?

После объединения мне, работнику районо, надлежало перебраться в Маджалис, где лежал в развалинах дворец отца, князя Уцуми. Мог ли я на это решиться?!

Попросил оставить в Мугри. И тут, к моему удивлению,— видимо, из уважения к боевым заслугам и орденам,— направили Мутая из Чихруги не простым учителем, а директором школы в Мугри.

Представьте себе, после всего, что услышали, я руковожу средней школой! Директор — это немалый оклад и большое уважение. Мугринцы при встрече пожимали руку, спрашивали о здоровье. Могу сказать не без сожаления, директор школы — высшее, чего я достиг в тревожной и неустроенной своей жизни. А дальше... Дальше стал спускаться по лесенке, со ступеньки на ступеньку. Ниже и ниже...

И в тот год, когда Эльмира, девочка моя, которая поднялась, как тополек, сделалась хрупкой, стройной, приветливой и нежной и такой пригожей, что мать все время боялась, как бы соседки не сглазили, перешла в десятый класс, я уже не был директором. Не был и завучем, а просто учительствовал — да, да, преподавал в начальных классах. Уже ни возраст, ни боевые ордена не могли удержать на почетных руководящих постах: не было у меня дипломов! И те самые ребятишки, которых учил когда-то писать буквы на классной доске, теперь

возвращались в аул с дипломами педагогического института. И меня приглашали в районо, любезно предлагали сделать еще шаг, уступить место другому, что я и делал без обиды и ропота. На кого обижаться? Ведь в самом деле, выросли новые люди, культурные, с педагогическим образованием. Обижаться мог бы лишь на себя: многое упустил в жизни! А были возможности, были...

— Вы не думаете, уважаемый Мутай, наверстать упущенное? — спросил заведующий, по-дружески пересаживаясь поближе, рядом, на диван.— У вас большой опыт педагога, но вот...

— В таком возрасте? — Я проглотил горькую слюну.

— Ну, если перефразировать слова Пушкина, то в наши дни «учению все возрасты покорны». Возьмем хотя бы...— и он перечислил фамилии старых моих коллег.

— Боюсь, дочка станет смеяться... Поздно!

— Могли бы экстерном окончить школу, а еще лучше — педагогическое училище в нашем районе. Потом поступить в институт заочником.

— Благодарю за добрый совет, но будем откровенны... Если я не гожусь даже для начальных классов... Пожалуйста, я не в обиде...

— Мы искренне сочувствуем... Но сами знаете: в Мугри уже тридцать семь человек с высшим образованием, а это выходит, что в одном нашем ауле больше педагогов, чем в целом вилайете Турции. Или возьмем...

— ...даже более развитую страну...— перебил я.— Понимаю, я отстал, и следует уступить дорогу.

— Только без обиды! — Заведующий встал, протянул руку.— Да, ваш директор просил предложить вам работу, если, конечно, это вас устроит...

Ох, как мне не хотелось снова оказаться иждивенцем Зулейхи!

— Какую работу?

— Завхозом школы...

И вдруг наступила неловкая тишина, которую я поспешил нарушить.

— Завхоз не сторож,— вырвалось у меня, признаться, не без обиды.— Отчего бы не согласиться?

— Вот и отлично. Всего доброго!

Такой разговор состоялся у нас, Осман, в твоем кабинете. Думаю, что смысла не исказил. Ты тогда заведовал

районо и, как все сильные люди, был великодушен. А школой руководил и предложил мне работу завхоза — ты, Хамзат. Помнишь?

Впрочем, я быстро убедился, что здесь мне не хватает энергии да расторопности: то школу не отремонтирую к сроку, то запоздаю заготовить на зиму дрова или обновить классный инвентарь... И я понял: не для меня эта папаха! Пора уйти самому... И ты, Хамзат, с удовольствием написал резолюцию на заявлении: «Не возражаю».

В тот же год я проводил дочь учиться в город.

Вы знаете, она окончила школу с медалью. Хорошенькая, славная выросла дочь, вся в мать, и, глядя на Эльмиру, невольно вспоминал я времена, когда пас баранту в Апраку и туда приезжала молодая Зулейха. Но только Эльмира была просвещеннее, образованнее, интеллигентнее... Мне ли хвалить свою дочь?! Сами знаете, ко мне приходили сваты из всех кварталов аула. Что делать? И сам был бы рад поскорее устроить ее судьбу, оставить в ауле, а не отпускать в город...

— Что будем делать, доченька? Опять сватаются...— спросил я перед самым отъездом.

Она обернулась, взметнулись черные косы.

— Опять откажи, отец!.. Я так хочу учиться... Но не посмею перечить, если скажешь: останься и выходи замуж. Решай, отец!

— Ты вольна, девочка. Делай, что хочешь. Только боюсь: ты же одна будешь в неизвестном городе...

— Там много таких, как я, отец. Вот увидишь: окончу университет, вернусь в аул и буду такой же послушной дочерью.

— Ну, смотри, доченька... Ты у нас одна надежда.

— Поедешь со мной, отец?

— Если ты хочешь...

— Я хочу, чтоб ты посмотрел, как устроюсь, где буду жить и где учиться...

— С удовольствием, доченька. Давно не бывал в городе.

И проводил ее в столицу, в Махачкалу.

Подумать только, за каких-нибудь сорок лет горцы выросли от духовного медресе до государственного университета, до многочисленных институтов и техникумов.

Устроилась дочка в общежитии с двумя подругами из

других аулов, купил ей кое-каких обновок, прогулялся с Эльмирой по городу и вернулся в Мугри на рейсовом автобусе.

Почти полгода слонялся я без дела, стесняясь взглянуть в глаза Зулейхе: жил на ее иждивении, а надо было еще и помогать дочери... «Эх,— думалось,— видно, правду говорят, что старый коготь хорош лишь чесать укромное место!..» Однажды и Зулейха призналась, что устала, и спросила: не бросить ли ей тяжелую работу в поле и не поступить ли подавальщицей в кафе? Тогда как раз построили новое кафе «Тополек» на самом оживленном месте, недалеко от остановки автобуса и от базара недалеко. И было оно похоже на сказочный терем-теремок из пластика, железных рам и огромных стекол.

— Ну что ж, если тебе так хочется...— ответил я, хоть и не хотелось порывать с колхозом, потому что доходы там возрастали...— Конечно, в кафе работа спокойнее. Впрочем, и в колхозе...

— А почему бы тебе не поработать в колхозе? — вдруг сказала Зулейха и сразу смутилась, застеснялась.— Это я просто так... Не хочешь, не надо. И так проживем... Вот только не удалось отремонтировать крышу. Другие новые сакли строят, а мы...

И украдкой утерла глаза.

— Ты права. Так и сделаем, я пойду в колхоз. Не унывай, Зулейха! Если две головы согласны, а четыре руки работают, то, говорят, дом богатеет...

— Дом пустой,— жаловалась Зулейха.— Даже стыдно заходить к другим, просто завидно, покупают мебель, обставляются... Я одна отстала от всех. И не знаю почему, работаю как будто не хуже...

— Понимаю, Зулейха, тебе трудно, в этой сакле ты одна работаешь... Сегодня же пойду к Алибеку!

— Только попроси легкую работу, ты же болен...

Так и сделали. Жена стала буфетчицей в «Топольке», а я... Я стал чабаном. Нелегкая работа для старика, но зато знакомая издавна, да и хорошо оплачивается. Не случайно ведь говорят, что в наше время чабан живет богаче любого районного хакима! Два мугринских чабана уже купили легковые машины...

Вы можете, уважаемые, посмеяться не без иронии: мол, обнищал князь, потянулся за длинным рублем!

Да, вы правы, к наживе потянулась душа, на старости лет захотелось накопить добра, порадовать жену и дочь, которая училась старательно и даже получала повышенную стипендию. Но вы знаете, девушке в городе, где каждый год меняются моды и люди делаются все наряднее, нельзя отставать от других. А какой же я отец, если не могу приодеть единственную дочь?!

Чабаном я почти полгода блуждал далеко от дома на зимовьях в Ногайских степях, где жить приходилось в дедовских землянках и где бурка, как было исстари, заменяла нередко и крышу, и постель. Как и другие, держал в колхозной отаре и своих овец. Сперва было у меня всего три овцы, а через три года стало уже двадцать шесть, и осенью уже мог шесть-семь баранов продать на базаре, а двух-трех зарезать для семьи. За эти годы приоделись сами и дочку порадовали обновками: всякий раз, возвращаясь с зимовья, я навещал ее и делал подарки. Дела наши поправлялись. И главное, если прежде слова «пастух», «чабан» произносили с презрением, будто говорили о получеловеке-полуживотном, то теперь чабан гордился своим занятием, как профессор на кафедре.

Каждый раз, когда видел дочь, охватывало меня беспокойство. Казалось рискованным оставлять ее одну в городе; боялся позора, боялся, что свяжется с каким-нибудь шалопаем и вся ее жизнь будет испорчена.

— Как живешь, доченька? — спрашивал я с боязнью, когда ее подруги покидали комнату, чтобы оставить нас наедине.— Тебя никто не обижает?

— Я сама кого угодно обижу! — озорно смеялась Эльмира, ласково глядя бархатными черными глазами.

— В кино ходишь?

— А как же?! Кино совсем рядом...

— И в театр?

— В театр редко. Бываю только на даргинских пьесах.

— Одна ходишь?

— Почему же одна?! С подругами или всем курсом... А за костюм, папа, спасибо! Ты у меня такой добрый... Даже стыдно: ни у кого нет такой хорошей одежки...

— Что за повязка у тебя на руке?

— Это вечерами выходим на улицу для порядка, дружинницы.

— Разве это девичье дело?! Будто мало у вас парней!

— Ну что ты, папочка! Я сама отвела одного хулигана в милицию. Даже поблагодарили: оказывается, плохой человек...

— Как это можно?! Нет, нет, я пойду к твоему начальству, скажу... Он мог тебя искалечить! Не делай глупостей, доченька. Дай мне слово, что бросишь это!

— Хорошо, хорошо, отец! Даю слово...— сказала Эльмира, чтоб успокоить меня.

А спросить, встречается ли она и дружит ли с каким-нибудь парнем, я так и не смог, не осмелился.

И она об этом не заговорила.

5

Свыкся с судьбой, остепенился, стал забывать, кто я и кем был, уверился, что я Мутай из Чихруги, безобидный и беспомощный старик, и могу жить не озираясь.

Но не тут-то было...

Нет, уважаемые, не суждены мне были покой и радость. И когда, казалось, вот-вот улыбнется удача, все на поверку оборачивалось несчастьем. Беда настигла в позапрошлую осень в урочище со странным названьем «Кабанья Пляска».

Это небольшая каменистая лощинка, окруженная лесистыми холмами, недалеко от аула Башли в предгорье Кайтага. Здесь издавна в изобилии водятся кабаны, охотиться на которых разрешено круглый год, но редко здесь гремят выстрелы: ведь вокруг живут мусульмане. Мы перегоняли отары с гор на зимовье и вынуждены были задержаться тут на целую неделю, пока решалась наша судьба.

Погода наконец разгулялась, выглянуло солнце, но мы, три чабана, обросшие, усталые, с опухшими от бессонницы глазами, не обрадовались. Ломая пальцы, стуча кулаком о кулак, я все твердил: «Говорил же: незачем, черт возьми, идти сюда, лучше потерять день, но спуститься через Змеиные горы... Говорил! Да не послушали... Может, я ошибся? Может, старику нельзя вмешиваться в общие дела? Может, мне просто приснилось, что я, Мутай из Чихруги, существую?!»

Мои возгласы возмущения, брань, причитания оставались без ответа.

Наконец подъехал «газик». Председатель вышел мрачный, понурый, подошел к нам и опустился на камень.

— Ну, что? Говори, председатель! — воскликнул я.

— Нечем утешить. Другого выхода нет...

— Как же так?! Быть не может!

— Что поделаешь! Так решили...— председатель развел руками.— Не мог спорить.

— Неслыханно! Жестоко!

— Понимаю, но ничего не могу сделать. Все пропало! Сейчас приедут люди, чтобы исполнить приговор...

И впрямь вскоре подъехало еще несколько машин, и две из них были те, что поливают летом городские улицы.

— Вот и прибыла «техника уничтожения»! — съязвил кто-то.

— А спасти никто не подумал! — вырвалось у меня.— Неужели правда?

— Да, Мутай, да!

— Нет, нет, председатель! Это невозможно. Отмени!

— Не могу!

Председатель подозвал человека с обвисшими, как у старого зурниста, щеками и сказал:

— Проследи, чтоб ни одна овца, ни клока шерсти, ни грамма мяса не выскользнули отсюда. Иначе головой ответишь!

— За что?

— Если болезнь выскользнет отсюда, пойдешь под суд! Понял?

— Нет! Не дам уничтожать добро! Это же — наше, наш труд! — кричал я.

— Все решено!

— А я тебе верил, надеялся... Сожгите и меня вместе с ними!

Не помня себя, я выхватил кинжал.

— Приступайте!

— Нет! — завопил я и кинулся в отару с обнаженным кинжалом.— Я их зарежу. Зарежу!

Отара овец погибла... Те овцы, что были выносливее других, еще пытались искать траву, чтоб не умереть с

голоду; иные ползли на брюхе, ибо ноги их больше не держали; третьи лежали на боку, четвертые умирали... Трупный запах стоял в лощине, и тучей, галдя, кружились над ней вороны. Отара погибла не только от болезни, но и от жажды — руками воды не натаскаешь, родник далеко, а дождевые лужи — не спасение. Дохли и от голода — не прокормишь отару остатками выбитой травы, а кормов нет... Даже лохматые волкодавы, казалось, были смущены этой картиной смерти.

И в этой обреченной отаре, как изувеченный зверь, метался я с окровавленным кинжалом и резал овец, не забывая повернуть их мордой к священной Каабе.

— Напрасно это затеял, друг! — сказал мой напарник.— Может, они вправе, ведь они ученые, им виднее, как с нами поступить...

— Не с вами, а с отарой,— возразил человек в очках, которому поручили составить подробный акт и который как раз расспрашивал чабанов.

— Приступайте! — крикнул председатель.— Зуб вырывают, а не тянут...

— А как же его?! — удрученный инспектор кивнул на меня.

— Успокойте и уведите.

— Как?

— Ну, заарканьте и свяжите!

— Это не входит в наши обязанности,— сказал инспектор и сжал пальцами нижнюю губу.

— А в мои обязанности входит?! — возмутился председатель и, видя, что никто не решается подойти ко мне, подошел сам.— Дядя Мутай, все равно, зарежешь ты их или нет, ничего не спасешь...

— Не хочу понимать! Ты обманул мои надежды...

— Нет, дядя Мутай, не надо осуждать меня. Пойдем отсюда.

— Не подходи. Не пойду.

— Брось, дядя Мутай!

— Отмени решение, председатель.

— Да ты пойми: нельзя из-за сотни овец рисковать тысячами. Лучше потерять палец, чем руку.

— Не подходи, убью! — я был взбешен.

— Не убьешь! — вдруг рявкнул председатель.— Не дури, старик! И без тебя тошно.

Наверное, почтенный Алибек, ты подумал тогда, что я потрясен потерей своих личных овец, которые были в той же обреченной отаре. Но честно скажу: тогда колхозное добро стало и моим кровным, до боли сердца было жаль и его, и своего труда.

Мой кинжал со звоном упал на камень, я схватился за голову, застонал, затрясся. «Не надо, дядя Мутай! — ласково сказал ты.— Пойдем отсюда. Пойдем!» И я побрел, переступая через камни и трупы овец.

И тут послышались голоса:

— Смотрите, смотрите! Что это?! Что они делают? Да это ж свиньи!

На опушке леса стадо диких кабанов затеяло неистовую пляску: подпрыгивали, кружились, словно котенок, когда ловит свой хвост, падали, поднимались, визжали, хрюкали, не обращая внимания на людей и даже на собак. Зоркий глаз ветеринара сразу заметил, что это не приступ непонятного веселья, а пляска смерти, что кабанов поразил тот же недуг.

— Проклятье! — сказал ты, Алибек.— Вот откуда взялась эта зараза.

— Не зря предки так назвали эту лощину.

— Расставьте людей по всем холмам, не пускайте сюда ни людей, ни животных. Установите строгий карантин. А здесь, если необходимо, жгите и лес со всеми его обитателями!

Ты, Алибек, сел в машину и уехал.

Разве я мог остаться и глядеть, как гибнут беззащитные овцы? Взял свои хурджины, выбросил из них все молочное, перекинул через плечо и побрел восвояси. И только на высоком перевале оглянулся и увидел, как в лощине Кабанья Пляска заполыхало пламя, пожирая все живое и растущее.

С колхозной отарой погибли и мои тридцать с лишним овец. И если колхоз все-таки получит страховку, то я не получу ни гроша: ведь личных овец нельзя держать в колхозной отаре. Даже пожаловаться на потерю можно только жене, да и то наедине...

Словно нарочно вернула меня судьба с полдороги к зимовке в аул, чтоб столкнуть здесь с другой бедой, пострашнее...

Осень в горах — пора свадеб, когда сельсоветы разбирают споры молодых — кому в среду, а кому в четверг ударить в барабаны. Желающих много, а эти дни издревле почитаются счастливыми. Поэтому сельсовет составляет списки, и очередь соблюдается неукоснительно, с той суровостью, с какой горцы соблюдают общественные интересы. Нарушить очередь может лишь несчастный случай в ауле, ибо, уважая горе соседа, горец не может ни бить в барабан, ни дуть в зурну.

Особенную свадьбу справили в ту осень родители моего молодого друга Сурхая. Что ж в ней особенного, спросите вы. Да уже хотя бы то, что молодой врач женился тоже на враче, человеке с высшим образованием; радовался весь аул, да еще понаехали из других аулов гости; жених — сын простого чабана, такого, как и я, а невеста — дочь бухгалтера. Столы ломились от угощений, вино лилось рекой, но народ собрался не просто разделить трапезу и наполнить пустые желудки, как бывало прежде, а порадоваться, пожелать молодым от всего сердца дюжину детей, крепкого здоровья, веселья и счастья. Три дня играла лихая музыка. Давно я не видел столько крепких, нарядных парней и девушек! Правда, я редко бывал на людях, но в этот раз мне захотелось утопить свое несчастье во хмелю. С завистью смотрел я на лихих, задорных парней, что высекали искры каблуками. И как изменились люди, раньше даже молодые были хилыми, обиженными судьбой и болезнями, подслеповатыми, кривыми, горбатыми, хромыми, даже девушки прежде казались старушками. То косоглазые, про которых говорят: «один глаз — в горы, другой — в море», в мешковатых платьях; сколько раз только в брачную ночь обнаруживал молодой, что у жены одна нога короче другой, голова изъедена паршой и лысеет, то почти нет груди...

Жизнь для молодоженов становилась тогда невыносимой, и один из них уходил из жизни, чтоб не быть бременем другому... Ведь тогда редко женились по любви. Это высокое чувство возникало разве у одного из тысячи...

Впервые за долгие годы мне, старику, пришлось выйти танцевать на свадьбе Сурхая. Был я во хмелю и, танцуя, вспомнил, как приглашала меня танцевать на

свадьбе в Губдене младшая дочь Али-Султана... Да, да, Амина!

И тут в круг танцующих вошел какой-то незнакомый гость, не моих лет, а моложе — примерно в ваших годах. Был он навеселе и, подойдя ко мне, чтоб я уступил место, и, как обычно склонив голову и заломив папаху, вдруг внятно произнес:

— Хватит, сын князя Уцуми, а то надорвешься!

Оглушенный, растерянный, остановился с поднятыми в танце руками, челюсть отвисла, кровь прилила к лицу, глаза расширились. Я взглянул на этого человека и почувствовал, что он заметил мое замешательство.

Уронив руки, медленно выбрался из круга. «Бежать, скрыться немедленно!» — мелькнуло в голове, но тут же перебила другая мысль: «Наверное, ослышался. Он молод; значит, мог знать меня только Мутаем из Чихруги...»

Нет, я не скрылся, не убежал, а сел в кругу на ковре, скрестив ноги и притворяясь хмельным; исподтишка поглядывал на незнакомца, что, заломив каракулевую высокую папаху, кружился в танце с той краснощекой девушкой, которая прежде пригласила танцевать меня.

— А лихо пляшет! — сказал про него соседу.

— Они все лихие танцоры,— отозвался сосед.

— Кто?

— Да ираклинцы...

— Слышал, слышал... А как его зовут?

— Это же Курт-Хасан,— коротко ответил сосед, усердно хлопая в ладоши.— Давай, Курт-Хасан! Давай! Хайт! Покажи мугринцам, почем фунт хурмы.

Я брал с деревянного блюда горячие курзе — горские пельмени — и ел, не понимая вкуса.

— А где он живет?

— Кто?! — удивился сосед.— А-а, заинтересовался Курт-Хасаном?

— Да нет... Просто такому танцору надо бы в наши горские ансамбли, что разъезжают по всему свету...

— Туда его не возьмут.

— Почему?

— Ну, во-первых, он не так уж молод... Ты говоришь о нашей «Лезгинке»?

— Да, да, знаменитой «Лезгинке».

— А во-вторых...— сосед не договорил: ираклинец закончил танец, поклонился девушке и под одобрительные возгласы подошел ко мне; тут не было свободного места, но как раз девушка пригласила танцевать моего соседа, и усталый ираклинец опустился на ковер рядом со мной.

— Здорово танцуете! — сказал я и предложил бокал вина, что шел по кругу.

— Не та уже легкость, старик,— ответил ираклинец и осушил бокал.— Эх, таким ли я был в двадцать лет!

— В двадцать лет и Мутай из Чихруги так плясал, что будь здоров! — сказал я, испытующе глядя на него. Но в лице ираклинца не отразилось ничего.

«Наверное, тогда я просто ослышался! Нервы, должно быть, расшатались...» — подумал было я, успокаиваясь.

— Да, слышал, слышал о Мутае из Чихруги. Лихой был парень! — вдруг проговорил ираклинец и поверг меня в полное замешательство.

Тут вывели невесту, и все, по обычаю, поднялись, чтобы проводить ее в саклю жениха. Вышли девушки с медными подносами, на которых запечен свадебный мед с орехами, и стали оделять всех присутствующих, чтоб каждый испытал сладость меда, запеченного, по обычаю, невестой. Люди стеснились, смешались, и я больше не видел того ираклинца. Казалось, он и появился для того, чтоб сказать мне: «Берегись!» Наутро гости разъехались кто на коне, кто на мотоцикле, которых ныне в горах стало больше, чем ишаков, кто в машине...

Как видите, всю жизнь меня преследовал злой рок.

4

Что это?! Уж не петухи ли горланят на дворе? Прежде будили меня для труда и радости жить... А теперь предвещают смерть. Успеть бы мне досказать...

Кажется, это еще не третьи петухи и есть еще время до рассвета?

Что-то холодно становится, озноб в теле, будто кровь застыла и сердце устало. И дышать что-то стало труднее. Зулейха, добрая моя подружка, дай-ка еще одно одеяло...

Нет, нет, лучше укрой буркой, в ней всегда было тепло. Пусть погреет и напоследок...

Только не надо, прошу тебя, слез, всхлипываний. Постыдись почтенных людей. Дело сделано, карта бита.

Поправь на спине. Вот так! Спасибо. И сядь поближе. Рядышком.

Легко можете представить, почтенные, что после свадьбы Сурхая ко мне и сон не шел и наяву я жил, как во сне. Не страх, а какое-то иное, необъяснимое чувство тревоги. Не замечал ни улыбок природы, ни людской радости, на слова встречных отвечал невпопад, меня провожали недоуменными взглядами.

Разговаривать не хотелось, а сидеть дома не мог, нервничал, ругался, стал сам с собой говорить вслух, и бедная моя Зулейха совсем было перепугалась, решила, что я рехнулся. Уж и сам, одолеваемый недобрыми мыслями, стал сомневаться: не наступает ли безумие?! Был похож на зверя в охваченном пожаром лесу.

Достал старый свой наган, замурованный в стене. Холодная сталь будто обожгла руку: хотел почистить, но вдруг заметил, что затряслись руки, пальцы запрыгали, как хвост подстреленного зайца... В зеркале увидел чужое бледное лицо, показалось, что оно сказало: «Что задумал, безумец? Разве не хватит тебе проливать кровь? Брось...» Я вскочил, стараясь стряхнуть наваждение, и рухнул на пол. Знаете, как бывает во сне: летишь, как птица, в солнечном голубом небе и вдруг падаешь камнем в черную пропасть...

Очнулся. Вижу, сидит у изголовья, вот как сейчас, Зулейха и плачет, приговаривая:

— Как мог решиться? Что сказали бы люди? Будто жизнь тебе надоела... Хоть бы о нас подумал, не обо мне, так о дочери...

— Что, мне было плохо? — спрашиваю

— Только о себе и думаешь! Не знаю, как тебе было. А вот мне стало страшно...

— У меня было оружие. Где оно?

— Ничего не знаю. Не видела! — Зулейха не умела врать и, наверное, поэтому никогда прежде не лгала.

— Не говори глупостей! Где оно?

— Я ж говорю: не видела! — всхлипнула Зулейха.

— К нам кто-нибудь приходил? — вдруг скользнула змеей недобрая мысль.

— Никого не было. А пришли б, не пустила бы. Чтоб не увидели такого позора!

— Значит, ты взяла...— облегченно вздохнул я.— Где ж оно? Оно чужое, надо отдать...

Теперь врал и я.

— Не дам. Не знаю!

— Где оно?

— Выбросила. В озеро. Незачем это зло держать дома.

— Ты врешь!

— Нет, говорю правду. Выбросила. И больше не спрашивай! Хотел меня одну оставить? Хотел уйти? Зачем? Что я тебе сделала плохого? Обо мне подумал? О дочери подумал? Хоть ради нас должен был бы выкинуть эту дурь из головы! Тебе тяжко? Отчего? Ну, скажи! Хочу знать, что это тебя грызет и гложет? Что тебя беспокоит?

Как я мог тогда ей ответить?!

И хотя тревога не улеглась, после того случая старался держать себя в руках.

А вскоре решил, по давнему обыкновению своему, пойти навстречу опасности: поехать в аул Иракли и там разузнать о Курт-Хасане. Через хребет Чака пешком добрался до Иракли, что лежит в долине меж зубчатых гор. И здесь у самого аула меня догнала старуха. Она везла на маленькой арбе с автомобильными колесами, запряженной ишаком, какую-то коробку с надписью «не кантовать!».

— Простите, вы из этого аула?

— Я?! Нет, совсем из другого. Это в молодости меня похитил один ираклинец, и вот...

— Вы давно живете в Иракли?

— Да как тебе сказать... Разве мои братья могли снести такое оскорбление? Братья не знали, что ираклинец умыкнул меня с моего согласия, а то убили бы меня, а не его... Похоронила своего любимого ираклинца... Какой был танцор! Если б в голове у него было столько же силы и проворства, как в ногах,— быть бы ему Лук-

маном[1]. Похоронила любимого и с горя стала петь-причитать, и вскоре прорезался у меня такой голос, что люди восхитились, и я сделалась певицей...

Ее потухшие глаза вдруг заблестели.

— Вы можете ответить на вопрос?

— Могу, могу. Почему бы не ответить доброму человеку?! О чем ты спрашивал?

— Давно ли живете в этом ауле? — повторил я, стараясь не глядеть на старуху; меня мучила горькая мысль: зачем доживать до такой дряхлости? Разве мало пропастей в горах? Разве трудно захлебнуться в горной реке?

— Я же об этом и говорю! Зачем же перебил? Нехорошо! Я ж говорю: с тех пор стала певицей, и меня не только в Иракли, но и в других аулах стали приглашать и на свадьбы, и так — на добрый случай. И в ауле Зубанчи, когда я спела свою любимую песню «О, где ж ты, мой храбрый?!», меня прямо со свадьбы похитил один джигит и умчал в далекие Цудахарские горы... Как он меня любил! Дарил и хорасанские платки, и шемахинские шелка, и кубачинские серьги, и бухарские кафтаны, и грузинские чувяки... Но в одной стычке он погиб и...

— И вы запели пуще прежнего!

Признаться, я рассердился. Но старуха вцепилась в полу моего пиджака.

— Постой, ты же спрашиваешь: давно ли я в этом ауле! Так слушай... Вот, значит, на цудахарском базаре встретился молодой, красивый ираклинец,— ну вылитый Камалул-Башир[2]. Конечно, я моргнула ему... О, тогда я умела одним взглядом свести с ума! Он решил, что меня надо похитить и вернуть сюда, что и совершил, хотя преследовали нас все цудахарцы, чтоб вырвать меня из его объятий... И, только приехав сюда, я узнала, что это — младший брат моего первого мужа...

— И с тех пор вы живете здесь?

— О, добрый человек! Слушай, что было дальше... Из-за кровной мести в этот аул бежал амузгинец Актерек, прозванный так из-за очень высокого роста. И я так

---

[1] Лукман — знаменитый врач, ученый древности.

[2] Камалул-Башир — сказочный красавец из народных легенд.

влюбилась в Актерека, что он вскоре избавил меня от ираклинца. А возмущенное общество Иракли выгнало нас из аула, и мы оказались в Табасаране. Сильный человек был Актерек, но от укуса комара умер... Тогда...

— О вас стали говорить как о мужеубийце! — возмутился наконец я.

— Что, что? Глуховата стала, недослышу... А в молодые годы такой острый был слух, что в шуме реки на дне ущелья различала всплеск форели... Вот тогда, значит, я и пришла с покаянием в этот аул и с тех пор...

— Живете здесь?

— Да. Но только не подумай, что Актерек был последним моим мужем! Я еще помню Хабиба, Наби, Шапи...

— И все умирали?!

— Конечно, не я же отправляла их в хурджин Азраила! А последним мужем был у меня Курт-Хасан. Не помню, откуда родом, только очень плохо говорил по-нашему: будто рот набит орехами...

Вот когда я насторожился!

— Бывало, выпьет Курт-Хасан, выйдет на улицу — и все прячутся по домам... От него я и родила ребенка. Мою дочь...

— А где сейчас Курт-Хасан?

— Ты это о моем муже?

— Да.

— Умер.

— Как умер?!

— Очень просто, как и все. Хотя нет, не просто! Не раз обещал почтенным людям не пить, но все не мог удержаться и, наконец, рассердился, крикнул: «Если мой живот не может обойтись без вина, то я могу его проучить!» И вонзил кинжал себе в живот...

— А когда это было?

— О, давно было! Тогда в нашем ауле стояли турки в зеленых фесках. Очень любили они петь: «Ахшам булду, лампа янды»... Значит, «вечер настал, лампа зажглась».

— А есть в ауле еще человек, которого зовут Курт-Хасан?

— Есть. Сын моей единственной дочери.

— Сколько ему лет?

— Хочешь сказать: когда он родился? Как сейчас помню, дочь, рожая, сильно кричала, и, чтоб не слышать ее воплей, сосед Канна стрелял из ружья и выбил глаз муэдзину, что с минарета призывал правоверных к вечернему намазу...

— Но когда это было? Сколько лет назад?

— Я же говорю, когда наш сосед Канна...

— Хорошо, хорошо! — Я вытер пот со лба.— А кем он работает?

— Кто?

— Ну, ваш внук Курт-Хасан?

— Ты лучше спроси, кем он не работал? Вот только на луну не летал, а все остальное делал и дома, и когда был там...

— Где?

— Ну, что тебе надо от него?! — Мышиные глазки старухи вдруг с подозрением меня оглядели.— Все равно не скажу худого о моем внуке! Ишь какой любопытный... Хочешь выпытать, сколько лет он был в Сибири и что там делал, да?

— Я ж об этом не спрашиваю.

— Хоть и спросишь, все равно не скажу.

— А за что его посадили?

— Ни за что ни про что. Никого не убивал, никого не грабил, тихо-мирно жил в лесу...

И тут молнией блеснула догадка: наверное, он из тех, что были в Апраку с Казанби, а потом сдались Омару!

— Он сейчас дома?

— Откуда мне знать, где он! Не видишь: из района возвращаюсь...

— Что купили?

— Телевизор купила, вот что! У всех есть, а мы что, хуже других, что ли?! Или глаз у нас нету, чтоб смотреть на игру чертей? Ишь какой нашелся!

— Зачем же сердиться?!

— Как не сердиться, если битый час торчу посреди дороги из-за твоей болтовни! Ох, и развелось же болтунов на свете!

И старуха заковыляла за своей арбой дальше.

А я забрел на птицеферму, что была невдалеке, и

спросил, где может быть Курт-Хасан, «мой дальний родственник»? Мне ответили, что он не работает в ауле, а вон за той скалистой горой укрепляет железные опоры и тянет провода для высоковольтной линии.

Нелегко старику тащиться в такую даль, но я не мог успокоиться: то ли инстинкт самозащиты, то ли слепой страх гнал меня, невзирая на усталость. Я должен был взглянуть в глаза опасности!

Еще не сгустились сумерки в ущелье, когда перевалил ту скалистую гору и, будто случайный путник, прошел мимо, делая вид, что не замечаю и не интересуюсь им. Да, это был он. Со своим напарником в таких же ремнях с цепями, как у всех верхолазов, он укреплял на железных опорах какие-то фарфоровые чашечки. Его напарник, белобрысый русский парень, крикнул сверху:

— Эй, прохожий! Счастливого тебе пути! А нам, будь добр, оставь пару сигарет: положи, пожалуйста, вон на тот камень...

— Очень жалею, добрый человек: нету у меня сигарет. Не курю. Простите!

А сам подумал: но почему же я не курю?!

— Курящему от некурящего столько ж пользы, сколько шерсти на курином яйце! — проворчал Курт-Хасан.

И я ушел обратно в аул Мугри. А по дороге, в темноте, сорвался с узкой тропинки и упал, разбился! Меня нашли добрые люди, вызвали «скорую помощь», и врач Сурхай оперировал меня прямо на перевале Хабкай при свете фар больничной машины. До той поры я не верил ни лекарствам, ни хирургическому ножу, а врачей, выражаясь по-дореволюционному, считал «поставщиками кладбища ее величества смерти»... После случая на перевале Хабкай пролежал дома недели три и все время, признаться, ожидал, что вот-вот откроется дверь, войдут некие люди и скажут: «Эльдар сын князя Уцуми, именем закона...»

К моему удивлению, не вошел никто, кроме тебя, дорогой Сурхай.

«Неужели он еще не сообщил?! — думал я в удивлении.— Может, был занят срочной работой? Впрочем, зачем спешить, если жертва в твоих когтях и не может ни взлететь в небо, ни зарыться в землю... Отчего не позабавиться, как с пойманной мышью!»

5

Между тем, пока меня обуревали такие тревоги, наступил день, которого мы с Зулейхой так напряженно ждали: Эльмира с отличием защитила дипломную работу, о чем даже напечатали в газете. И темой моя Эльмира избрала, оказывается, поэзию певца Халила из Кайтага! Да, да, да,— того самого певца-импровизатора, чьи песни могли взволновать даже бесчувственный камень. Того самого Халила, что был ослеплен, а затем и отравлен за песни о моей матери. О судьбе певца моя дочь писала с такой болью и страстью, словно сама была очевидцем событий... Оказывается, ничто не забывает народ! И я получил невольную оплеуху от собственной дочери. О судьба человеческая! Воистину не знаешь, где утонешь, а где вынырнешь.

Домой вернулась Эльмира такой округлившейся и похорошевшей, что нас разом обуяли и гордость и тревога. Не скажу, что она стала первой красавицей аула, но новый, молодой Халил мог бы и ее воспеть, как мою мать. И не только воспеть, но и отдать за нее жизнь. Будто подменили нашу дочь: стала такой жизнерадостной, ликующей. Только одно оставалось непонятным: от кого у нее эта возбужденная увлеченность жизнью, ведь ни я, ни Зулейха не отличались большой веселостью.

Мы встретили дочь как подобает. Я старался не выдать своего состояния, чтоб не омрачить ее, будто светящегося изнутри, личика. Вот в этой самой комнате собрались все ее подруги—и те, что вместе учились, и те, что рано повыходили замуж и занялись работой в колхозе. До поздней ночи щебетали они здесь; показалось, будто весна со всеми ее радостями, с гомоном голосистых птиц, с яркими цветами, что цвели на платьях и косынках, заглянула в нашу молчаливую саклю. И среди десятков молодых голосов я уже через полчаса безошибочно узнавал такой нежный, бархатистый смех своей дочери...

А когда разошлись подруги, Эльмира весело закружилась по комнате, обняла мать и так поглядела на меня, что пришлось улыбнуться, хотя совсем отвык смеяться. Но девочка ничего не заметила.

— Вот я и дома! — воскликнула она.— А вы у меня

такие хорошие, и совсем не изменились, ни чуточки не постарели, все такие же влюбленные...

Она будто песню пела. Уж не знаю, откуда взяла Эльмира, что мы «все такие же влюбленные»! Наверное, весь мир казался ей необычным, прекрасным, полным чудес и сказок... Иллюзии, что цветут недолго, как после дождя полукруг ярких цветных полос, прозванный радугой.

Из своего чемодана, необыкновенного, заграничного, из крокодиловой кожи чемодана, дочь вынула и подарила мне пушистый свитер, сказав:

— Это тебе, папочка! Чтоб не зяб...

И поцеловала старика. Признаться, чуть я не прослезился. Ну, откуда у них, современных девушек, эта доброта, ласка, чистосердечие? К горлу подступил комок восторга, даже не смог сказать «баркала». Дочь заметила и встревожилась:

— Что с тобой, папочка?! Я хотела получше, да денег не хватило...

— Да я не о том, доченька. Просто радуюсь, что ты такая славная... Прости, в день твоего рождения я, кажется, жалел, что родился не сын!

— Это ничего, папочка! Все почему-то любят только сыновей.

Матери она подарила неяркое темно-зеленое платье в темную полоску.

— А это, мамочка, тебе. Я же знаю, что ты любишь зеленый цвет.

— Спасибо, дочка! Спасибо, родная! — Зулейха обняла дочь и прослезилась.

— Ну что это: сделались сразу грустными?! Что с вами? А то и я сейчас заплачу... Что это вы, в самом деле! Будто не я вернулась, а привезли мой гроб...

— Что ты говоришь, дочка! Да отсохнет язык у того, кто желает тебе дурного,— запротестовала Зулейха и, тут же скинув старое платье, надела новое, и вдруг показалось, будто она помолодела и такой я впервые увидел ее в Апраку. Как мало нужно человеку, чтоб расцвести! Лишь немного ласки и уважения...

Ну конечно, я не смог удержаться: надел подаренный свитер. Эльмира даже запрыгала, закричала:

— Папочка, ой как тебе идет! Знаешь, на кого ты те-

перь похож? Ты похож на тренера нашей футбольной команды...

Бесконечно далекие слова — «тренер», «футбол», подумалось мне.

До поздней ночи дочь рассказывала разные городские истории, повествовала о том, как ездили всем курсом собирать урожай персиков в Хаджал-Махи и виноград в Таркама и Геджухе. («Эх, девочка!— подумалось.—Знала бы ты, чьи это были земли». Но другая мысль перебила: «Хорошо, что не знаешь. Для тебя вся земля народная, ваша, общая...») Рассказала, как хорошо отозвались профессора о ее работе, даже советовали поступать в аспирантуру.

— А это еще что такое «аш-пир-анд-ур»? — насторожилась мать.— Не нравится мне такое слово! Наверное, тяжелая работа... Нечего слушать чужих советов: у тебя есть отец и мать: могут, кажется, посоветовать дочери...

Долго и мило смеялась девочка, объясняя матери, что такое аспирантура. А потом обратилась ко мне, видимо решившись наконец сказать:

— У меня, папочка, очень-очень большая радость...

— И ты для нас большая радость, доченька...

Я провел рукой по мягким черным волосам, потрепал тугие косы.

— У меня другая радость...

— Какая?

— Скажу. Только защити, если мама станет осуждать.

— Разве ты совершила достойное осуждения?!

— Нет, отец.

— Так что же это за радость?

— Я люблю, отец! Люблю! Ой, прошу, не делайте удивленных лиц... И не обижайтесь на меня. Я не могла сказать вам, потому что... потому что... Вы сами знаете почему! Вот видите, а готовы осуждать меня, хоть и не знаете, кто он, этот человек...

— Нет, нет, доченька! Никто тебя не осуждает. Но это так неожиданно...

Да, это было неожиданно. Хотя, здраво рассуждая, нетрудно было б догадаться, что такая привлекательная девушка не останется незамеченной...

— Прежде чем влюбиться, доченька, ты должна была спросить нас! — сказала мать.

— Разве я знала, мама, что так получится?! Только не обижайтесь. А то я подумаю, что вы не любите свою дочку...

И Эльмира опустилась на пол, положила голову мне на колени.

— Не подумаешь, дочка. Знаешь, что очень любим тебя... А кто он?

— Он, папочка, такой непослушный, такой вредный! — Она притворилась рассерженной.— Обещал приехать со мной, я из-за этого задержалась в городе...

— И не приехал?

— Не приехал.

— А может, обманывает тебя, доченька? Ты ж такая доверчивая...

— Нет, нет, папочка! Что ты?! Он не может обманывать.

— Почему же не приехал? Может быть, совесть у него нечиста?

Понимаете, почтенные, как прозвучали эти слова для меня самого!

— Он не мог. Вызвали в Москву. Но к концу недели, к обеду, обязательно будет здесь.

— А чем он занимается?

— Он архитектор, папочка... Я вижу, мама удивлена непонятным словом. Это, мама, человек, который проектирует — ну, рисует на бумаге — новые дома, здания. Ты видел, папочка, университетский корпус на улице Советской?

— С высокими колоннами, с гранитной лестницей?

— Да, да! Это он проектировал. И новый театр... Помнишь, мы с тобой гуляли по набережной и я показывала: большое здание, похожее на орла, который собирается взлететь...

— Тоже он строил?

— Да, строили по его проекту.

— А сколько ему лет? — вмешалась мать; видно, испугалась, не старик ли, если так много построил.

— Он на четыре года старше меня.

— Как раз по горскому обычаю! Хорошо, доченька... Надеюсь, слова любви вы шептали на родном языке?

— Да, отец, он даргинец. Не скажу, что очень уж красивый. Но бывший борец и гимнаст. Стройный, высокий... Вот приедет, сами увидите, что ваша дочь не ошиблась.

— Ну что ты, доченька! Была бы ты счастлива. В добрый час!

— Папочка! Какой ты у меня хороший... Спасибо, папочка! Скажи и маме: почему она не говорит «в добрый час»?!

— Я рада за тебя, дочка! — Зулейха смахнула слезу.— Только не думала, не гадала, что вдруг сразу привалит столько счастья. Люби, доченька, люби: великое это счастье — любить!

— Ой, а я-то боялась! Вы такие добрые, такие хорошие!

И снова стала прыгать, смеяться, радоваться, как маленькая, как одержимая. Вытащила из чемодана еще бутылку французского коньяка, вот ту, что сегодня мы выпили, и бутылку доброго геджухского вина, которую я распил тогда с дочерью: Зулейха никогда и в рот не брала этого зелья. И смеялись мы, и прослезились от радости в ту ночь.

А когда легли, долго не мог заснуть; даже не помню, спал ли вообще. Радость дочери, ее ласка, внимание не рассеяли тревогу. Нет, еще острее почувствовал я опасность разоблачения. Ради счастья дочери не мог я допустить, чтоб на мою семью показывали пальцами и сплетничали. Что ж делать? О, как все было б спокойно, если б не проклятый Курт-Хасан! Откуда он взялся? Что делать? Покончить с собой? Разве этим избавишь семью от позора? Глупо! А может, не такой уж злой человек Курт-Хасан? Какая ему польза губить уже безвредного и беспомощного старика? Нет, надо увидеться с ним, поговорить с глазу на глаз... И утром, сказав, что должен проведать давнего своего друга, я вышел из аула еще до солнца. В бодрой свежести рассвета долго ощущал я терпкий запах сена и кизячного дыма. Чем дальше уходил, тем свежее и светлее делалось вокруг. Шагая один по дороге, извилистой, как моя жизнь, я обдумывал предстоящую беседу с Курт-Хасаном.

Особенно приятным представлялось мне наше с ним расставание: ударили по рукам, он поклялся мужской

честью, что схоронит под каменной плитой все ему известное, никогда больше ее не сдвинет и все позабудет. И будто бы приходит ко мне пробуждение от тяжелого сна-кошмара и вновь увидел мир во всей необычности, простоте и ясности и, главное, спокойствии. Великая это радость — быть спокойным! А спокойным может быть лишь тот, у кого совесть чиста, нет двойного дна, чужой шкуры, притворства и вечной тревоги: не сползла ли где-нибудь чужая шкура и не открылась ли твоя собственная?! Размечтался, мне уже представлялось, будто, возвращаясь от Курт-Хасана, уже не прячу глаза, не отворачиваюсь, а каждому встречному пожимаю руку и желаю счастливого пути и все отвечают с радушием: «И тебе, старик, доброго пути!»

Мечты, мечты! Жалкие старческие мечты о покое...
К вечеру перевалил через скалистую гору, что нависает над аулом Иракли, и по аробной дороге добрался до одинокой палатки в невысоком кустарнике. На железных опорах теперь уже висели толстые провода; все это напоминало гигантский музыкальный инструмент. Видимо, сегодня верхолазы уже закончили работу.

Я подошел к палатке. На камне была разложена нехитрая трапеза: куски вареного мяса, горской брынзы, разломанного руками хлеба, пустая бутылка водки и полный кувшин с водой. На походном алюминиевом стуле сидел Курт-Хасан и с великим наслаждением курил сигарету в самодельном длинном мундштуке.

— Ассаламу-алейкум!

— Ба, кого я вижу?! Сам князь пожаловал! — обернулся ко мне Курт-Хасан.— Садись, угощайся! А выпивки — баакку — нет... Куда путь держим по старой заброшенной дороге?

— К тебе...— сказал я, подсаживаясь.— Ты что ж, один остался сегодня?

— Все отправились в район. Там, говорят, хорошее будет кино. А я вот остался здесь сторожить.

— А чего здесь сторожить?! Эти железки,— я кивнул на железные опоры,— унесут, что ли?

— Нет. Сторожу, чтоб такие вот старички не запутались в проводах. Ко мне, значит, пришел? Слышал, слышал, что мной интересуешься...

— Скажи, добрый Курт-Хасан, откуда ты взял, что я сын князя Уцуми, а не Мутай из Чихруги?

И я постарался улыбнуться, но чувствовал, что вместо улыбки вышел волчий оскал.

— Знаю! — ехидно улыбнулся ираклинец.

— От кого?!

— От тебя. Сам же только что сказал! — засмеялся Курт-Хасан. И будто громом меня оглушило.

— Хочешь сказать, что прежде не знал?

Горькая обида жгла сердце: «Неужели сам выдал себя?!»

— Прежде не был уверен. А теперь убедился!

— Но ты же на свадьбе в Мугри ко мне, Мутаю из Чихруги, обратился, как к сыну князя?!

— Э, то было просто предположение, догадка... Вспомнилось, как ты зачастил в Апраку к Хажи-Ражабу и Казанби. Сперва знал тебя как Мутая из Чихруги, а потом ребята стали поговаривать, что ты не медный пятак, а золотой, что ты Эльдар сын князя Уцуми... Вот на свадьбе в Мугри я и пошутил ради забавы: посмотреть, как отзовешься. Но мало ли отчего может удивиться человек! Да и как не удивиться, если тебя назвали князем, а ты колхозник... Ну, и позабыл я об этом случае. И вдруг в ауле говорят, что ты мной интересуешься. «Эге-ге! — думаю.— Видно, попал в самое яблочко».

— Почему же до сих пор не донес, не сообщил?

— Есть русская пословица, старче: семь раз отмерь, один раз отрежь. Не было уверенности. Но ты пришел и сам признался.

Бледнел я и краснел от жгучей досады. Прямо папаха на мне загорелась. О, как проклинал себя в эти минуты, да и после...

— Ну что ж, будешь рад донести на старика?

— Старик не старик, а все из чужого стада собака!

И он прищурил левый глаз, будто целился из ружья.

— И где ты научился так уважать седины?

Вдруг лицо Курт-Хасана исказилось, он бросил недокуренную сигарету вместе с мундштуком.

— Где, спрашиваешь? Там, далеко, где от мороза падают птицы, где выйдешь по нужде и моча замерзает сосулькой. И за что? Я спрашиваю, за что потерял я лучшие годы? Знаешь, из-за чего? Из-за того, что был идио-

том, поверил вот таким, как ты, скорпионам, вернее, тараканам, выползающим во мраке... Выползающим, чтобы врать о «друзьях справедливости» и совершать жесточайшие несправедливости, насилия, убийства. Чтобы плакать о «лишенных свободы» и лишать свободы других людей. Лицемеры, ханжи, обманщики, а на деле прислужники фашистов, сопливые помощники коричневых палачей... О, как я проклинал вас! Если б эти проклятия сбылись, не только от вас, от всего вашего потомства не осталось бы и потного места. А ты требуешь от меня уважения к сединам! Нет, нет вам уважения! Не дождетесь.

— Думал, ты нормальный, уравновешенный человек и можешь говорить по-людски...

Я старался сдержаться, не дразнить Курт-Хасана.

— Хотел бы убаюкать меня? А может, князь готов повесить на мой язык золотую гирю?

— Откуда взять золото?! И у отца не было...

— Врешь, князь!

— Князья тоже бывали разные. Отары овец, земля — это все же не золото. Не знаю, поверишь ли, но сейчас простой чабан состоятельнее тогдашнего князя в Дагестане.

— Брось прибедняться, князь! Много о тебе знаю: что был белым офицером, убивал большевиков, в тяжелые для народа дни распространял враждебные листовки...

— Думаешь, хорошо заплатят?

— Мне ничего не нужно. Сам заработаю на хлеб с водкой.

— Ну что ж, выдай.

— И сегодня ж... Вон стоит мой мотоцикл! Видишь?

— Думаешь, поверят? Да, кажется, ты уже пытался оговаривать, когда сдался в Апраку...

— Теперь люди стали умнее, князь. Теперь поверят...

Он сплюнул, но как будто призадумался.

— Погляди, Курт-Хасан! — я снял папаху.— Пред тобой беспомощный и безвредный старик. У меня жена, дочь, славная девушка, только что вернулась домой веселая, радостная, окончив университет. Они ничего не знают. Ради них живу. Ради них прошу...

— У тебя есть жена?

— Да.
— И дочь?
— Да, Курт-Хасан.
— А у меня никого нет, никого!
— Но я-то при чем? Где тут моя вина?!
— Ах, еще не понял? Я же говорю: если б не такие вот слезливые убийцы, сентиментальные палачи, лгуны, совращающие доверчивых юнцов враньем, в которое сами не верят и никогда не верили, если б не такие предатели и трусы...
— Ты не можешь называть меня трусом!
— А кто же ты?! Ха-ха-ха! — он трубно расхохотался.— «Свобода личности! Справедливость! Демократизация!» Да, вы мастера вывешивать на двери бараньи головы, а в лавке продавать собачье мясо... Фальшивомонетчики! Золотые мечты человечества подменяете потертыми медяками... Каким я был безмозглым ослом, когда поверил! «За честь и славу Дагестана»! Ха-ха-ха! Нацизм — вот ваша свобода! Дави, души, убивай из-за угла — вот ваша демократия.
— Курт-Хасан...
— Уже сорок пять лет я Курт-Хасан... Это не твои ли друзья, князь, вещают «голосом свободы»? «Дорогой слушатель, как ты думаешь, что такое свобода?» О, я теперь знаю: свобода — это чистая совесть, свобода — это смело смотреть в лицо своим соотечественникам, это радоваться своему труду и радовать других, это родная земля, даже если на ней и не все еще в порядке, но для того ты и родился, чтобы сделать ее краше, лучше... Понятно?
— Все понятно. Но послушай, уважь седину...
— Стыдно! Птицы и те умнее, они не поют на чужбине, они поют там, где родились и научились летать...
Что я мог ответить? Я хорошо помнил свою благодарственную молитву аллаху, когда благодарил в слезах, что он не внял, пренебрег упованиями Эльдара... Мог ли возражать Курт-Хасану? Даже он раньше меня понял истину...
Но все же улучил момент и перебил:
— Можешь ты внять словам человека, который просит о единственном одолжении: забудь все!
— Я ничего и не знал, ха-ха-ха! Ты сам все рассказал

со страху... Нет, старик, камень умеет молчать, а я не умею. Разговор исчерпан.

Курт-Хасан поднял мундштук, вставил новую сигарету, закурил.

— А если дам золото?! — вдруг спросил я, хотя золота и вправду не было.

— Золото?! — усмехнулся ираклинец и, словно скрывая улыбку, прикрыл ладонью подбородок.

— Да.

— А сколько дашь, князь? Да-авненько мечтаю приобрести машину.— Глаза ираклинца сверкнули.— Не швейную, конечно! Водить умею, на тяжелом «МАЗе» работал...

— Хорошо! Будет у тебя машина. Только помни: слово мужчины дороже золота.

— Что ты, старик! Дал бы хоть в долг... Верну все до копейки, помоги лишь сесть за баранку собственной машины. Эх, вот удача так удача!

— Гм, где бы достать столько денег?! — пробормотал я и поймал себя на мысли, что и в самом деле хочу ему помочь.

— Ну, если ты так добр, старик, то помни: меня всегда найдешь вон там, в ущелье...

И показал мундштуком вниз, где уже сгущались сумерки.

Я ушел. Ушел недалеко: слишком тяжело было на сердце. «Ну, откуда добыть такую уйму денег?! И зачем только посулил!»

Долго сидел под кустом боярышника и размышлял. Звезды зажглись в небе, ночь была ясная, и казалось, что кругом не поздняя осень, а лето в самом разгаре... Но как придумать то, чего у тебя нет и быть не может?!

И вдруг все тревоги отступили перед решением, которое показалось тогда единственно возможным... Вы, наверное, уже догадались каким.

Как вор, как зверь, как трус, не уверенный в своей силе, подкрался я к палатке и затаился, подстерегая. Ираклинец был уже в палатке и, кажется, стелил постель на раскладушке. В руке я сжимал острый камень: такими камнями далекие наши предки убивали зверей и друг друга. Долго ждать не пришлось: злодей выбирался из палатки, нагнувшись, и тогда я размахнулся, целясь

в затылок. Но тут произошло неожиданное,— видно, стар я стал и бессилен! Курт-Хасан ловко перехватил мою руку у запястья, сжал так, что камень выпал, а я пронзительно крикнул от боли — даже эхо отозвалось. В ужасе я обмяк и опустился на землю, готовясь к гибели...

— Это наивно, старик! — услышал голос ираклинца.— Ха-ха-ха! Однако, ты, оказывается, злее, чем я думал... Зачем тебе моя смерть?

— Н-не знаю...

— А знать надо бы! И не сходить с ума, старче. Благодари аллаха и свою седину; не то выбил бы тебе последние зубы. Ступай, старик! Пошутили, и хватит. Не надо мне ни твоего золота, ни твоих денег. Как-нибудь сам заработаю... Иди!

— Ты отпускаешь?! Я же — Эльдар сын князя Уцуми, владетеля Кара-Кайтага!

— А хоть бы и Наполеон Бонапарт! Знать тебя не хочу! И никогда не думал доносить. Да и много воды утекло с той поры, и вряд ли кого всерьез заинтересует, что ты князь... Пойми, старик, мне ничего не нужно: есть хорошая работа, платят достаточно, тяну в горы высоковольтную линию, глядишь, кто-нибудь еще и спасибо скажет...

— Я же хотел тебя убить...

Мне было мучительно стыдно самого себя.

— Эх, и наивный ты, старик! Неужели думаешь, что я выжил бы там, на краю света, среди уголовного сброда, если б не отличался силой и не умел угадывать опасность? Не такое бывало! Только больше не лезь ко мне, не трепли нервы: попадешь под дурное настроение, можешь пробудить во мне злого беса.

— Я могу идти?

— Можешь, старче! Зачем ты мне нужен? Было бы что пить — распили бы вместе, а раз нету — не задерживаю! Вернись к семье, старик, и успокойся... А видно, совесть тебя мучает, раз готов признаться всякому встречному.

— Так я пойду?

— Иди, старик, иди. Пора спать, завтра у нас много работы...

И я ушел, опустошенный, усталый, еле волоча ноги.

Успокоила только мысль: хорошо, очень хорошо, что

он оказался более хитрым и ловким, что я и на этот раз потерпел поражение и не пролил снова крови... Ведь этот человек гораздо полезнее меня, делает очень нужное дело и доволен. Лишь бы не стал болтать за стаканом вина и смеяться...

6

С той самой поры, почтенные мугринцы, руки стали так дрожать, что не мог взять стакан чаю, не расплескав; дрожали, будто изнутри бил меня неведомый озноб... Пуще прежнего помрачнел я и уже не мог притворяться веселым, а замкнулся дома; так больная собака прячется в укромном и темном закутке, чтоб не тревожили.

Уже во всем ауле знали, что у Эльмиры есть жених и должен скоро приехать. У родников злые женские языки не умолкали: вот, мол, нашла себе кого-то в городе, будто в ауле нет парней! «Только слепые отпустят свою дочь в город, не выдав замуж!» — говорили одни, а другие пророчествовали: «Вот помяните мое слово, он не приедет. Разве он дурак, чтоб тащиться сюда, когда в городе полно студенток, одна моложе и краше другой!» — «А что в ней, в Эльмире-то, красивого? — скрипели третьи.— Моя дочь в сто раз лучше и скромнее...»

А Зулейха, не слушая злословья, прибрала дом, попросила соседа зарезать барана, испекла пироги, приготовила бицары — горские колбаски с пахучими травами; в кафе «Тополек» она многому научилась.

Настал долгожданный день встречи. С утра дочь и жена стали накрывать стол: автобус, вы знаете, приходит в одиннадцать.

Радостная, возбужденная Эльмира приоделась, поправила косы, накинула плащ и пошла к остановке. Я видел: ей хотелось, как маленькой, бежать вприскочку и напевать и щебетать. Улыбка счастья бродила по ее лицу, чуть заметная, как солнце за облаками. Я лежал на тахте, как сейчас, и смотрел на стрелки часов, стараясь не выдать волнения; даже хватал одну руку другой, чтоб унять дрожь...

Вот раздались мелодичные удары: пробили часы.

— Выгляни, Зулейха, на веранду. Прибыл, что ли, автобус?.. Бывает, что и задерживается...

— Прибыл, прибыл! Возле него целая толпа...— сказала Зулейха, возвращаясь в комнату.— Сейчас и мне надо переодеться. И ты надень новый свитер...

Но пробило и двенадцать, а никто не приходил. Мы кипели от волнения и тревоги, как чайники в очаге.

Наконец тихо, с ноющим скрипом, открылась дверь и порог переступила Эльмира. Одна!.. И с горьким всхлипом бросилась на грудь матери:

— Ой, мамочка, нет его! Не приехал...

И словно морозом повеяла на меня догадка: «Неужели обманул мою девочку? Неужели нашелся такой подлец?! Какой позор... Не хочу больше ничего видеть, ничего больше слышать, не хочу ни пить, ни есть, ни говорить... Камнем бы стать!»

Отвернулся к стене, сжал зубы, молчу.

А Зулейха успокаивает дочь:

— Ну что ты, доченька! Зачем так убиваться! Сегодня не приехал, приедет завтра...

— Мы договорились. Он обещал, мама! Что же это, мамочка...

— Не плачь, дочка! Не надо. Не давай людям порадоваться твоему горю...

— Когда я шла домой, мамочка, соседки хихикали. Я знаю, надо мной... Ты не знаешь, мамочка, как я его люблю... Он не мог обмануть...

— Ну, случилось что-нибудь...

— Но он же обещал! Сказал, что даже мертвый явится ко мне.

— Что ты говоришь, доченька! Зачем так жестоко...

— А разве не жестоко так обмануть?!

Мне стало невыносимо.

— Выбросьте все из головы! Успокойтесь. Замолчите! — в первый раз крикнул я в своем доме.— Мало ли мерзавцев на свете!

— Не говори так, отец! Он не мерзавец! — кинулась ко мне дочь.

— Как же иначе назвать того, кто обесчестил мою дочь?!

— Это неправда, отец! Этого не было.

— А тогда нечего и рыдать. Встретишь еще доброго человека.

— Нет, нет! Только его люблю. Его одного!

— Это пройдет, доченька.

— Нет, папочка, у меня не пройдет. Пусть обманул, пусть не приедет, а любить буду только его...

Я хотел возразить, дочь прервала:

— Не надо, папа. Помолчи. Успокойся. Я не буду плакать...

Наступила гнетущая тишина. Я обернулся: подумал, что они вышли из комнаты. Нет! И дочь и мать были здесь, молча утирали слезы.

А в комнате пахло пирогами, вареным мясом, пряностями... И вдруг стало невыносимо жаль свою несчастную дочь, на которую я же еще и накричал, наговорил злых нелепостей о ее любимом... Я поднялся с тахты, сел к столу, сказал:

— Давайте лучше посидим да отведаем всего понемногу. Ты, дочка, садись рядом со мной...

Только они сели, как у ворот раздался гудок машины. Дочка вздрогнула, застыла и, просияв, кинулась на веранду. За ней выбежала и мать. Ну, я тоже — не смог остаться один в комнате!

У ворот стояла будто облитая перламутром легковая машина. Из нее вышел молодой человек в защитных темных очках, которые тут же снял. Был он статен, высок, темный костюм фиолетово поблескивал, на белой сорочке синел галстук. И к нему стремглав неслась моя дочь. Она выскочила за ворота и... я отвел глаза и увидел любопытных на всех крышах соседних саклей. Нет, в своем порыве не удержалась моя дочь, они поцеловались на глазах у всех, а я смутился и отвел глаза. Казалось, я слышу голоса ротозеев: «Какое бесстыдство, средь белого дня на улице... Не стесняясь отца с матерью! Как она бросилась к нему, как нежно он обнял и как... Ой-ой, даже сказать страшно! Что же это делается с людьми?»

Пропустив вперед зардевшуюся Эльмиру, на веранду поднялся жених. Ох, каким знакомым мне было это лицо! И все-таки вспомнить сразу не мог: ведь я обрадовался его приезду не меньше Эльмиры.

— Познакомься! Вот моя мама, а вот мой отец. Не забудь извиниться перед ними.— Эльмира погрозила жениху.— А я поговорю с тобой после...

— Здравствуйте! Простите меня. Тысячу раз извиняюсь! — Молодой человек даже покраснел от смуще-

ния.— Понимаете, по дороге случилась авария... Нет, не со мной. Грузовая машина на повороте завалилась в кювет, шоферу стало плохо... Ну, я довез его до вашей больницы... Вот как бывает: думал опередить автобус, а вместо того опоздал! Вы, надеюсь, простите... А вот от Эльмирочки, не знаю, удастся ли добиться прощения...

С этими словами он вошел в комнату.

— Погоди, обманщик! Я с тобой иначе поговорю! — засмеялась Эльмира; к ней вернулась искрометная радость жизни, да не прежняя, а словно бы удесятеренная.

— О, сколько яств на столе! И как вкусно пахнет... Признаться, я выпил утром лишь чашку кофе и теперь голоден как волк. Я впервые в этих горах, просто залюбовался... А почему мы одни? Правда, хорошо посидеть в тесном кругу семьи. Но у вас, дядя Мутай,— простите, еще непривычно мне называть вас папой, да это ничего, скоро привыкну! — есть, наверное, друзья, соседи...

— Не знали, приедете вы или, может, задержат дела,— ответил я.— И не решились пригласить...

— Как же, я ведь обещал! Ничего, пригласим в другой раз... Мне хотелось при всех,— как говорится, при всем честном народе,— сказать, вернее, попросить руки вашей дочери. Не скрою, ехал я, боясь, что встречу черствых, угрюмых людей, но теперь все волнения позади... Рад видеть вас такими добрыми, родными...

— А не много ли ты говоришь? — засмеялась Эльмира.— Боюсь, другим и рта раскрыть не дашь.

— Простите, это от радости! А вообще я неразговорчивый, Эльмира может подтвердить. И говорю-то обычно неумно и нечленораздельно. Дело у меня скромное — проектировать людям дома. И в таком деле много разговаривать незачем...

Я поднял бокал дагестанского коньяка:

— Ну, сынок, с приездом! Желаю вам счастья, дорогие!..

И спохватился:

— Прости, не расслышал твоего имени. А дочка все не хотела назвать, говорила: «Приедет, сами познакомитесь!..»

— Мирза. Мирзой звать меня!

Да, да, да, это он, Мирза, сидел передо мной! Тот самый, неотступно преследующий всю жизнь Мирза

Харбукский. Те же глаза, сосредоточенные, умные, те же брови и морщинка на переносице, тот же угловатый подбородок, те же могучие плечи,— правда, не в кожанке, а в прекрасно сшитом костюме, каких я еще не видал. Та же улыбка — откровенная, ясная...

Мирза заметил мою растерянность.

— Отчего вас смутило мое имя, дядя Мутай?

— Да как тебе сказать... Отца твоего зовут Омаром?

— Да. Наверное, вы о нем слышали, о полковнике Омаре! Он знаменитый... Собирался и он приехать, да не пустили дела... И дедушка у меня был известный. О нем много пишут. Наверное, вы читали: Мирза Харбукский!.. А отец говорил, что знает вас... Я ему все рассказал об Эльмире...

— Да, да, мы встретились в вагоне, когда я возвращался из госпиталя. Помню тебя малышом, было тебе тогда, если не ошибаюсь, семь лет.

— Оказывается, мы давно знаем друг друга! — улыбнулся Мирза.

— А я-то думала, папочка, что познакомлю тебя с неизвестным, тем, кто решил отнять у тебя дочь! — засмеялась Эльмира.— А выходит, вы давно знакомы.

— Ну, еще раз за ваше счастье! — сказал я и снова поднял бокал дрожащей рукой (на этот раз она, проклятая, дрожала сильнее обычного).— Только прошу, Мирза, не обижай Эльмиру.

— Ну, что вы! Да она и сама не даст себя в обиду.

Вот так, почтенные мугринцы, снова предстал предо мной бессмертный Мирза Харбукский и нанес последний удар, от которого стало рассыпаться мое здоровье: всякий день выпадало по кирпичу из стен и свода...

Побыл еще несколько дней в нашем доме жених. Улеглись сплетни, смолкли злые языки, осталась зависть. «Вот бы,—говорили теперь,— к моей дочери приехал такой жених на своей машине! Добрый, всех детей квартала покатал... Счастливица эта Эльмира! Говорят, он сын большого хакима, того самого, что депутатом от Кайтагского округа. И дедушка, говорят, был большевистским комиссаром, враги убили его еще в гражданскую войну. А как задрал нос наш Мутай! Зулейха души не чает в

зяте. Свадьбу, говорят, сыграют в городе... Но все равно потребуем здесь свадебного меда!»

Мы-то с Зулейхой надеялись, что будет работать в ауле, жить с нами... И надежды разом рухнули. Горцы говорят: «Муж с женой — что иголка с ниткой: куда игла, туда и нитка тянется».

Провожать вышла добрая половина аула... И молодожены тепло попрощались со всеми, пренебрегли недавними сплетнями, злорадством, ехидством дорогих наших соседок...

И мы с Зулейхой вернулись в саклю, она — открыто утирая глаза косынкой, я — украдкой смахивая слезы.

Когда я почувствовал, почтенные мугринцы, что часы мои сочтены и вряд ли переживу рассвет, все вдруг стало так просто и так ясно. Решил, что лучше сам поведаю о себе, чем предоставлю Курт-Хасану и подобным ему рассказывать, вспоминать, сочинять, выдумывать. И еще подумалось, что было б грешно унести с собой всю эту горечь и всю признательность вам, в чьих руках будущее не только страны, но — не сомневаюсь — и всей земли. Доброе будущее расцвета всего способного зацвести.

А самое важное, что дала мне долгая и запутанная дорога жизни,— сознание: счастье, оказывается, надо искать вместе с народом, а не где-то в стороне, не в личном благополучии.

Я постиг наконец эту мудрость, хотя и поздно. Незачем зеркало слепому! Но слепой может подарить его зрячим, помочь им увидеть и познать себя самих.

Вот и пытаюсь это сделать, уважаемые. Примите достойно мою исповедь, нескладные мои речи,— рассказчик-то я, конечно, неопытный и неуклюжий, что-то вроде хромого танцора! Я решил предстать именно перед вашим судом раньше, чем перед судом аллаха...

А вот забрезжил и мой последний рассвет! Заголосили петухи... Погода сегодня будет солнечная, ясная, будто слезами дождя пролились вчера вся горечь и вся печаль и утро готово улыбнуться в чарующей прелести. Свежее горное утро!..

Кажется, я отвлекся?

А быть может, мой молодой друг, мы оба с тобой ошиблись? А? Обмануло меня предчувствие? Может, встречу еще не один рассвет на земле?

Почему-то стало удивительно легко! Ничего тягостного не чувствую. Даже руки сейчас не дрожат. И представляется, будто могу сейчас встать и выйти, чтоб вместе с вами встретить рассвет...

Может быть, на самом деле я не умру сегодня?

Больной с улыбкой попытался подняться, встать, но не одолел слабости, тяжкий стон вырвался из груди, голова откинулась на подушку, глубоко и жадно глотнул он воздух, еще раз судорожно и глубоко вздохнул и замер. Рука соскользнула с бурки, пальцы странно запрыгали, затрепетали и остановились.

В тишине рассвета раздался истошный вопль Зулейхи.

ЭПИЛОГ

Необычным был в то утро рассвет в Мугринских горах.

Темно-синий атлас неба на востоке стал постепенно серебриться. И в уверенно надвигающемся свете, словно крупинки серы на сплаве меди, начали растворяться лучистые звезды. Светлые, серебристые тона постепенно перешли в золотистые, и солнце щедро озарило склоны гор на западе: в горах солнечный свет нисходит в долину с запада и уходит вечером на восток. Взошло солнце, и сразу зажглись тысячи маленьких радуг в осенней листве.

А рассеянный предутренним ветром туман подобрал полы своего серого плаща и пропал, скрылся в глубине ущелья.

Ночная прохлада сменилась ласковым теплом. И небо сделалось таким голубым, что молодой кубачинский мастер вместо бирюзы с превеликой радостью отломил бы кусочек этого неба и вправил бы в золотые зубцы на браслете для нареченной.

Все вокруг, казалось, успело отдохнуть за ночь под дружную дробь дождя и теперь проснулось в отменном настроении: и по-осеннему нарядные деревья, и птицы, что купались в светлых лужах вчерашнего дождя, и даже маленький осленок, стоящий возле полинявшей матери, глядя восхищенно на мир и развесив уши.

Аул проснулся. Дым поднялся струями из труб. Скрип дверей и ворот, открываемых ставен, мычанье, блеянье, шум горной реки в отдалении — все сливается в привычную и родную каждому горцу музыку жизни. Спешат в школу дети, и в их маленьких ушах еще звучат обычные родительские наставления: не баловаться, не пачкать одежды, не обрывать пуговицы, не играть в футбол, не лазить на деревья; но ребята уже ищут чем бы позабавиться, с чего бы начать шалости, проказы, озорство, драки.

Молодые мугринки, принаряженные, будто вчера была свадьба в ауле и они еще не ложились спать, чинно плывут к родникам, где журчит под аркадами «шив-кив, шив-кив», и гордо несут на плечах медные узкогорлые кувшины, на которых, как улыбки на молодых лицах, сияют и блещут солнечные лучи.

А люди постарше потянулись со всех концов к той дальней сакле, где случилось несчастье, где умер человек. Во всех аулах вести разносятся мгновенно, передаваемые с крыши на крышу, со двора во двор, от родника до родника. Да сохранятся вечно у горцев эти великие чувства — отзывчивость, сочувствие человеку в беде. Молча бредут люди, молча приветствуют друг друга кивком головы или недолгим рукопожатием и вместе продолжают путь к одинокой сакле.

Да и о чем говорить?

Во дворе сакли, по обычаю, поставлены у стен скамьи или положены бревна: там сидят люди, что собрались отдать последний долг покойному. Старики, еще не позабывшие кое-каких молитв, прежде чем примоститься на бревне, молча шевелят губами, читая молитву, проводят ладонями по лицу и еле внятно произносят: «Патиха»[1]. А женщины поднимаются на второй этаж, где слышатся причитания.

Ровно в полдень вынесли на носилках покойного, покрытого буркой, и гурьбой поспешили на кладбище — к югу от аула. Горцы, по обычаю, всегда торопятся отдать земле ее достояние, чтоб долго не держать зияющую, как жаждущий рот, яму в лучах жаркого солнца. Молча спешили люди. Носилки несли те же четверо, что виде-

[1] Патиха — конец молитвы за упокой.

ли смерть больного: Хамзат сын Базалая, парторг аула, Алибек сын Хамадара, председатель колхоза, Осман сын Зубаира, руководитель сельсовета, и молодой врач Сурхай.

Шли молча. А молчали потому, что о покойном не говорят худого, а что хорошего могли они сказать об этом человеке?

Могила уже ждала, и с той же поспешностью мугринцы опустили в яму зашитого в белый саван покойника, надвинули гангус — тяжелую каменную плиту, быстро засыпали землей. У изголовья воздвигли памятник из твердого камня в человеческий рост, на котором — к немалому удивлению собравшихся — было высечено одно-единственное слово «Вебкиб», что значит «умер».

Нет, это не было ни упущением, ни ошибкой незадачливого каменотеса. Сельская власть долго думала: что высечь на камне? Написать, что умер Мутай из Чихруги? Но покойный никогда им не был, он не Мутай из Чихруги! Написать, что умер Эльдар сын князя Уцуми из Кара-Кайтага? Но в ауле такого не знают... И решили: имени лучше не писать. А что касается даты, то год рождения неизвестен, а дату смерти писать не стали, ибо, как известно, для истории он давно умер и похоронен в ином месте.

И стоит на мугринском кладбище, в десяти шагах от трех могучих тополей с вороньими гнездами, у самой дороги надгробие с высеченным словом «Вебкиб». И случайные прохожие, завидев странную надпись, подолгу стоят у могилы, силясь понять, что бы это могло означать. И отходят, пожав плечами и пробормотав в недоумении:

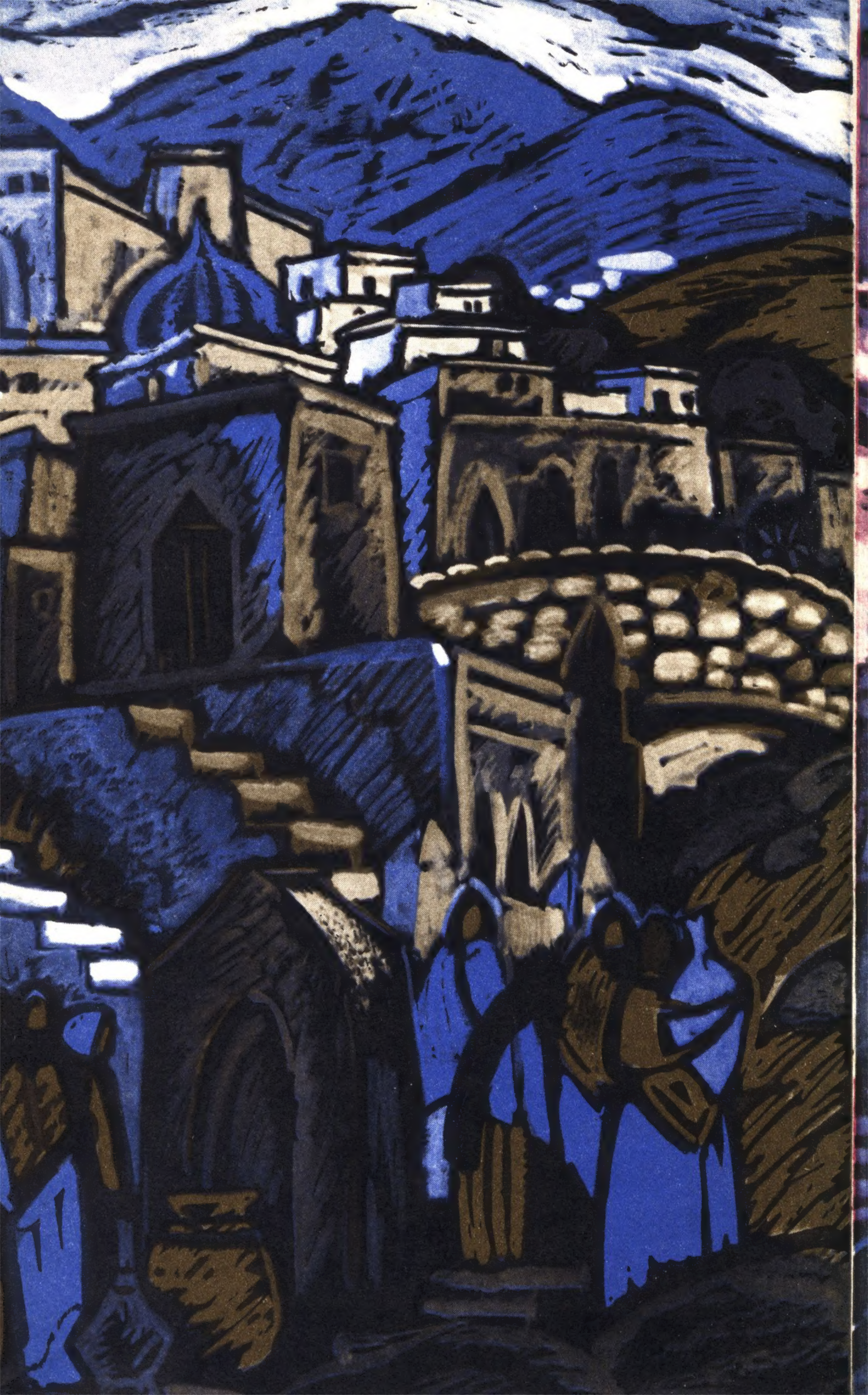
— Понятно, умерло то, что должно было умереть...

СОДЕРЖАНИЕ

Ахмедхан Абу-Бакар
(Абакаров)

ТАЙНА РУКОПИСНОГО КОРАНА
ИСПОВЕДЬ НА РАССВЕТЕ

М., «Советский писатель», 1972, 400 стр. План выпуска 1972 г. № 167. Художник *В. И. Суриков*. Редактор *А. О. Тамм*. Худож. редактор *Д. С. Мухин*. Техн. редактор *А. И. Мордовина*. Корректоры: *Ф. А. Рыскина* и *М. Ф. Покровская*. Сдано в набор 14/VI 1972 г. Подписано к печати 20/X 1972 г. А 12215. Бумага 84×108[1]/[32] № 1. Печ. л. 12½ (21). Уч.-изд. л. 20,89. Тираж 30 000 экз. Заказ 216. Цена 83 коп. Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.





83 коп.



Тайна рукописного корана - Исповедь на рассвете